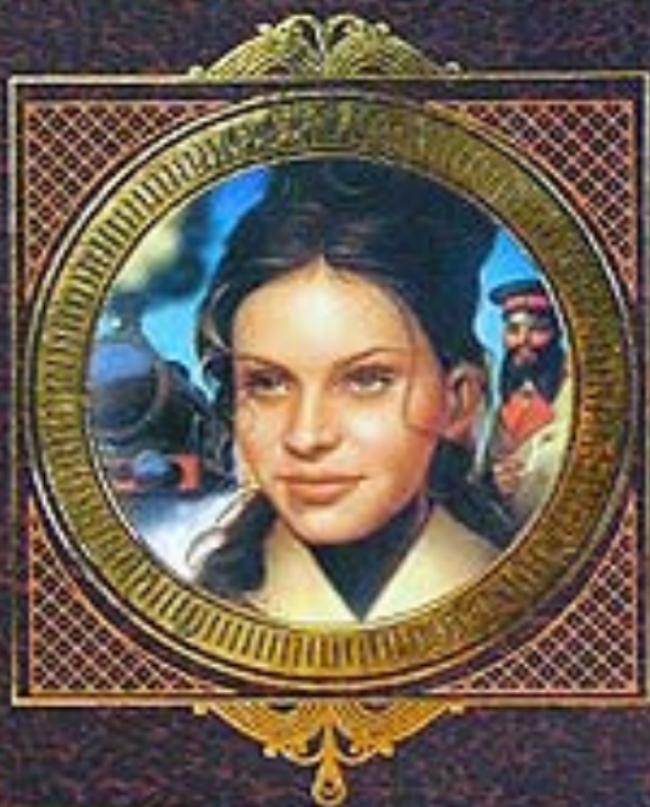


РУССКАЯ КЛАССИКА

Иван

БУШИН

*Леткое дыхание*



Легкое дыхание // Эксмо, М., 2001

ISBN: 5-04-001797-9

FB2: "shum29", 23.11.2008, version 1.0

UUID: 80460582-34CC-491A-B59D-244C2AC51504

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

## Легкое дыхание (сборник)

Легкое дыхание.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак...» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи... Бунин не писал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.

В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: "Антоновские яблоки", «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

# Содержание

Танька . . . . .	0006
Кастрюк . . . . .	0025
На хуторе . . . . .	0044
Вести с родины . . . . .	0054
На чужой стороне . . . . .	0070
На край света . . . . .	0081
Учитель . . . . .	0092
В поле . . . . .	0161
Святые Горы . . . . .	0190
На даче . . . . .	0202
Велга . . . . .	0276
Без роду-племени . . . . .	0293
Поздней ночью . . . . .	0325
Антоновские яблоки . . . . .	0330
Эпитафия . . . . .	0359
Над городом . . . . .	0368
Сосны . . . . .	0377
Новая дорога . . . . .	0397
Костер . . . . .	0414
В августе . . . . .	0418
Осенью . . . . .	0425
Новый год . . . . .	0435
Заря всю ночь . . . . .	0447
Сны . . . . .	0459
Далекое . . . . .	0471

Цифры . . . . .	0482
У истока дней . . . . .	0500
Белая лошадь . . . . .	0522
Маленький роман . . . . .	0556
Птицы небесные . . . . .	0574
Первая любовь . . . . .	0586
#1 . . . . .	0586
#2 . . . . .	0586
Подторжье . . . . .	0608
Деревня . . . . .	0616
Суходол . . . . .	0859
Хорошая жизнь . . . . .	0966
Ночной разговор . . . . .	1011
Веселый двор . . . . .	1051
Последнее свидание . . . . .	1117
Копье Господне . . . . .	1131
Худая трава . . . . .	1143
Хороших кровей . . . . .	1182
Чаша жизни . . . . .	1195
Легкое дыхание . . . . .	1235

**Иван Бунин**  
**Легкое дыхание**

# Танька

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы

— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике.

— Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки валяются, — беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами. Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра, под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрыви-

сто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка! Корову-то прогусарили?

— Продали.

— И лошади нету?

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память "Когда еще картохи копали", в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей "кусочек в горло не идет", и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы» Оба они были похожи друг на дружку — черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал я, немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону, за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и ры-

сюю поехал под гору... И отец уже не погнался...

"Анчихристы", лошадники-мещане, были, и правда, свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну, — кричал один, — смотри сюда, по-лучай с богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцены брать не приходится, — уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!

— Что зря толковать, — рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы, — все напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и дол-

го равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: "Поскорейча, ехать время, я на выгоне дожду", — и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что же не глянул лошадь-то!

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не стоит, — сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скоро-

говоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней — Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно, — обабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо.

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь, — верь совети.

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили бе-

лые хлопья, заноса выгон, лазины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы для всех ребяташек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луги, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери.

— Ты куда? Чичер, холод — а она, накося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно на-

слаждаться сиденьем на «группке» печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завейной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевой дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотую пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою.

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, сяди-

лась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебежала на печь, дра-лась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери: "Угодники божий, святителю Микола милосливый, столп-охранение лю-дей, матушка пресвятая Пятница — молитте бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого"...

Теперь мать рано укладывала спать, гово-рила, что ужинать нечего, и грозила "глаза выколоть", "слепым в сумку отдать", если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила "хоть капуста", а спокойный, на-смешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

— Вот домовой-то, — говорил он серьез-но, — все спи да спи! Дай бати дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома толь-ко раз, говорил, что везде «беда», — полушуб-

ков не шьют, больше помирают, — и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже "вот такой-то кусок" соленого судака батя принес в тряпочке. "На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал..." Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил сигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

— Что ж, тетка, — сказал он, — даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

— Что варить-то? — спросила Марья отрывисто.

— Как что? Ай нечего?

— Вот домовой-то... — пробормотал Васька. Марья заглянула на печку:

— Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

— Спят, — сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

— Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

— Нечего, — повторил странник. — Бог даст день, бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами да по задворкам — и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом — вот что!

— Не ночевывал и ты, — вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели, — с ребятишками с голодными, не слыхал, как голосят они во сне с голоду! Вот, что я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала — Христом богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо. Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко — в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

— Я вон, — продолжала она, все более вол-

нуясь, — гоню их каждый день на пруд... "Дай капуста, дай картошечек..." А что я дам? Ну, и гоню: "Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку..."

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка ("У, погибели на тебя нету!..") и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

"Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить, — думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг, — Аж к вечеру приду..."

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки», меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снега нагольных сапогах, господский ра-

ботник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с зависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось... Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор, — сказал Па-

вел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Что-й-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом, — отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.

— А кто ж?

— Я объел.

Егор поглядел на барина в недоумении.

— Я объел, — повторил Павел Антоныч, — Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.

Егор растянул губы в неловкую улыбку.

— Чего оскалешься-то? Погоняй!

Егор, роясь в передке, в соломе, пробормо-

тал:

— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...

— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.

— Переломился...

И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.

— На тебе два, дай мне один. А кнут — он, брат, ременный — вернись, найди.

— Да он, может... около городу.

— Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.

Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька благодаря этому ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.

Танька запотела, глазки у нее блестели яркими звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косою ряд, и

она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.

Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот по-синевшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.

— Ты чья? — спросил он.

— Корнеева, — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.

— Постой, постой, — закричал Павел Антоныч, — я отца видел, гостинчика привез от него.

Танька остановилась.

Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька

сидела не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом — Танька сперва не брала, — "он чернищий, нукошь умрешь", — дал ей несколько кусков сахару. Танька спрята- тала и думала:

"Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам".

Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, втащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда мол-

чала и мотала головой.

В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.

Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.

— Опять? — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.

— погоди, — шепнул он, снимая со стены гитару. Сперва он сыграл «Качугу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:

Заря ль моя, зоренька.

Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним

песни:

По заре-заре  
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее?  
Что выйдет из ребенка, повстречавшегося ли-  
цом к лицу с голодной смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко  
захватив струны...

Вот теперь его племянницы во Флорен-  
ции... Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в го-  
лову, пахнущую курной избой.

И пошел по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспом-  
нил их обитателей. Сколько их, таких дереву-  
шек, — и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч все быстрее ходил по каби-  
нету, мягко ступая валенками, и часто оста-  
навливался перед портретом сына...

А Таньке снился сад, по которому она вече-  
ром ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах,  
опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь  
них роились, трепетали и потухали огоньки,  
голубые, зеленые — звезды... Кругом стояли  
как будто белые хоромы, иней сыпался на ли-

цо и щекотал щеки, как холодный пушок...  
Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

*1892*

# Кастрюк

## I

Внезапно выскочив из-за крайней избы, с полевой дороги, во всю прыть маленьких лошадок летели по деревенской улице барчуки из Залесного. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались вперегонки, и ветер пузырями надувал на их спинах ситцевые рубашки. Теленок шарахнулся от них в сенцы, куры и впереди них петух, приседая к земле, неслись куда глаза глядят. Но отчаяннее всех улепетывала по деревенской улице маленькая белоголовая девочка в одной рубашонке. Обезумев от страха, она вскочила на огороды, несколько раз с размаху упала по дороге и вдруг увидала в воротах риги дедушку. С звонким криком бросилась она в его колени.

— Что ты, что ты, дурочка? — закричал и дед, ловя ее за рубашку.

— Барчуки... на жеребцах! — захлебываясь от слез, едва могла выговорить внучка.

Дед усадил ее на колени, начал уговаривать.

Внучка скоро затихла и, изредка всхлипы-

вая, обиженным, вздрагивающим голосом начала рассказывать, как было дело.

Поглаживая ее по голове, дед задумчиво улыбался. В риге было прохладно и уютно. В мягкую темноту ее из глубины ясного весеннего неба влетали ласточки исчиликаньем садились на переметы, на сани, сложенные в угол риги. Все было ясно и мирно кругом — и на деревне и в далеких зазеленевших полях. Утреннее солнце мягко пригрело землю, и повесенному дрожал вдали тонкий пар над ней. Там, в полях, подымалась пашня, блестящие черные грачи перелетали около сох. Здесь, на деревне, в холодке от изб, только девочки тоненькими голосками напевали песни, сидя на траве за коклюшками. Кроме ребятишек и стариков, все были в поле — даже все Орелки, Буянки и Шарики.

Дед сегодня первый раз за всю жизнь остался дома на стариковском положении. Старуха померла мясоедом. Сам он пролежал всю раннюю весну и не видал, как деревня уехала на первые полевые работы. К концу Фоминой он стал выходить, но еще и теперь не поправился как следует. И вот всеми обсто-

ательствами деревенской жизни вынужден он проводить самое дорогое для работы утро дома.

— Ну, Кастрюк (деда все так звали на деревне, потому что выпивши, он любил петь про Кастрюка старинные веселые прибаутки), ну, Кастрюк, — говорил ему на заре сын, выравнивая гужи на сохе, между тем как его баба зашпиливала веретье на возу с картошками, — не тужи тут, поглядывай обапол дому да за Дашкой-то... Кабы ее телушка не забрухала...

Дед, без шапки, засунув руки в рукава полушубка, стоял около него.

— Кому Кастрюк — тебе дяденька, — говорил он с рассеянной улыбкой.

Сын, не слушая, затягивал зубами веревку и продолжал деловым тоном:

— Твое дело, брат, теперь стариковское. Да и горевать то, почесть, не по чем: оно только с виду сладко хрип-то гнуть.

— Да уж чего лучше, — отвечал дед машинально.

Когда сын уехал, он сходил за чем то в пуньку, потом передвинул в тень водовоз-

ку — все искал себе дела. То он бережливо, согнув старую спину, сметал муку в закрюме, то там и сям тюкал топором. В риге он сел и пристально чистил трубку медной капаушкой. Иногда ворчал:

— Долго ли пролежал, — глядь, уж везде беспорядок. А умри — и все прахом пойдет.

Иногда старался подбодрить себя. "Небось!" — говорил он кому-то с задором и значительно; иногда подергивал плечами и с ожесточением выговаривал: "Эх, мать твою не замать, отца твоего не трогать! Был конь, да уездился..." Но чаще опускал голову.

*Закипели в колодезях воды,  
Заболело во молодца сердце, —*

напевал он, и ему вспоминалось прежнее, мысли тянулись к тому времени, когда он сам был хозяином, работником, молодым и выносливым. Гладя внучку по голове, он с любовью перебирал в памяти, что в такой-то год в эту пору он сеял, и с кем выходил в поле, и какая была у него тогда кобыла...

Внучка шепотом предложила пойти наломать веничков, про которые мать уже давно

толковала. Дед легкомысленно забыл про пустую избу и, взяв за руку внучку, повел ее за деревню. Идя по мягкой, давно неезженной полевой дороге, они незаметно отошли от деревни с версту и принялись ломать полынь.

Вдруг Дашка встрепенулась.

— Дедушка, глянь-ка! — заговорила она и быстро и нараспев, — глянь-ка! Ах, ма-а-тушки!

Дед глянул и увидал бегущий вдали поезд. Он торопливо подхватил внучку на руки и вынес ее на бугорок, а она тянулась у него с рук и радостно твердила:

— Дедушка! Рысью, рысью!

Поезд разрастался и под уклон работал все быстрее, весь блестя на солнце. Долго и напряженно глядела Дашка на бегущие вагоны.

— Должно, к завтраму приедет, — сказала она в раздумье. Блестя трубой, цилиндрами, мелькающим поршнем, колесами, поезд тяжелым взмахом урагана пронесся мимо, завернул и мелькнув задним вагоном, стал сокращаться и пропадать вдали.

Жаворонки пели в теплом воздухе... Весело и важно кагакали грачи... Цвели цветы в

траве около линии... Спутанный меринок, пофыркивая, щипал подорожник, и дед чувствовал, как даже мерину хорошо и привольно на весеннем корму в это ясное утро.

— Здорово, сударушка, — закричал он, завидев идущего по рельсам сторожа-солдата. — Здравия желаем, ваше благородие! — прибавил он, чтобы подделаться к солдату и поболтать немного.

— Здравствуй, — сказал солдат сухо, не вынимая изо рта трубки.

— Иди, сударушка, покурим, — продолжал дед, — погуторь с Кастрюком. Я, брат, ноне тоже замест часового приставлен.

— Я путь должен обревизовать к прибытию второго номера, — ответил сторож и, наклонившись, тюкнул молотком по рельсе и пошел дальше.

Дед застенчиво улыбнулся и крикнул солдату вдогонку.

— А то погодил бы!

Солдат не обернулся.

По дороге назад дед поболтал с пастухами и любовался на стадо.

— Дюже хороши ноне корма будут! — ска-

зал он.

— Хороши, — ответил подпасок и вдруг, с криком — назад смертные! — бросился за свиньями.

Стадо привольно разбрелось по пару Жеманно, на разные лады, тонкими голосками перекликались ягнята. Один, упав на колени, засовал мордочкой под пах матери и так торопливо, дрожа хвостиком и подталкивая ее, стал сосать, что дед засмеялся от удовольствия.

## II

Поспешно подходя к своей избе, он увидал, что по выгону, прямо к ней, едет молодой барин из Залесного, и бросился отгонять под гору соседскую кобылу: вороной барский жеребец весь заиграл и заплясал, выгибая шею.

Сдерживая его и сгибая своей тяжестью дрожки, барин въехал в тень избы и остановился. Дед почтительно стал у порога.

— Здравствуй, Кастрюк, — сказал барин ласково и, отирая красное лицо с рыжей бородой, достал папиросы.

— Жарко! — прибавил он и протянул папироску и деду.

— Непривычны, Миколай Петрович, — захихикал тот. — Трубочку вот, а то шкалик-другой красенького — это мы, старики, любим!

— А я было к вам по дельцу, — начал Николай Петрович отдуваясь. — Ездил повещать на Мажаровку... надевай шапку-то, Семен!.. да вот, кстати, и к вам. Девок своих не пошлете ли ко мне?

— Аль еще не сажали? — спросил дед участливо.

— Запоздали нынче... не я один.

— Запоздали, Миколай Петрович, запоздали...

— Я... — продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул: «балуй», что дед со всех ног бросился держать жеребца.

— Немножко-то посадил, — опять начал барин, — а пора и совсем управиться. Девчонки-то своих и турили бы ко мне.

— Разя один совладаешь, Миколай Петрович?

— Да ты скажи своим-то...

— Солдатка-то дома, что ль? — спросил дед деловым тоном у подошедшей старухи и за-

мялся.

— Кабы солдатка была, она бы сбила, — сказал он, как бы оправдываясь. — А я, сударушка, дома ноне сижу... Мне и отойтить нельзя... Кабы прежнее мое дело, покоситься там али под паринку, — я бы единым духом.

— Жалко, — сказал барин задумчиво. — Видно, вечерком заверну, — и взялся за вожжи.

Чтобы как-нибудь задержать его, дед вдруг сказал:

— Ты, сударушка, нанял бы меня в работники...

— Что ж, нанимайся, — сказал барин, рассеянно улыбаясь.

— А когда заступать?

Барин пристально поглядел на него и качнул головою.

— Заступать когда! Эка ты — шустрый какой!

— Я-то, сударушка! Да я их всех, молоденьких, за пояс заткну! Я еще жениться хочу! Да на свадьбе еще плясать буду!

— Да уж ты! — перебил барин, усмехаясь, ударил вожжой жеребца и покатил по выго-

ну.

Дед постоял, подумал...

Все говорило ему, что он теперь отживший человек. Так только, для дому нужен, пока еще ноги ходят... "Ишь покатыл!" — подумал он с сердцем, глядя вслед убегающим дрожкам, и пошел вынимать из печки похлебку.

Пообедав, внучка с ребятишками ушла в лужок за баранчиками. Все они так жалобно просились пустить их, что дед не мог устоять. Только сказал:

— Не найдете, ребята, разве снытку только... В избе он от нечего делать снова принялся за еду. Он натер себе картошек, налил в них немного молока (боялся, что и за это снова будет ругаться) и долго ел месиво.

В пустой избе стоял горячий, спертый воздух. Солнце сквозь маленькие, склеенные из кусочков, мутные стекла било жаркими лучами на покоробленную доску стола, которую, вместе с крошками хлеба и большой ложкой, черным роем облепили мухи.

Вдруг дед с радостью вспомнил, что есть еще дело — достать из-под крыши пачку листового махорки, раскрошить ее и набить

трубку. Влезая в сенцах по каменной стене под застреху, он едва не сорвался — голова у него закружилась, в спине заломило... Он опять с горечью подумал о своей старости и, уже лениво дотащившись до порога избы, на который еще падала тень, медленно занялся делом.

В полдень деревня вся точно вымерла. Тишина весеннего знойного дня очаровала ее...

Старухи-соседки долго «искались» под старой лозиной на выгоне, потом легли, накрыли головы занавесками и заснули. Самые маленькие ребяташки хлопотливо лепили из глины ульи, собравшись в размытом спуске около пруда. Изредка мычал теленок, привязанный за кол около спящих баб. Изредка доносился крик петуха и нагонял на деревню тихую дрему. А в полях по-прежнему заливались жаворонки, зеленели всходы и по горизонтам, как расплавленное стекло, дрожал и струился пар.

Дед лег около пуньки. стараясь заснуть. Для этого он старался представить себе, как шумит лес, как ходит волнами рожь на буграх по ветру и шуршит, переливается, и слег-

ка покачивался сам. Но сон не приходил.

Лежа с закрытыми глазами, дед все думал о своей старости.

Теперь небось Андрей крепко спит под телегою Деду же, может быть, до самой смерти не придется больше заснуть в поле. В рабочую пору он будет проводить долгие знойные дни наедине с внучкою... А ведь было время — лучше его не косил никто во всей округе. Бывало, когда всей деревней косили у барина, он всех вел за собою. Да никто не мог и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбой с поля на господский двор, мужики усаживались около амбара за ведром водки и начиналась "веселая беседа".

Никогда, однако, не пропивал он ума и разума. Все у него было всегда в порядке: и изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда в теле ("печка! — говорили мужики, — хоть спать ложись на спине!"), и свадьбу сына он справил всем на удивление. Вся деревня собралась смотреть, когда на первый, после княжего пира, престольный праздник Андрей приехал к тестю. Рядом со своей разряженной бабой сел он в новые «kozyрь-

ки», покрытые цветной попоной, выставил за грядку одну ногу в валенке и покатил по выгону... Дед надеялся тогда, что под старость будет у него первая во всей деревне семья, что никому не позволит он ссориться, завозить дележи...

— Пироги ситные в обмочку, думал, буду есть, — пробормотал он.

Ан все вышло не по-гаданному.

Младший сын отделился, а старший хотя и остался с ним, да немного вышло проку... Главное же — старуха всех подрезала.

Умерла в самое плохое, голодное время. Да ослабели и его ноженьки, и придется ему теперь до смерти сидеть с ребятишками, вроде караульщика.

"Ишь ровесник-то мой, — подумал он с озлоблением, — Салтан-то — и то убег со двора!"

И чего он, дед, маялся на свете и на что надеялся — бог его знает!

"Ни почету не дождался, — думал дед, вспоминая сына, посадившего его караульщиком, — ни богатства — ничего! И помрешь вот-вот, и ни один кобель по тебе не

взвоят!"

### III

Долог этот день показался ему!

Дашка воротилась из лужка и присоединилась к ребятам, игравшим в спуске.

"Ай уж и мне пойтить к ним свистульки лепить?" — думал дед с горькой улыбкой и, наконец, не выдержал.

— Посмотри, сударушка, за избой, — сказал он старухе-соседке, которая около пуньки медленно скатывала холсты.

— Ай соскучился? — спросила та жалобно.

— Соскучился, сударушка! И как только это вы, бабы, дома сидите!

— А ты надолго небось!

— Нет, я сейчас, в одну минутую...

До заката было еще далеко. Но Андрей должен был, по расчетам деда, управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре.

На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глебочку. Глебочка, высокий, худощавый мужик с веснушками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом по-

лушубке, из лохматых дыр которого виднелась белая рубаха, покачивался, сидя боком на спине лошади: перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.

— Ай, сударушка, рассохи-то пропил? — пошутил дед.

— Пропил, — с бледной улыбкой ответил Глебочка.

— А мои скоро?

— Должно, едут.

— Где ж девки-то твои?

— Девти идут, — ответил Глебочка картаво.

На валу, под молодыми лозинками, дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел в даль, по дороге.

Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек... Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле, над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко, нежно засинел воздух. Безмятежнее и еще слаще, чем днем, заливались

жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого донника... Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь.

"Эх, кабы теперь дождичка, — думал он, — то-то бы ржи-то поднялись! Да нет, опять солнышко чисто садится!"

Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облаченную в длинную стариковскую рубаху... и, наконец, пришел к счастливой мысли.

— Ну, прикончил? — говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сохи.

— Кончить-то кончил, — отвечал Андрей ласково, — а ты-то как? Небось соскучился?

— И-и, не приведи бог! — воскликнул дед ото всего сердца. — Сослужил, брат, службу... не хуже какого-нибудь солдата старого на капусте!

И смеясь, не желая придавать своим словам просящего выражения, попросился в ночное.

— С ребятами... а? — сказал он, заглядывая сыну в глаза.

— Что ж, веди! — ответил Андрей. — Только не забудь на полях кобылу напоить.

Дед закашлялся, чтобы скрыть свою радость.

## IV

На закате, после ужина, положил он на спину кобылы зипун и полушубок, взвалился на нее животом и рысцой тронул за ребятами.

— Эй, погоди старика, — кричал он им.

Ребята не слушали. Старостин сынишка обскакал его, растарачив босые ножки на спине кругленького и екающего селезенкой мерина. Легкая пыль стлалась по дороге. Топот небольшого табуна сливался с веселыми криками и смехом.

— Дед, — кричали некоторые тоненькими голосками, — давай на обгонки!

Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы. В лощинке, за версту от деревни, он завернул на пруд. Отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго

однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полосы облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде... Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берег.

Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежий вечерний воздух.

"Не забыть бы подкову оторвать", — думал он.

В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить.

— Будя, ребята, спорить-то, — сказал дед. — Карауль пока ты, Васька, — ведь, правда, твой черед-то. А вы, ребята, ложитесь. Только, смотри, не ложись головой на межу — домовой отдавит!

А когда лошади спокойно вникли в корм и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над коростелью, которая оттого так скрипит, что дерет нога об ногу, дед постлал себе у межи полушубок, зипун и с чистым сердцем, с благоговением стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь — святую дорогу ко граду Иерусалиму.

Наконец, и он лег.

Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночным мраком, слабо, как одинокая мачта, на слабом фоне заката маячил силуэт далекой-далекой мельницы...

# На хуторе

Долго-долго погорала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равнинами хлебов. Темнело и в деревне, — одни оконца изб на выгоне еще отсвечивали медным блеском. Вечер был молчалив и спокоен. Загнали скотину, пришли с работ, поужинали на камнях перед избами и затихли... Не играли песен, не кричали ребятишки...

Все задумалось вечерней думой, — задумался и Капитон Иваныч, сидя у поднятого окна.

Усадьба его стояла на горе; мелкорослый сад, состоявший из акаций и сирени, заглохший в лопухах и чернобыльнике, шел вниз, к лощине. Из окна, через кусты, было далеко видно.

Поле молчало, лежало в бледной темноте. Воздух был сухой и теплый. Звезды в небе трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали под окнами в чернобыльнике, да в степи отчетливо выкрикивал «пять-пальвать» перепел.

Капитон Иваныч был один — как всегда.

Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отец его, очень бедные, мелкопоместные дворяне, проживавшие у князей Ногайских, умерли, когда ему было меньше году от рождения. Детство и отрочество он провел в доме сумасшедшей тетки, старой девы, и в школе кантонистов. В юности он писал песни, подражая Дельвигу и Кольцову, называл ее в своих стансах Валентиной — на деле ее звали Анютой, и была она дочь чиновника, служившего в комиссариате, — но взаимности не имел.

Имя у него было «как у дворецкого», наружность, не обращающая на себя внимания; смуглый, худощавый и высокий, он похож был, по отзывам приятелей, на семинариста даже тогда, когда, по протекции князя (недаром говорили, что князь — отец Капитона Ивановича), добился офицерского чина. Тут ему досталось именице от тетки, и он вышел в отставку. Он еще воображал себя порою то героем из какого-нибудь романа Марлинского, то даже Печориным, стригся по новейшей моде — «а-ля полька»... Но ничего не вышло

из этого. «Валентина» поехала гостить к подруге и вышла замуж. А он «до гробовой доски» запер стихи в шифоньерке.

Он стал хозяйствовать; думал служить в только что открывшемся земстве, но и в земстве ему не повезло: предводитель, закусывая однажды в буфете дворянского собрания, сказал, что Капитон Иваныч «добряк, но фантазер... старый фантазер... отживающий свое время тип...». Капитон Иваныч перезнакомился с соседями мелкопоместными и увлекся охотой, приобретя себе незаменимого друга в легавой Джальме. И дни пошли за днями и стали слагаться в годы... Он стал настоящим мелкопоместным, носил «тужурку» и длинные черные усы; забыл даже думать о своей наружности и, вероятно, не знал, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своей спокойной добротой...

Нынче он грустил. Утром зашла богомолка Агафья, бывшая дворová Капитона Иваныча, и, между прочим, сказала:

- А помните, сударь, Анну Григорьевну?
- Помню, — сказал Капитон Иваныч.
- Умерла-с. Великим постом схоронили.

Целый день потом Капитон Иваныч неопределенно улыбался. А вечером... Вечер настал такой тихий и грустный!

Капитон Иваныч не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу.

Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привыкший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя: «куда?» Разве перепелов ловить? Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном... Да и что перепела!

Он вздыхал и почесывал свой давно не бритый подбородок.

Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь! Давно ли был он мальчиком, юношей? Школа кантонистов — хорошо, что теперь их нет более! — холод, голод, поездки к тетке... Вот был человек! Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными, сухими черными волосами, с безумными глазами, — говорили, от несчастной любви сошла с ума, — помнил, как она, по старой институтской привычке, твердила наизусть

французские басни, закатывая глаза и делая блаженную, важную физиономию; помнил и «Полонез Огинского»... Страстно и необычно звучал он, потому что с безумной страстью играла его старая дева... Ах, этот полонез! И она играла его...

Звезды в небе светят так скромно и загадочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивает и волнует этот шепот-треск... В зале стоят старинные фортепианы. Там открыты окна... Если бы туда вошла теперь она, легкая, как привидение, и заиграла, тронула старые звонко-отзывчивые клавиши! А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорожкой, между ржами, прямо туда, где далеко-далеко брезжит свет запада...

Капитон Иваныч поймал себя и усмехнулся.

— Расфантазировался... — протянул он вслух.

Трещали кузнечики в тихом вечернем воздухе, и из сада пахло лопухами, бледной, высокой «зарей» и крапивой. И этот запах напоминал вечера, когда он приезжал домой, из города, и сладко было ему думать о ней, обра-

нывать себя надеждами на счастье.

Ни одного огонька не светилося на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, которая так идет к ранней весне... И долго не спалось ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли — таинственным казался этот крик и таинственно стояла темнота в аллеях... А когда перед зарею, охваченный сочной свежестью сада, он открывал глаза — сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды...

Капитон Иваныч встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-гдегнулись и скрипели.

«Восемьдесят лет домику! — думал Капитон Иваныч. — Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимою будет ужасный!»

Шагая по зале, — он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сгорбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напевал «Полонез». Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы, человека, который бродит один-одинешенек, которому грустно и которого ему до боли жаль... Он взял картуз и вышел из дому.

На дворе было светлее. Свет зари, погасающей за деревней, еще слабо разливался по двору.

— Михайла! — тихонько позвал Капитон Иваныч старого пастуха. Никто не откликнулся. Михайла ушел «ко двору, рубаху сменить».

Стараясь придумать себе дело, он направился по двору к варку: накосил ли Митька травы коровам? Но, думая совсем о другом, Капитон Иваныч только постоял у варка.

— Митька! — позвал он.

Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завопили и затрепыхали крыльями на насесте куры.

«Да и на что они мне нужны?» — подумал Капитон Иваныч и не спеша пошел за каретный сарай, туда, где начинались на косогоре ржи. Шурша, пробрался он по глухой крапиве на бугор, закурил и сел.

Широкая равнина лежала внизу в бледной темноте. С косогора была далеко видна молчаливо утонувшая в сумраке окрестность.

«Сижу, как сыч на бугре, — подумал Капитон Иваныч. — Вот, скажет народ, делать нечего старику!»

«А ведь правда — старик я, — продолжал он размышлять. — Умирать скоро... Вот и Анна Григорьевна померла... Где же это все девалося, все прежнее?»

Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине...

— Как же это так? — сказал он вслух. — Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля... будут зори в рабочую пору, а я ничего

этого не увижу, да не только не увижу — меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет — я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?

Сгорбившись, закрывши глаза и потягивая левою рукой черный, седеющий ус, он сидел, покачивался...

Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное... Был когда-то мальчиком, был молод... Потом... в жаркий день на выборы на дрожках ехал по большой дороге! И Капитон Иваныч сам усмехнулся на такой скачок своих мыслей...

Но и это уже давно было. И вот доходишь до такой поры, в которой, говорят, все кончается; семьдесят, восемьдесят лет... а дальше уже и считать не принято! Что же наконец, долга или коротка жизнь?

«Долга! — подумал Капитон Иваныч. — Да, все-таки долга!»

В темном небе вспыхнула и прокатилась звезда. Он поднял кверху старческие грустные глаза и долго смотрел в небо. И от этой глубины, мягкой темноты звездной бесконеч-

ности ему стало легче. «Ну, так что же! Тихо прожил, тихо и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого кустика...» Очертания полей едва-едва обозначались теперь в ночном сумраке. Сумрак стал гуще, и звезды, казалось, сияли выше. Отчетливее слышался редкий крик перепелов. Свежее пахло травой... Он легко, свободно вздохнул полной грудью. Как живо чувствовал он свое кровное родство с этой безмолвной природой!

1892

# Вести с родины

«А право, — с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества, — нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях! Ишь, как старательно выводят!»

Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены; все рисовали — вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-президента с одним из членов общества на время оживил всех; но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав: перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свида, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире.

— Здравствуйте, — сказал он шепотом, — о чем речь?

— Доклад Толвинского: «Из практики сохранения кормовой свекловицы».

Свида сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова.

— Там вам телеграмму принесли, — сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет.

— Из института? — быстро спросил Волков.

— Не могу знать.

— Из института, верно, — сказал Волков.

И, поднявшись торопливо, на цыпочках пошел из зала. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздохнул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу.

Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной темноты одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрым и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы.

«И чего только не рисуют, — думал он. — И

как старательно!»

Темнота, сырой ветер, треск проносящихся экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института... Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля; перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв... Все это надо будет уставить, разложить (он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом, в блузе), а затем начать работать серьезно — и практически, и по части диссертации...

— «Восста-аньте из гробов!» — пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки.

— Иван Трофимыч?

Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своей холодной и мокрой маленькой рукою.

— Вы откуда?

— Из сельскохозяйственного, — ответил Волков.

— Что же так рано?

— «По домашним обстоятельствам». А вы?

— Из конторы. Работаем, батенька...

— У вас, значит, и вечерние занятия?

— Да, то есть нет, только весной — к отчету подгоняем... Да скверно, знаете... Даже не скверно, собственно говоря, а прямо-таки — подло... Бессмыслица...

Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съежился в своем пальтишке с небольшим, потешным воротником из старого меха.

— Почему? — спросил Волков. Иван Трофимыч встрепенулся.

— То есть как почему? Да на кой черт кому нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудо-верстах, осе-верстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?

— Ну, положим, смысл-то есть...

— Белиберда! — воскликнул Иван Трофимыч с сердцем. Волков снисходительно улыбнулся.

— Ну, идите куда-нибудь еще, — сказал он спокойно

— То есть куда это?

— Да у вас ведь имеется диплом?

— Самый форменный.

— Ну, и что же?

— Ну, и что же? — повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая очками. — Вы думаете, я не ушел бы? Да ради бога — куда угодно! Вы подумайте только, — начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто, но Волков перебил его:

— Отчего же не идете?

— Вам сколько лет? — вдруг спросил Иван Трофимыч.

— Двадцать четыре года и пять месяцев. А что?

— Ну, вот видите! А мне сорок... И, главное, никуда, то есть так-таки никуда меня не пустят. Я ведь якутский человек. Понимаете? Вот теперь люди мрут от голода, есть живое, святое дело... Понимаете? Святое! А разве нас с вами пустят туда?

— Я занимаюсь наукой и работаю, могу сказать, серьезно, — сказал Волков.

— И пудо-верстами вы бы занялись так же серьезно?

— Пожалуй, и пудо-верстами... Я, право, не понимаю, господа...

— Прекрасно, — почти закричал Иван Трофимыч, — я отлично знаю, что вы, господа, многого действительно не понимаете! Только вот что, батенька, — утешаю себя недоверием, понимаете, утешаю себя тем, что многие из вас только играют в эту трезвость! Разумеется, уже сама по себе эта игра...

— Именно играть-то мы и не хотим, — перебил Волков. — Вы говорите: идите, помогайте. А мы будем помогать наукой, а не «хорошими» словами.

Иван Трофимыч махнул рукой.

— Мы, знаете, так раскричались с вами, — сказал он с улыбкой и крепко пожал руку Волкова, — будьте здоровы!

И, повернувшись, съезжился и скрылся за углом. Волков постоял, подумал... И, мгновенно забыв об Иване Трофимыче, зашагал еще быстрее.

Он торопливо пробежал лестницу своих меблированных комнат, отпер номер и при спичке разорвал телеграмму.

«Посылаются пятницу девятнадцатого», — стояло в ней.

На столе, кроме телеграммы, лежали два

письма. Адрес на одном из них написан был рукой зятя. Волков зажег свечи, сел на диван и с улыбкой принялся за письмо.

«Любезный брат Дмитрий, — читал он, — мы, разумеется, все живы и здоровы, про тебя, конечно, ничего не знаем: как уехал, прислал два слова; пиши, брат, пожалуйста, поскорее, приедешь ли ты хоть к святой неделе. Отвечай поскорее, а то вот-вот полая вода и на станцию не будет ни проходу, ни проезду...»

Волков перевернул страницу и стал просматривать конец письма:

«Невозможно проехать в город, все метели, а голодают у нас здорово. Впрочем, я тебе не писал со святок, и ты не знаешь, что в Двориках умерло несколько человек. Умерла, брат, наша Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренок. У Мишки прежде умер ребенок, а на первой неделе и сам он — от голодного тифа...»

Волков вдруг опустил письмо... переставил подсвечник и снова с ужасом и напряжением перечитал эти две строки:

«...Умерла Федора, кривой солдат воргольский и Машка Шмыренок...»

— Не может быть! — сказал он громко, поднимаясь. — Не может быть! Мишка — друг детства... головастика вместе ловили... от голода!

Волков опять сел, криво улыбнулся, снова вскочил и торопливо пошел к дверям. Но от двери он круто повернулся и зашагал по комнате, быстро пощелкивая пальцами и лоя разлетевшиеся мысли...

Он читал в газетах, что там-то и там-то люди пухнут от голода, уходят целыми деревнями побираться, покупал сборники и всякие книжки в пользу голодающих или, как на них печаталось, «в пользу пострадавших от неурожая». Но те, пухнувшие от голода, казанские мужики не отделялись от газетных строк; а это не казанские мужики, это истомился и свалился с ног и скончался на холодной печке Мишка Шмыренок, с которым он когда-то, как с родным братом, спал на своей детской кроватке, звонко перекликался, купаясь в пруде, ловил головастика. И вот он умер, и на распутицу для него ездили в село за тесом на гроб. Максим, колесник, сколотил этот гроб, и в него положили детски-худое те-

ло Мишки. У него и прежде были узкие плечи, худощавое лицо... Но еще хуже стал он, когда его, в белой новой рубаше, клали в гроб. И наутро этот гроб поставили на розвальни и повезли по весенним полям в село...

Наклонившись под кровать, Волков вытащил оттуда большой деревянный ящик. В ящике лежало несколько ветхих детских учебников, и на исподней стороне их переплетов Волков увидел рисунки Мишки: кривой дом с зигзагообразным дымом из трубы, удивительно изогнувшийся конь с хвостом, похожим на этот дым, и разъехавшиеся в разные стороны каракули: «Михаил Колесов»...

Еще до сих пор от этих книг пахло курной избой. Вместе с Мишкой бегал он в Дворики учиться по ним у солдата Савелия. Там, при тусклом свете коптящей лампочки, за столом сидела толпа ребятишек. Поминутно чмокала отворявшаяся дверь и словно врывались в волнах пара новые ученики. Шумно усаживались они за стол и, положив на него локти и болтая под лавкой ногами, наперебой начинали долбить уроки.

— «Богородица-диво-радуйся... Богороди-

ца-диво-радуй-ся...» — тоненьким голоском заливался Мишка.

— «А ну-ка, Бишка, почитай, что в книжке...» — сосредоточенно бубнил старостин сын Никитка, толстый малый, который всегда сидел без полушубка, но в шарфе.

Сам Догадун, староста, коренастый мужик с румяным лицом и сивыми кудрями, рассчитанными на прямой ряд, стоял против стола, опершись на сажень, с которой не расставался.

— Никит, — перебивал он иногда важно, — ты что учишь?

Никитка решительно откашливался, краснел и отвечал сильным шепотом.

— Выучил?

— Нет еще.

— Ну, так стой, погоди, ребята, — продолжал Догадун, — разгадай задачу... А вы все, ребята, тоже не дреми!

И он начинал:

— Шли пять стариц и несли они, ребята, по пяти костылей. На каждом костылю — по пяти суков, на каждом суку — по пяти кошелей, у каждом кошеле — по пяти пирогов, у каж-

ном пирогу... к примеру сказать, по пяти воробьев. Сколько это воробьев выходит?.. Ну-ка, барчук?

И с каким удовольствием барчук забивался тогда с Мишкой в угол и каким торопливым шепотом начинал считать, воробьев, пока явившаяся за ним кухарка не увозила их обоих на розвальнях домой!

Мать Мишки жила тогда у Волковых. Теперешний помощник директора опытного поля ревел тогда по целым вечерам, если к нему не пускали Мишку. У Мишки болели с лета губы от лопухов и козельчиков, и боялись, что это пристанет к барчуку. Но Мишка успевал-таки иногда удрать в хоромы. Вечером он внезапно влетал в детскую.

— Насилушка убёт, — говорил он, запыхавшись, и его глазки сверкали радостью.

От него пахло снегом, зимней свежестью; он летел по сугробам босой, в изорванной на животе рубашонке и коротеньких портчонках. Нянька с неудовольствием поглядывала на него, грязного от сажи, оборванного и взлохмаченного. Но Митя испускал при его появлении звонкий крик, настаивал, чтобы

Мишка непременно остался с ним в детской на ночь. Весь вечер они строили на постели «кутки», были «нарочно разбойники», разглядывали и вырезывали картинки...

«Как же так случилось, — думал Волков, — как могло это случиться — эта голодная смерть?»

Его повезли в летний день в тарантасе в город в гимназию. Мишка только за гумном успел увидеть его. Он с утра сидел в коноплянике, желая проститься с ним. В дом, где была суета, его не пускала мать... И когда Митя довольно холодно попрощался с ним, он повернулся, заплакал и тихо пошел по меже к деревне, поддерживая одной рукой штанишки и ступая босыми ножками по горячей пыли... Митя же глядел вперед, все мысли его заняты были только новым кепи...

В гимназии он стоял на актах и ждал книжки с золоченым переплетом, а Мишка в это время стоял с плетушкой колоса около риги... Надвигались зимние сумерки... все было серо, тихо в деревушке, приютившейся около лощинки, среди снежных полей, слившихся с темным небом... слышались голоса баб, скли-

кавших выпущенных овец — «вычь, вычь, вычь!..» Покачивая бадьей, его мать шла в лощинку за снеговой водою...

Митя в бессознательном веселье напивался на первых студенческих вечеринках, а Мишка был в это время уже хозяин, мужик, обремененный горем и семьею. В те зимние ночи, когда Митя, среди говора, дыма и хлопанья пивных пробок, до хрипоты спорил или пел: «Из страны, страны далекой...», Мишка шел с обозом в город... В поле бушевала вьюга... В темноте брели по пояс в снегу мужики, не присаживаясь до самого рассвета: на санях были навалены бочки с винокуренного завода. Иногда весь обоз останавливался... Сквозь вьюгу и ветер слышалась перекличка, ругань... Мишке приходилось лазить по сугробам, отыскивая дорогу, или одеревеневшими пальцами и зубами затягивать оборвавшуюся завертку...

Когда Митя приезжал гимназистом на каникулы, он еще был близок с Мишкой. Он просил его говорить ему «ты», они ходили с ним ловить перепелов, вели задушевные беседы, лежа по ночам на межах, среди ржей.

Но потом...

Волков закрыл лицо руками. Он вспомнил свою последнюю встречу с Мишкой — месяца три тому назад, на Рождестве.

Волков был в деревне. На хутор съехалось много гостей. На другой день Нового года задумали ехать в город, в театр, и ночью поехали на тройках на станцию.

Ночь была страшно морозная и ветреная; сухой, мерзлый снег визжал и скрипел под санями; за необозримым мертвым полем всходил красный огромный месяц, и в его низком свете видно было, как задирала и дымилась поземка. Волков, отвернувшись от колющего ветра, слушал визг саней и курил папиросу; ветер разносил красные искры и доносил до него отрывки разговоров, смех, звон бубенчиков на другой тройке... Кто-то крикнул: «Пошел», лошади рванулись, ветер стал кидать снегом в лицо и размахивать и отбрасывать обмерзший воротник. Волков приподнялся, чтобы поправить шубу... Чья-то пешая, занесенная снегом фигура мелькнула перед ним.

На станции пришлось ждать долго, и когда Волков пошел пред приходом поезда в залу

третьего класса за билетом, то увидел эту фигуру около дверей.

— Мишка! Ты? — воскликнул Волков.

И вдруг случилось то, от чего теперь у него облилось сердце кровью: Мишка, прежде веселый, бойкий, торопливо сдернул шапчонку и ответил испуганно и покорно:

— Я-с, Дмитрий Петрович...

— Ты зачем здесь? — спросил Волков, подавая ему руку.

Он был в растрепанных лаптях, и углы воротника его рваного зипуна торчали пониженьки, закрывая исхудалое, больное лицо.

— Попроситься в город, — отвечал Мишка простуженным голосом.

— Как попроситься?

— На машину...

— Да как попроситься?

Мишка слабо улыбнулся.

— Даром не проедешь, — сказал он тихо.

Волков купил ему билет, всунул его в руку ему. Мишка, стоя без шапки, долго и безучастно глядел на билет.

В поезде Волков вспомнил про Мишку снова и пошел искать его. В промерзлом, треща-

щем на ходу вагоне он увидел его около красной, раскаленной печки.

— Ты зачем в город-то?

— Беда! — заговорил Мишка монотонно. —  
Може, в городе что найду... Совсем обезживо-  
тел...

— Не может быть! — воскликнул опять  
Волков. — Не может этого быть!.. Коллекции,  
гербарии... «Кормовая свекловица»... Какая  
галиматья!

И, стискивая пальцы, стал хохотать и ка-  
чаться, как от зубной боли.

1893

# На чужой стороне

**Н**а вокзале не было обычной суматохи: наступала Святая ночь. Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили докончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дожидаться праздника, отдохнуть хотя ненадолго от беспорядочной жизни.

Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света...

Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.

Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.

Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, неся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь...

— Ох, должно, не скоро еще! — шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.

— Служба-то? — отозвался другой. — Должно, не скоро. Теперь не более семи.

— А то и всех восемь наберется, — добавил третий. Всем было тяжело. Только один не хотел сознаться в этом.

— Ай соскучился? — «А-а-а...» — зевнул он, передразнивая первого говорившего. — Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!

— Будя, Кирюх, буровить-то, — серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: — Парменыч, поди глянь на часы, ты письмённый.

Парменыч отозвался добрым слабым голосом:

— Не уразумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.

— Да ай не все равно? — опять заметил Кирилл насмешливо. — Хушь смотри, хушь не смотри — одна честь...

Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем крас-

невший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаша лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.

— Федор, спишь? — тихо окликнул его старик.

— Н-нет, — ответил тот сильным голосом.

Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил:

— Ай соскучился?

Ответ последовал не сразу:

— Чего ж мне скучать?

— Да ну! Ты скажи, не бойся.

— Я и так не боюсь.

— То-то, мол, не таись...

Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи... потом тихонько отвернулся.

Уже и на закате стемнело. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз, осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в тесном уголке ада, копошились какие-то черные люди, и все опять потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром.

Потом издалека гнусаво запел рожок. Из темноты и из-за разноцветных огней выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд; подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад — и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеб-

лясь, двигался по земле, под стеной вагонов.

— Тридцать четыре, — сказал один из мужиков.

— Кого? Вагонов-то? Боле будя.

— А может, и боле...

Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посередине, слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжело дохнув несколько раз, ушел в темноту, отрывистыми свистками требуя пути... Ничто, ничто не напоминало тут праздника!

— Я думал, они хушь в праздник-то не ходят, — сказал Федька.

— Ну да, не ходят! Им нельзя не ходить...

И слышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов, да уж все одно, лучше бы отправили!

Старик заговорил о Харцызской. Но впереди была полная неизвестность: и где эта Харцызская, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще? Вот если бы

земляков встретить, которые направили бы на хорошее место! А то, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь в томительном ожидании, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной кадки. И тоска, тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочался, беспокойно зачесался, сел и опустил голову...

— И чего тут остались? — слышался один неуверенный голос. — Хушь бы в город пошли — авось всего версты четыре...

— А ну как сейчас велят садиться? — угрюмо ответил Кирилл. — Его пропустишь, а там и сиди опять десять дён.

— Надо пойтить спросить...

— Спросить? У кого?

— Да у начальника...

— И правда, пожалуй...

— Да его теперь небось нету...

— Ну, кто-нибудь за него...

— Служба-то и тут такая же будет, — проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо.

— Не такая же, короткая, сказывали, будет... И разговеться тоже нечем...

— А как совсем пойдешь Христа-ради?

И все с тоской поглядели на вокзальные

постройки, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику.

— Дни-то, дни-то какие! — со вздохом, слабым задушевым голосом сказал старик. — А мы, как татары какие, и в церкви ни разу не были!

— Ты бы теперь уж на клиросе читал, душака...

Но старик не слышал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье:

«Предходят сему лица ангельстии со всяким началом и властью... лице закрывающе и вопиюще песнь аллилуйя...»

И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою:

«Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследидиши во всех языцех...»

Все упорно молчали.

Все думали об одном, всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер, наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах, с мокры-

ми расчесанными волосами; полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пунькам, в избах завязывают в платки кучи и пасхи... Потом деревня остается пустою и тихою... Над темной чертой горизонта, на фоне заката, видны силуэты идущих и едущих на село... На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги; церковь освещается... В церкви уже идет чтение, уже теснота и легкая толкотня, пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами... А на паперти и на могилах, с другой стороны церкви, темнеют кучки народа, слышатся голоса...

Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крепясь, с обнаженными головами, до земли поклонились на восток.

— Федор! Вставай! — взволнованно пробормотал старик.

Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки.

В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золо-

тым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе, у дверей, не смея войти в них.

Поспешно прошел молодой священник с причтом и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом; он что-то говорил и зорко вглядывался в полусумрак наполнявшейся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали, ветерок колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон.

«Воскресение твое, Христе спасе, ангели поют на небеси...» — торопясь, начал священник звонким тенором.

И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале, на всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечей, загоревшихся во всех руках.

Одни мужики стояли в темноте. Они опустились на колени и торопливо крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, на огни и иконы, подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные гла-

за...

— Воскресни, Боже, суди земли!

1893

# На край света

## I

То, что так долго всех волновало и тревожило, наконец разрешилось: Великий Перевоз сразу опустел наполовину.

Много белых и голубых хат осиротело в этот летний вечер. Много народу навек покинуло родимое село — его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгон, где так весело в солнечное воскресное утро, когда крутом стоит говор, гудит бранью и спорами корчма, выкрикивают торговки, поют нищие, пиликает скрипка, меланхолично жужжит лира, а важные воны, прикрывая от солнца глаза, сонно жуют сено под эти нестройные звуки; покинуло разноцветные огороды и густые верболозы с матово-бледной длинной листвой над криницею, при спуске к затону реки, где в тихие вечера в воде что-то стонет глухо и однотонно, словно дует в пустую бочку; навсегда покинуло родину для далеких уссурийских земель и ушло «на край света»...

Когда на село, расположенное в долине, легла широкая и прохладная тень от горы, за-

крывающей запад, а в долине, к горизонту, все зарумянилось отблеском заката, зарделись рощи, вспыхнули алым глянецом изгибы реки, и за рекой как золото засверкали равнины песков, народ, пестреющий яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, к белой старинной церковке, где молились еще казаки и чумаки перед своими далекими походами.

Там, под открытым небом, между нагруженных телег, начался молебен, и в толпе воцарилась мертвая тишина. Голос священника звучал внятно и отдельно, и каждое слово молитвы проникало до глубины каждого сердца...

Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то снаряженные в далекий путь «лыцари». Они тоже прощались, как перед кончиной, и с детьми и с женами, и не в одном сердце заранее звучала тогда величаво-грустная «дума» о том, «як на Чорному Морі, на білому камені сидить ясен сокіл-білозірець, жалібненько квилить-поквиляє...». Многих из них ожидали «кайдани турецькії, каторга бусурманська», и «сиві туман-

ни» в дороге, и одинокая смерть под степным курганом, и стаи орлов сизокрылых, что будут «на чорній кудрі наступати, з лоба очі козацьки видирати...». Но тогда надо всем витала гордая казацкая воля. А теперь стоит серая толпа, которую навсегда выгоняет на край света не прихоть казацкая, а нищета, эти желтые пески, что сверкают за рекою. И как на великой панихиде, заказанной по самом себе, тихо стоял народ на молебне с поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали над ними, проносясь и утопая в вечернем воздухе, в голубом глубоком небе...

А потом поднялись вопли. И среди гортанного говора, плача и криков двинулся обоз по дороге в гору. В последний раз показался Великий Перевоз в родной долине — и скрылся... И сам обоз скрылся наконец за хлебами, в полях, в блеске низкого вечернего солнца...

## II

Провожавшие возвращались домой. Народ толпами валил под гору, к хатам. Были и такие, что только вздохнули и пошли домой торопливо и беспечно. Но таких было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые хозяйственные мужики; плакали дети, которых тащили за маленькие ручки отцы и матери; громко кричали молодые бабы и дивчата.

Вот две спускаются под гору, по каменистой дороге. Одна, крепкая, невысокая, хмурит брови и рассеянно смотрит своими черными серьезными глазами куда-то вдаль, по долине. Другая, высокая, худенькая, плачет... Обе наряжены по-праздничному, но как горько плачет одна, прижимая к глазам рукава сорочки! Спотыкаются сафьяновые сапоги, на которые так красиво падает из-под плахты белоснежный подол... Звонко, с неудержимой радостью пела она до глубокой ночи, бегая на берегу с ведрами, когда отец Юхыма твердо сказал, что не пойдет на новые места! А потом...

— Прокинулись сю ніч, — говорил Юхым растерянно, — прокинулись вони, Зинька, та й кажуть: «Ідемо на переселення!» — «Як же так, тату, вы ж казали...» — «Ні, кажуть, я сон бачив...»

А вот на горе, около мельниц, стоит в тол-

пе стариков старый Василь Шкуть. Он высок, широкоплеч и сутул. От всей фигуры его еще веет степной мощью, но какое у него скорбное лицо! Ему вот-вот собираться в могилу, а он уже никогда больше не услышит родного слова и помрет в чужой хате, и некому будет ему глаза закрыть. Перед смертью оторвали его от семьи, от детей и внучат. Он бы дошел, он еще крепок, но где же взять эти семьдесят рублей, которых не хватило для разрешения идти на новые земли?

Старики, растерянно переговариваясь, каждый со своей думой, стоят на горе. Они все глядят в ту сторону, куда отбыли земляки.

Уже давно не стало видно и последней телеги. Опустела степь. Весело и кротко распевают, сыплют трели жаворонки. Мирно и спокойно догорает ясный день. Привольно зеленеют кругом хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами необъятным полукругом простерся горизонт, между землей и небом охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса далекого моря.

«Що воно таке, сей Уссурійський край?» —

думают старики, прикрывая глаза от солнца, и напрягают воображение представить себе эту сказочную страну на конце света и то громадное пространство, что залегает между ней и Великим Перевозом, мысленно увидеть, как тянется длинный обоз, нагруженный добром, бабами и детьми, медленно скрипят колеса, бегут собаки и шагают за обозом по мягкой пыльной дороге, пригретой догорающим солнцем, «дядьки» в широких шароварах.

Небось и они все глядят в эту загадочную голубоватую даль:

«Що воно таке, сей Уссурійський край?»

А старый Шкуть, опершись на палку, нагнувшись на лоб шапку, представляет себе воз сына и с покорной улыбкой бормочет:

— Я йому, бачите, і пилу і фуганок дав... і як хату строїть, він тепер знає... Не пропаде!

— Богато людей загинуло! — говорят, не слушая его, другие. — Богато, богато!

### III

Темнеет — и странная тишина царит в селе.

Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву глубокой доли-

ны, затушевывают эту огромную картину широкой низменности с темными кущами прибрежных роц, с тускло блестящими изгибами речки, с одинокими тополями, что чернеют над долиной. Старинный Великий Перевоз сеет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекой пески. За песками, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается с сумеречными небесами.

Все как всегда бывало в этой мирной долине в летние сумерки... Но нет, не все! Много стоит хат темных, забитых и немых...

Уже почти все разбрелись по домам. Пустеет дорога. Медленно бредет по ней несколько человек, провожавших переселенцев до ближнего перекрестка.

Они чувствуют ту внезапную пустоту в сердце и непонятную тишину вокруг себя, которая всегда охватывает человека после тревоги проводов, при возвращении в опустевший дом. Спускаясь под гору, они глядят на село другими глазами, чем прежде, — точно после долгой отлучки...

Вот расстилается пахучий дымок над чьей-то хатой... покойно и буднично...

Вот красной звездочкой, среди темных садов, среди скученных дворов, загорелся огонек...

Глядя на огоньки и в долину, медленно расходятся старики, и на горе, близ дороги, остаются одни темные ветряки с неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идет под гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческого горя. Василь Шкуть. Медленно отложил он калитку, медленно прошел через дворик и скрылся в хате.

Хата родная. Но Шкуть в ней больше не хозяин. Ее купили чужие люди и позволили ему только «дожить» в ней. Это надо сделать поскорее...

В теплом и душном мраке выжидательно трюкает сверчок из-за печки... словно прислушивается... Сонные мухи гудят по потолку... Старик, согнувшись, сидит в темноте и безмолвии.

Что-то он думает? Может быть, про то, как где-то там, по смутно белеющей дороге, тихо поскрипывает обоз? Э, да что про то и думать!

Звонкий девический голос замирает за рекою:

*Ой зійди, зійди,  
Ясен місяцю!*

Глубокое молчание. Южное ночное небо в крупных жемчужных звездах. Темный силуэт неподвижного тополя рисуется на фоне ночного неба. Под ним чернеет крыша, белеют стены хаты. Звезды сияют сквозь листья и ветви...

#### IV

А они еще далеко.

Они ночуют в степи, под родным небом, но им уже кажется, что они за тысячу верст ото всего привычного, родного.

Как цыганский табор, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужин; то вели беспокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились друг друга...

Наконец все стихло.

В звездном свете темнели беспорядочно скученные возы, виднелись фигуры лежащих людей и наклоненных к траве лошадей. Сторожевые, с кнутами в руках, сонно ежились

возле телег, зедали и с тоской глядели в темную степь...

Но с какой радостью встрепенулись они, когда услышали скрип проезжей телеги! Земляк! Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лет.

Разбуженные разговором, подымались с земли и другие и, застенчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телеги проезжего, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самого света...

Потом опять все затихло.

Взволнованные встречей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали об одном — о далекой неизвестной стране на краю света, о дорогах и больших реках в пути, о родном покинутом селе...

Холоднело. Все спало крепким сном — и люди, и дороги, и межи, и росистые хлеба.

С отдаленного хутора чуть слышно донесся крик петуха. Серп месяца, мутно-красный и поникший па сторону, показался на краю неба. Он почти не светил. Только небо около него приняло зеленоватый опенок, почернела

степь от горизонта, да на горизонте выступило что-то темное. Эти были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги.

Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много кочевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели чти курганы.

Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!

1894

# Учитель

## I

Накануне сочельника учитель земской школы в Можаровке, Николай Нилыч Турбин, занимался очень неохотно. Класс был наполовину пуст. Турбин с усилием дотягивал занятия до половины второго. За последнее время во многих неприятностях и в утомительной работе он подкреплял себя напряженным ожиданием праздника и надеждой съездить домой. Но ехать оказалось не на что. Турбин давно уже понял, что никуда не поедет, но сказать себе это определенно все оттягивал. Теперь больше всего хотелось остаться одному. «Обсудим, обсудим!» — думал он беспокойно, прикрывая глаза, и ребята думали, что он или сердит, или нездоров. И правда, к концу занятий у него начало ломить в левой стороне головы.

Когда же школа опустела, Турбин со злобой прихлопнул дверь в передней и быстро пошел в свою комнату.

— Пусть будет так! — сказал он и, хмурясь, скинул с себя пиджак. Повесив его под про-

стыню на стену, он накинул на себя длинный тулуп, крытый казинетом, и лег на кровать. «Ночной зефир струит эфир...» — напевал он мысленно. В голове стояло одно и то же: «Пусть будет так! — черт его побери, не ехать, так не ехать... эка важность!» Тащиться к дьячку обедать не хотелось. Левая сторона головы продолжала болеть. Он обмял плечом подушку поудобнее и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту он слышал, как приходил сторож Павел, обивал от снега лапти, крякал с мороза, сморкался и гремел ведрами; видел сквозь полузакрытые веки, что в комнате разливается отсвет заката, и чувствовал, что от холода стынут ноги и кончик носа...

## II

Турбину шел двадцать четвертый год. Был он белокур, очень высок ростом, худ и от застенчивости очень неловок. Был он сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил: по бедности пришлось вернуться домой; дома он все выписывал программы, думая приготовить то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на

сельского учителя и рад был этому. Жить дома было тяжело. Матери он не помнил, а дьякон отличался болезненно-угрюмым характером; лицо у него было, как на старинных иконах у схимников, — темное, деревянное, фигура сухая, сутулая; говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже тон его был всегда один — такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши год одиноко, Турбин стал вспоминать об отце с тоской и нежностью, дни и ночи мечтал о поездке домой. Он все обманывал себя надеждами на будущее: вот, мол, дай только это время пережить, а там... все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондиции — из-за одного содержания — у богатого лесорубщика и думал отправиться домой в августе, хотя недельки на две. Но нужно было справиться к зиме тулуп. Осенью он надеялся на Святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой... долго будет сидеть с отцом в первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, душевно будет говорить с ним до поздней

ночи. А потом поедет в большое торговое село к двоюродной сестре; у сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики. «Надо будет захватить с собою гитару», — думал Турбин.

Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дьячку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы предупредить отказ, письмо было строго и властно. Внизу же была приписка: «А последнее мое слово: имей Бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда зарабатывать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статьи под заглавием: «Родные отголоски» и за подписью «Ариель». Но из них взяли только пару заметок — о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе.

### III

Школа стояла одиночкой, на горе. Слева были церковь и кладбище, походившее на запущенный сад, справа — косогор. Дорога шла из полей мимо училища влево под гору. Под

горой, ниже кладбища, жили духовные; против них, через дорогу, стояли лавка и кабак Грибакина. На той стороне, за речкой, была усадьба Линтварева с белыми хоромами и скучно синеющими рядами елей перед ними. Винокуренный завод вечно дымился в стороне от нее, над речкой. Подле него находились неуклюжие заводские строения — очистные, подвальные — и домики на манер железнодорожных — для служащих.

С завода приходили к Грибакину гости — старый барский повар, всеми уважаемый за его поездку в Иерусалим, о которой он постоянно со смирением и важностью рассказывал, и за его близкое знакомство с интимной жизнью господ, конторщики, подвальные, дистиллятор, медник. Это был народ, лавочнику нужный; по вечерам они забавлялись у него стуколкой. Турбин избегал попадать на такие вечера: его усаживали за карты, а он не любил проигрываться. Да и Грибакин обходился с ним учтиво, но холодно. Весной он заметил, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться с учителем какие-то особенные разговоры, заметил и не по-

дал виду, выжидая, что дальше будет: такой он был благообразный и вежливый старичок в опрятной серой поддевочке. И правда, учитель нравился лавочнице. Но он старался отделяться от нее шуточками. Она сперва покрикивала на него — «это еще что за новости?» — а потом начала звать гулять на кладбище и все чаще напевать сдержанно-страстно, прикрывая, как бы в изнеможении, глаза:

*Вот скоро, скоро я уеду,  
Забудь мой рост, мои черты!*

Тогда Турбин стал пропадать по вечерам в поле. «Пойдут сплетни, — думал он, — различные неприятности... немислимо!» И лавочница стала говорить ему при встречах дерзости.

«Ага, — думал Грибакин, — перековала язычок!»

В гостях на заводской стороне учитель бывал у дистиллятора Таубкина. Таубкин, молодой еврей, рыжий и золотушный, в золотых очках для близоруких, был человек очень радужный, и у него собиралась большая компания. Но между нею и учителем отношения то-

же как-то не завязывались. Учитель дичился, а заводские все были друг с другом запанибрата, — все жили дружно, одними интересами, часто бывали друг у друга, пили портвейн и закусывали сардинами, танцевали под аристон, а после играли в «шестьдесят шесть». Старшие рабочие на заводе из очистной, здоровые мужики в фартуках, отличались во всем грубой решительностью и собственным достоинством. Учитель некоторых из них побаивался даже, — например, посыльного на почту: говорил ему «вы», давал на водку, но посыльный все-таки поражал его своим прерзительным спокойствием.

#### IV

Осень началась солнечными днями.

По воскресеньям Турбин с утра уходил в поле, туда, где видны были на горизонте станция и один за другим уходящие вдаль телеграфные столбы. Его тянуло туда, потому что в ту сторону поезд должен был унести его на родину.

С утра было светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял реку. Белый дым таял в солнеч-

ных лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. В барском парке, прохваченном ночью сыростью, на низах стояли холодные синие тени и пахло прелым листом и яблоками; на полянах, в солнечном блеске, сверкали паутины и неподвижно рдели светло-золотые клены. Резкий крик дроздов иногда нарушал тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, падали на темные, сырые дорожки. Сад пустел и дичал; далеко виден был в нем полураскрытый, покинутый шалаш садовника.

Не спеша, учитель всходил на гору. Село лежало в широкой котловине. Ровно тянулся ввысь дым завода; в ясном небе кружили и сверкали белые голуби. На деревне всюду резко желтела новая солома, слышался говор, с громом неслись через мост порожние телеги... А в открытом поле — под солнцем, к югу — все блестело; к северу горизонт был тмен и тяжел и резко отделялся грифельным цветом от желтой скатерти жнивья. Издалека можно было различить фигуры женщин, работающих на картофельных полосах, медленно едущего по полю мужика. Золотистыми

кострами пылали в лощинах лесочки. Кирпично краснели крыши помещичьих хуторов. Учитель напряженно смотрел на них. Им овладевало беспокойство одиночества, тянуло в эту неизвестную ему среду, в новую обстановку, где жизнь, как ему казалось, проходит свободно, легко, весело. И за думами о помещичьей жизни он совсем не видел простора, красоты, которая была вокруг.

На месте срубленного леса белела щепка, среди обрубленных сучьев и поблекших листьев возвышались три длинные, тонкие березки с уцелевшими макушками. Их очертания так хорошо гармонировали с открытыми полями. А Турбин, при виде этих березок, всегда вспоминал, что здесь он встретил жену Линтварева. С Линтваревыми он познакомился и встречался несколько раз на станции. Они держали себя с ним просто и даже ласково. Про Линтварева было слышно, что он окончил курс в университете, увлечен земскими делами, профессиональным образованием. Все это, с придачей богатства и знатности, внушило Турбину большое уважение к Линтваревым. При встрече с ним жена

Линтварева так ласково улыбнулась ему и показалась так изящна и аристократична, что учитель покраснел от радости и тут же решил непременно побывать у них в гостях, завязать прочное знакомство. Он долго глядел вслед ее английскому шарабану. Он не видел, куда идет, мечтая о том, как он будет сидеть у Линтварева на балконе, вести интересный, живой разговор, пить прекрасный чай и курить дорогую сигару...

## V

В конце сентября, в октябре дожди лили с утра до ночи. Линтваревы уехали. Сад их почернел, стал как будто ниже и меньше. Деревня приняла темный, жалкий вид. Холодный ветер затягивал окрестности туманной сеткой дождя. В училище запахло кислой печной сыростью, стало холодно, темно и неудобно.

Турбин вставал еще при огне, в ту неприязненную пору, когда, после мрачной дождливой ночи, над грязными полями, над колеями дорог, полными водою, недовольно начинал дымиться бледный рассвет. Будил стук дверей. Ребята натаскивали на лаптях в пе-

реднюю грязи, возились, топали и кричали. В двери несло ледяной сыростью. С дрожью подходил учитель к умывальнику. Потом спешно пил горячий жидкий чай вприкуску и тушил лампочку. После ее желтого света в комнате синел холодный утренний сумрак. В этом сумраке учитель входил в класс и, завернувшись в тулуп, натягивая его на холодеющие колени, садился за свой стол. Начиналась упорная работа. Сперва он горячился, напрягал все усилия говорить понятнее и сдержаннее, потом только смотрел, как сечет в окна косою дождь и тянутся обозы к заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; от потных, потемневших лошадей валил пар. И все представлял учитель самого себя едущим на вокзал в телеге: телега медленно качается, хлюпает по дороге, и заливаются-стонет ветер, гнет в поле одинокую голую березку...

Оживлялся он при говоре и толкотне уходивших учеников.

— Здорово льет? — спрашивал он Павла, засовывая ноги в старые большие калоши.

— Кажись, перестает, — каждый день отве-

чал на это Павел.

— По морю, яко посуху, — каждый день говорил лавочник, стоя под навесом кабака, и снисходительно смеялся.

Турбин, всегда в этот момент перебирававшийся на другую, менее грязную сторону дороги, махал с ответным смехом рукой и вдруг делал со всех своих длинных ног гигантский, отчаянный шаг. Шлепнув калошей в лужу и видя, что над этим прыжком покатывается со смеху сидящая за шитьем под окном лавочница, он, с кривой улыбкой, неловко пробирался под плетнем дальше.

— Писем, Иван Филимонович, нету? — кричал он издалека лавочнику. — Вы, говорят, на станции были?

— Пишут-с!

— То-то несуразный-то! — говорила лавочница, как бы с сожалением, качая головою и откусывая нитку.

Дьячок Скрябин был самый убогий человек в селе. Унылый, поблекший нос, жидкая коса, слезящиеся глаза, — все в нем напоминало старуху. Тяжело было глядеть, как он весной, в полую воду, или осенью, под до-

ждем, брел к выгону в огромных растрепанных валенках, внутри которых была солома. На клиросе он читал и подпевал разбитым голосом так, словно он был выпивши или бредил. В избе у него, как и у большинства духовных, было довольно чисто и уютно, но толклось семь человек детей. Никто не обращал на них внимания. И сам Скрябин, и жена его только и думали с утра до ночи что об еде. Скрябин ел походя: то лазил в печку за картофелем, то пек яйца, то наливал через полчаса после обеда чашку похлебки, то жевал хлеб. Раза три или четыре в день он возился с самоваром, собирал щепки, раздувал его то губами, то старым голенищем. У жены Скрябина было приветливое, открытое и покорное лицо. Когда в октябре она умерла перед концом беременности, Турбин долго не мог без содрогания видеть ее хибарки.

Чаще всего после обеда он бывал в гостях у священника о. Федора Рокотова. Священник выходил заспанный, с светлыми слезящимися глазами и красными полосами на виске от рубцов подушки. Он улыбался и говорил с благодушным снисхождением к своей слабо-

сти:

— А я прилег на минуту, да и задремал, как сурок...

Вечером затевалась игра в преферанс на орехи. Иногда Турбин играл с поповной на двух гитарах «В глубокой теснине Дарьяла», «Раздумье Вольтера» или на мотив малороссийского казачка «Прибежали в избу дети»... Томной меланхолией звучали струны гитар. Священник острил насчет худобы и роста Турбина. И Турбин всегда при этом смеялся, прикрывая, по своей манере, рот рукою.

## VI

Деревня тонула в сырых сумерках, зажигались на заводе огни, и тянуло дымом самоваров, а он скользил по липкой грязи, мучился медленным восхождением на гору. Темь, холод, запах угарной печки и одиночество встречали его в безмолвном училище. Но первое время это не смущало его. Первый год в школе прошел как-то удивительно быстро. Турбин мечтал. Молодым скрытным семинаром он мечтал о многом — думал стать миссионером, городским священником. Представлял он себя в губернском городе, о. Нико-

лаем в шелковой лиловой рясе, на которую падают выхоленные кудри, даже почему-то в золотых очках, как протоиерей в Вознесенском соборе. Мечтал о жизни с достатком, думал вести хорошее знакомство, быть человеком просвещенным, следящим за наукой, за политикой. Эти мечты погибли. Едучи в школу, он весь был переполнен рвением поскорее начать работать, сразу сделать свою школу образцовой, пописывать статейки по народному образованию, приняться за составление учебников. День за днем тускнели эти мечты. В Можаровке близость завода наводила его на мысль попасть на службу по акцизу, да так, чтобы годиков через пять получать тысячи три, а то и четыре, — бывали примеры.

Но прежде всего необходимо заняться самообразованием, — решал он, — это прежде всего; завести знакомство, почувствовать себя человеком. Вот только дай пройдет эта осень! Съезжу домой, а вернусь — буду ходить к Линтвареву, буду, Бог даст, с живыми, настоящими людьми общаться...

И, волнуясь, он расхаживал по своей комнате. Потом брал выпрошенную еще в семи-

нарии у товарища книжку журнала и принимался за статью: «Взгляд на русское судоустройство и судопроизводство». Но статья была невеселая. Осилив несколько страниц, Турбин опускал книгу, закрывал глаза и опять отдавался думам... Иногда, поздней ночью, растроганный нежностью к отцу, Турбин писал к нему длинные письма; но наутро они казались ему витиеватыми и невыразительными, и он не посылал их...

Когда обнаружилось, что ехать не на что, вечера изменились. Он стал проводить их в беспокойной тоске и бесплодных придумываниях, как устроить эту поездку. Иногда он решался даже на последнее средство — занять денег. Но тотчас же отказывался от него. «Немыслимо! Долги — погибель!» Проклиная в душе и себя, и темноту, и училище, он шагал к дьячку ужинать. Возвратясь, тотчас же заворачивался в тулуп и ложился в постель. Вся тоска осенних дней охватывала его тогда. Черная ночь глядела в окна. На деревне во мраке зиял огнями завод; огненными искрами роились его высокие трубы; когда тяжелым взмахом налетал ветер, чаще и гуще

стрекал косо́й дождь в стекла окон и еще жалобнее завывало в печке... А на рассвете отдаленными-отдаленными, протяжными стонами доносилась перекличка петухов; медленно-медленно пробуждалась после долгой ночи жизнь. Дождь стихал; холоднело; ветер гнал в холодном небе белесые космы туч. Над деревней, над голыми полями занимался новый скучный день...

А потом пошли метели, засыпая снегом избы, слепя окна. Побелевшая деревня еще более опустела и затихла — даже собаки забивались в сенцы.

С утра до ночи неслась над ней вьюга и стояли мутные сумерки. В белой пыли тонули и завод и церковь. Ветер по ночам жалобно перезванивал на колокольне...

## VII

Часов около шести Павел с громом уронил на пол вьюшку. Чтобы загладить свою неловкость, он закрихтел и чмокнул губами:

— Ну и студено же на дворе! Вызвездило — страсть!

— А ты плешивых посчитай! — раздался из темноты спокойный голос учителя.

— Ай проснулись!

— Подремал, — отвечал учитель, зевая.

На душе у него было пусто. Он спустил длинные ноги с кровати и соображал, идти или нет к дьячку. Есть хотелось, — надо было идти.

На селе было темно и тихо. Морозило; на черном небе сверкали крупные звезды. Лай собачонки с того боку деревни звонко отдавался в чистом воздухе... Свежесть зимней ночи ободрила Турбина.

— Отцу Алексею — почтение! — сказал он шуточно-громко и с ударением на «о», нагибаясь и входя в избушку дьячка. — С преддверием!

Дьячок чинил хомут, сидя на лавке около копившей лампочки. Он медленно поднял голову и, приложив большой палец к ноздре, сильно дунул носом в сторону. И опять посмотрел на Турбина сквозь висевшие на кончике носа очки.

— Не на званом ли обеде были? — спросил он, слабо улыбаясь и утирая нос полою.

— На званом, отец Алексей, на званом.

Старшая дочка дьячка, косенькая, мило-

видная и тихая девочка лет шести, шлепая босыми ножками по полу, собрала на стол. Турбин молча принялся хлебать щи.

— Попробую и я с вами... — сказал дьячок, откладывая хомут в сторону, подошел к лейке над лоханью, плеснул водой на руки и взялся за ложку.

Косенькая девочка молча стояла у печки. Дьячок посмотрел на нее, опустил голову и сказал:

— Еже во плоти Рождество господа нашего Иисуса Христа... Да... воспоминание избавления церкви и державы... А там и отдание праздника, и Новый год... Что-то я забыл, когда восход солнца? Заход знаю, а вот восход? Вы не помните?

Турбин захохотал, откинувшись к стене и закрыв рот рукою.

— А на что он вам, отец Алексей?

Девочка подошла к столу и серьезно стала убирать ложки. Турбин смолк и поскорее выбрался на улицу.

— Эхе-хе-хе-хе! — говорил он, шагая в гору и качая головой.

На полугоре он остановился и глубоко

вздохнул свежим воздухом.

«Какой же, собственно, смысл в тоске? — подумал он. — Живут и хуже моего!»

К удивлению его, в училище светился огонь. Не отец ли приехал? Или кто-нибудь из забытых товарищей? Но тогда у крыльца были бы лошади... «Наверно, Слепушкин или Кондрат Семеныч».

## VIII

Кондрат Семеныч был сын обедневшего помещика, учился в гимназии, но дотянул только до пятого класса. Этому, впрочем, помогло и то, что на охоте с борзыми он сломал себе ногу. От отца Кондрату Семенычу осталось только тридцать десятин земли, небольшой флигелек на выезде Можаровки, шитье с дворянского мундира, портрет Николая I, два бронзовых шандала и дорожный ларчик красного дерева, из затейливых ящичков которого пахло старинными кислыми духами. Кондрат Семеныч сдал исполу мужикам землю, нанял кучера, записного охотника и пьяницу Ваську, и уже не разлучался с ним.

Кондрат Семеныч был широкоплеч, небольшого роста, особенно тогда, когда осе-

дал на левый бок, на хроющую ногу; черные волосы его кудрявились, а загорелое, кирпичного цвета лицо оживлялось маленькими веселыми глазками; нижняя челюсть выдавалась у него, но это придавало ему только добродушное выражение; концы черных усиков на короткой верхней губе лихо завивались кверху.

Душа у Кондрата Семеныча была добрая, открытая. Пил он и в кабаках, и в гостях, и на охоте, лгал, хвастался отчаянно и не скрывал этого: «А я тебе, брат, чертовски брехал вчера», — сплетничал без всякой предвзятой цели — просто под влиянием расположения к другу, а друзьями у него на селе были почти все. Колтыхая по деревенской улице, он также дружески встречался и с помещиком, как и ставил ногу на втулку колеса к мужику, насыпая из его кисета сигарку махоркой. Носил, как все мелкопоместные, длинные сапоги, шаровары, картуз и поддевку, которая издавала какой-то особенный запах — запах пороха и лошади; как и они, любил хвастнуть своей рыженькой троечкой.

Турбин был у него раза два. Он надеялся

через Кондрата Семеныча познакомиться со многими помещиками. Но тот только силился напоить его. К тому же и обстановка у него была не такая, какую думал встретить Турбин: крыльцо перед домом было разрушено; в прихожей пол был как в свиной закуте — так он был унавожен жившими здесь и зиму и лето турманами, которые при входе людей поднимались тучей, с шумом и свистом крыльев, и совсем затемняли свет, проникавший сквозь радужные от времени стекла. В углу залы был насыпан ворох овса; тут же на соломе повизгивали, ползали и тыкались слепыми мордами гончие щенята; большая красивая сука, спавшая возле них, подняла голову с лап и наполнила всю залу музыкальным лаем. Голые стены кабинета были темны от табаку и мух; над турецким диваном висели ногойки, кинжалы и желтые шкурки лисиц. Под окном, на письменном столе, кучей была насыпана махорка, стояла коробка колесной мази, лежала шляя; из-под стола зеленела четверть водки. Турбин чувствовал себя неприятно. Не нравилось ему и то, что Кондрат Семеныч говорил ему «ты» и называл его цир-

кулем.

Слепушкин служил на заводе подкурщиком; лицо у него было толстое, обрюзглое и темное, как у заправского алкоголика, голос тяжелый, фигура медведя. Пил Слепушкин водку, смешанную с пивом: такой состав назывался «ершом», по трудности проглотить его сразу. В гостях у Турбина он засиживался до трех часов ночи и часто просил писать к лавочнику записки, чтобы тот прислал «дюжину».

— Не понимаю, — говорил он сонно, облокотясь на стол и глядя на учителя свинцовыми глазами, — не понимаю этих нежностей: ведь мне он не поверит... а я, надеюсь, в состоянии заплатить вам этот несчастный целковый.

— Само собой, — говорил Турбин, расхаживая по комнате, — я не сомневаюсь, но право же...

— Само собой, само собой! — дразнил Слепушкин.

— Пусть будет так... — начинал Турбин, — но главная вещь...

Тогда Слепушкин подымался.

— А уж этого «пусть будет так» я совсем не выношу! — говорил он с искренним презрением. — Вероятно, мы теперь не скоро увидимся.

## IX

С неудовольствием вспоминая все это, Турбин подошел к училищу и заглянул в окно.

Кондрат Семеныч лежал на кровати. Таубкин, выгнув сутулую спину и запустив руки в карманы модных узких брюк, сверкал очками. Слепушкин сосредоточенно играл на гитаре, опустив голову и покачиваясь. Ему вторил на гармонике один из подвальных, Митька Лызлов, белобрысый и безусый. Он играл и с блаженной усмешкой тянул фальцетом:

*А всем барышням-модисткам  
По поклоннику по низком!*

Но кто-то был еще, какой-то благообразный господин с лысиной во всю голову, с длинными черными баками. Осторожно Турбин пробрался к противоположному окну, и даже руки у него похолодели: это был Прохор Матвейч, линтваревский лакей.

«Значит, Линтварев приехал, — думал Тур-

бин. — Но какова это будет штука, если я пойду к нему, буду сидеть в зале — и вдруг входит Прохор Матвеевич?»

Стук двери и голоса слышались на крыльце. Турбин прижался за угол. По снегу заскрипели шаги, Лызлов звонко заиграл на гармонике. Турбин осторожно пробрался в школу. Дверь на крыльцо осталась открытой; в комнате пахло табаком и свежестью морозного воздуха. Турбин поморщился. Но вдруг взгляд его упал на стол: конверт из плотной бумаги! Турбин смешался, покраснел, неловко рванул его...

«Многоуважаемый Николай Нилыч, — стояло в письме, — простите за поздний ответ. В тот приезд, как получил ваше письмо, я не успел ответить, а теперь хотелось бы поговорить с вами лично по поводу вашей просьбы, почему надеюсь, что вы не откажете мне в удовольствии видеть вас у себя на второй день праздника вечером. Преданный вам Линтварев».

Это был ответ на просьбу Турбина помочь школе учебниками. Но теперь Турбину было не до учебников; он ходил по комнате и бор-

мотал с сияющим лицом:

— Преданный! Гм... Вот, ей-богу, чудак!..  
И внутри у него все дрожало от радости.

## Х

К утру сочельника комната его сильно на-студилась. Вода в умывальнике замерзла. Стекла окон были сверху донизу запушены инеем и зарисованы серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками. Турбин спал крепко, а проснулся с ощущением какой-то хорошей цели. Он вскочил и отдернул примерзшую форточку. Резкий скрип саней стоял над всем выгоном: из-под горы тянулся длинный обоз, весь завейанный ночной поземкой; морды лошадей были в кудрявом инее. Все тонуло в ярких, но удивительно нежных и чистых красках северного утра. Выгоны, лозины, избы — все казалось снеговыми изваяниями. И на всем уже сиял огнистый блеск восходящего солнца. Турбин заглянул из форточки влево и увидал его за церковью во всем ослепительном великолепии, в морозном кольце с двумя другими, отраженными солнцами.

— Поразительно! — воскликнул он и, то-

ропливо захлопнув форточку, юркнул под одеяло.

— Уши! — сказал он громко и засмеялся, вспомнив, что мужики называют эти отражения солнца «ушами».

Передняя, куда он вышел умываться, вся была озарена солнцем. Он долго и особенно тщательно мылся, потом заглянул в классную: и там было теперь весело от солнца и тишины предпраздничного утра. «Не шуми ты, рожь...» — затянул он во все горло... Голос гулко отдался в пустой комнате, и это напомнило ему его одиночество. Он замолк и пошел в переднюю пить чай на окне, при солнце. Собразивши, что идти к обедне уже поздно, он даже обрадовался. Его тянуло обдумать, получше обдумать что-то. Но, подавляя внутреннюю торопливость, он убрал чашки и самовар, надел новое пальто и медленно вышел.

Щурясь от ослепительного сверканья на парче снега, от блестящих, отшлифованных, как слонобая кость, ухабов дороги, глубоко дыша холодным воздухом, он шел и все любовался деревней, синими резкими тенями около строений и горизонтом зеленоватого неба

над далеким лесочком в снежном поле: туда, к горизонту, небо было особенно нежно и ясно. Иней приятно садился на веки, пар шел от дыханья, солнце пригревало щеку... Хорошо бы теперь откинуться в задок барских саней, полузакрыть глаза и только покачиваться, слушая, как заливается колокольчик над тройкой, запряженной впротяхку!

«Ну, так как же? Иду, значит? Или нет — не стоит?» — думал Турбин, шагая.

В душе он еще вчера решил, что пойдет. «Да, так лучше, — говорил он себе, — пойду на третий день, утром, по делу, ненадолго. Немыслимо сразу в гости прийти... это он для приличия... Поговорю и уйду. А там, на Новый год, примерно, уж и вечерком можно».

Незаметно он уходил все дальше и, говоря одно, повторял в то же время другое: «Ну, так как же?...» Представив себе все неприятности этого посещения, он тотчас же начинал разубеждать себя в этом, говорил, что «глупо рисовать все в дурном смысле», что он не хуже других... В конце концов, эта путаница мысли испортила ему настроение, утомила, стала мучить. Он поспешно пошел обедать.

Вернувшись и увидя свою бедную комнату вымытой и прибранной к празднику, он почувствовал себя совсем одиноким и стал думать спокойнее и серьезнее.

## XI

Наступил праздник.

Турбин чувствовал себя как-то особенно, как привык чувствовать себя с детства в большие праздники, чинно стоял в церкви, чинно разговлялся у батюшки. Дома, не зная, за что приняться, он бесцельно походил по классу, заглянул в окно... В безлюдье села чувствовалось: все дождалось чего-то, оделись получше и не знают, что делать. С утра было серо и ветрено. После полудня воздух прояснился, облачное небо посинело, бледно-желтым пятном обозначилось солнце, снег стал ярче и желтее, поземка струйками закурилась на гребнях сугробов, подхватываясь и развеиваясь белой пылью, криво понесли по ветру галки. Проезжий мужик повязал уши платком, стал на колени и погнал лошадь. Розвальни бежали, разрывая переносы сухого снега на обмерзлой дороге, постукивая и раскатываясь...

Скука с новой силой охватила Турбина.

Но вечером, когда он пошел на заводскую сторону, он неожиданно столкнулся с Линтваревым и совершенно потерялся от смущения.

— С праздником! — сказал он не то галантно, не то в шутку, неестественно изгибаясь.

Линтварев был среднего роста, с простым приятным лицом, с русою бородкой и ласковыми глазами. На нем был полушубок и валенки, на голове — барашковая шапка.

— Ах, Николай Нилыч! — сказал он, встретившись, как будто даже заискивающе. — Здравствуйте, здравствуйте!.. Благодарю вас... Ну, что, как вы, — не соскучились?

— Пока еще нет, — ответил Турбин, краснея и сляясь вложить в каждое слово не то что-то особенное, не то ироническое.

— Да, да...

Постояли, помялись.

— Ну, так увидимся? До завтра?

Турбин опять не то галантно, не то комически раскланялся.

Домой он шел очень быстро. Как быть, где взять крахмальную рубашку? В вышитой по-настоящему невозможно!

## XII

Вечером он долго, с великим трудом зашивал задник сапога нитками и замазывал их чернилами.

Все утро он ходил по комнатам в одном белье, умывался, несколько раз принимался чистить сапоги, пачкал и опять мыл руки и все думал о рубашке.

— Ничего не придумаешь! — говорил он, останавливаясь среди комнаты. — Послать к Слепушкину? Немыслимо! Начнут судить, ряздить... дойдет до Линтварева... Гадость!

Но нечто подобное случилось.

Около полудня к крыльцу школы подлетела тройка Кондрата Семеныча. С мороза его лицо было особенно свежо и темно-красно. Подбородок был выбрит, усы чернели ярко и лихо. На нем была сюртучная пара; в передней он сбросил енотовую шубу. Коренастый, приземистый, — об дорогу не расшибешь, что называется, — бойко прихрамывая, он быстро вошел к Турбину, крепко поцеловался с ним, причем на Турбина пахнуло морозной свежестью и запахом закуски, и тотчас принял живейшее участие в заботах о его наряде.

— Валяй, брат, валяй смелей!

Турбин, хотя и относился к Кондрату Семенычу как к человеку пустому, однако знал, что Кондрат Семеныч «бывал в обществе» и может подать совет.

— Как валять-то? — говорил он, сдерживая улыбку. — Тут такая неприятная история! Рубашки крахмальной нет!

Кондрат Семеныч качнул головой.

— Это, брат, скверно. В вышитой явиться в первый раз в дом — нахальство!

— Ну, так как же? — говорил Турбин растерянно.

— Ни черта, — сказал Кондрат Семеныч. — Не робей!

И, отворив форточку, он своим хриплым охотничьим голосом гаркнул:

— Васька! Домой валяй! Духом доставь рубашку крахмальную... в сундуке, под летней поддевкой...

Пока Василий ездил за рубашкой, Кондрат Семеныч рассказал, где он успел уже побывать, и с улыбкой сатира, от которой заблестели его маленькие карие глаза, вытащил из рукава шубы бутылку водки.

— Хвати для храбрости! Хочешь? — говорил он, обивая сургуч с горлышка.

— Ну уж нет!

— Что, думаешь, пахнуть будет? Ни капельки. Только чаем зажуй. А впрочем, черт с тобой. Нет ли чашечки?

Выпив и закусив кренделем, Кондрат Семеныч заговорил серьезно:

— Ты, брат, себя поразвязней держи, посвободнее. А то ведь будешь сидеть, как кнут проглотил.

— А как брюки — ничего? — спрашивал Турбин.

Кондрат Семеныч оглядел их с полной добросовестностью и подумал.

— Сойдет! — сказал он решительно, — за милую душу сойдет. Только вот смяты немножко. Снимай, давай разгладим.

— Нет, нет, пустяки, — пробормотал Турбин, густо краснея.

— Ну, как знаешь.

Кондрат Семеныч лег на постель и вполголоса зашел:

*Вода — для рыбы, раков,  
А мы, герои, водку пьем!*

В это время Васька внес рубашку. Но едва Турбин надел ее, Кондрат Семеныч так и покотился со смеху.

— Нет... Не срамись! — хрипел он, задирая ее на голову Турбина, — не годится!

Правда, рубашка не годилась. Накрахмалена она была отвратительно — вся была грязно-синяя, ворот ее был непомерно широк.

— Декольте! — повторил Кондрат Семеныч сквозь смех.

Турбин снова покраснел и даже запотел от злобы.

— Я вам не шут гороховый! — крикнул он бешено.

— Да за что ж серчаешь-то? — заговорил Кондрат Семеныч растерянно. — Сам тонок, как шест, хоть грачей доставать, а на меня серчает... Ну, хочешь, достану?

— Не понимаю — где? — глядя в сторону, пробормотал Турбин.

— Да уж это мое дело. Ну, хочешь?

И, не дожидаясь ответа, хлопнул дверью, накинул на себя шубу и выскочил на крыльцо. Рыженькая троечка подхватила под гору. Турбин бросился к дверям:

— Кондрат Семеныч! Кондрат Семеныч!

Но Кондрат Семеныч только рукой махнул.

— Это бог знает что такое! — сказал Турбин, чуть не плача. — Это значит, всему заводу будет известно!..

Однако, когда Кондрат Семеныч через десять минут явился обратно и привез с собой Таубкина и его крахмальную рубашку, когда Таубкин самым задушевым тоном стал просить «не беспокоиться» и когда рубашка оказалась как раз впору, Турбин, весь красный от волнения, начал улыбаться.

— Что вы беспокоитесь? — говорил Таубкин фальцетом. — Что такое? Разве я не понимаю? Конечно, это останется между нами. Хотите мои часы?

Турбин отказывался. Кондрат Семеныч преувеличенно расхваливал его костюм.

Наконец Турбин был готов. Он повеселел, хотя и чувствовал себя наряженным и точно связанным. Он садился то на один, то на другой стул.

— Вы к нему по делу? — вдруг спросил Таубкин, как будто вскользь.

— Да, то есть так... по делу отчасти.

— Так вам, пожалуй, пора.

Турбин уже давно думал про это. «Пожалуй, что и правда пора, — соображал он, — что же, к шапочному разбору-то прийти? Только хозяев в неловкое положение поставишь...»

— А который час?

— Четверть восьмого.

— Вали, брат, вали, — сказал Кондрат Семеныч.

— Пожалуй, — согласился Турбин, медленно поднимаясь.

Напевая, Кондрат Семеныч накинул на себя шубу, осмотрел пальто Турбина.

— Молодец! — сказал он, смеясь глазами. — Хочешь, подвезу?

Турбин заторопился отказаться.

— Ну, черт с тобой! Едем.

Он сунулся лицом к лицу Турбина для поцелуя, ввалился в сани рядом с Таубкиным и крикнул:

— Обрати посерьезнее внимание на Линтвариху! Хороша, анафема!

### XIII

Уже подходя к аллее перед линтваревским

домом, Турбин вдруг оробел, оглянулся и поспешно зашагал опять под гору. «Рано, рано, немислимо так рано!..»

Волнуясь, он дошел до моста и опять оглянулся. Вот будет скверно, если видели, что он приходил! Но никого не было кругом. Только на деревне горланили на «улице» девки. Из дома через аллею загадочно светились окна. Что там, в доме? Начался вечер или нет? И кто там, и что делают? А обстановка? «Небось люстры, паркет, бархат, фамильные портреты... Вот отсчитаю сто... нет, двести и тогда пойду».

Вдруг на мосту послышался скрип шагов. Турбин быстро повернулся и, не оглядываясь, почти побежал по аллее. Не думая, он быстро растворил дверь, шагнул через три ступеньки в сенях и стал шарить по притолоке звонка. В дверях щелкнул замок, и нарядная горничная появилась на пороге.

— Павел Андреевич дома?

— Пожалуйте-с.

Горничная помогла ему снять пальто. Как в тумане, увидал он большую светлую залу, открытый блестящий рояль, тонкие стулья,

тропические растения... Поразили его только ширмочки около них из матового стекла; все остальное показалось ему чересчур просто. Цапаясь когтями по паркету, из столовой убежала щеголевато-тонкая черная собачка, а за нею быстро вышел Линтварев.

— Имею честь поздравить! — сказал Турбин и в смущении вынул носовой платок.

Предупредительно-ласково Линтварев пожал ему руку.

— Милости просим, милости просим!

И, пропуская Турбина вперед, повел его в столовую.

— А, Николай Нилыч! — сказала Надежда Константиновна так, словно давно ждала его.

Турбин расшаркался, оглянулся.

— Николай Нилыч Турбин... Господин Турбин... — поспешно говорил хозяин.

Молодой, свежий, красивый флотский офицер встал быстро и поклонился с преувеличенной вежливостью. Невысокий, худощаво-широкоплечий, с обветренным, инородческого типа лицом доктор пожал ему руку просто и без улыбки. Пожилой, солидный господин, не вставая, сдержанно-вежливо нахло-

нил голову.

— Присаживайтесь-ка! — сказала хозяйка опять так, словно хотела сказать: «Ну, наконец-то, вот теперь все пойдет прекрасно».

Турбин сел, вытер платком лоб, все еще глядя словно через воду. То, что один из гостей не подал ему руки, заставило его ощутить почти физическую боль в сердце.

— Николай Нилыч, вам сколько кусков сахара? — обратилась к нему хозяйка с улыбкой.

Турбин встрепенулся.

— Я бы попросил без сахара, — сказал он.

И он взял стакан, замирая от страха повалить его на скатерть или прикоснуться руками к рукам Надежды Константиновны. Так как общий разговор на минуту прервался, то она продолжала:

— Ну что, как ваша школа?

— Ничего, прекрасно, — ответил Турбин, и его голос ему показался чужим и слишком громким.

— А в Можаровке вы на все Святки остались? — заботливо прибавил хозяин.

— Да, уж нынешний год, думаю... решил

так, что не ездить лучше.

— Да?

Линтварев наклонил голову, словно приятно изумился. Затем торопливо, с виноватой улыбкой — по необходимости, мол, — обернулся к соседу.

Стараясь держаться свободнее, Турбин стал осматриваться.

## XIV

Тот, что не подал руки Турбину, Беклемишев, был богатый помещик и видный человек в земстве. Он был плотен, родовит, с матовым цветом млажаваго лица, сед. Держался с удивительным хладнокровием. И Турбин старался не глядеть на него.

Земский доктор держался строго, но просто, и его черемисское лицо и взгляды сквозь очки между быстрыми глотками чая не пугали. Родственницы хозяйки, княжны Трипольские, часто вставляли свои замечания в рассказ Беклемишева о его поездке к министру Ермолову ленивым тоном, гримасничая, когда улыбались. Их Турбин уже видел несколько раз осенью, когда они амазонками проезжали по селу кататься. И у священника и у

лавочника велись тогда бесконечные разговоры о них. От старого повара все знали, что княжны очень богаты, живут то в Петербурге, то в своем имении, то гостят у Линтварева, а больше всего — за границей.

— Что ж им? Катайся в свое удовольствие, да и только! — говорил лавочник с умилением.

Когда о Турбине забыли, он успокоился и только чувствовал себя как-то странно-хорошо в этой новой обстановке, среди легко развивающегося разговора, сидя около хозяйки, похожей на английскую леди: таких изящных черт лица, такой чистоты и нежности кожи он еще никогда не видывал. А когда он вставал, так было легко и приятно отодвигать тонкий красивый стул, ходить по паркету в этой просторной столовой, ярко озаренной большой лампой над столом, видеть блеск серебряного самовара и посуды из тончайшего стекла. Было, правда, одно очень неприятное обстоятельство: во время рассказа Беклемишева Турбин, не зная, что делать, наклонился и поймал собачку; но та, как стальная, выскочила из рук и при этом так пронзительно

взвизгнула, что хозяйка схватилась за висок и все встрепенулись, обратили на него глаза, и Турбин готов был провалиться сквозь землю от смущения. Но сама же хозяйка и сумела замять эту историю: так непринужденно, словно ничего и не было, обратилась к нему: «Николай Нилыч, вы позволите еще чаю?» — что он ободрился и смог очень ловко ответить: «Нет, мерсі... достаточно уже».

Он выпил два стакана, наслаждаясь ароматом рома, который с тихой лаской подливал ему в чай хозяин, и от рому оживился, почувствовал смелость и верную упругость в ногах. Он даже не смутился, когда приехало еще несколько человек гостей: красивая, полная вдова-помещица, завитая, с горящими от мороза ушками, старик-помещик, который немножко рисовался простотой, но которого все любили за эту простоту и тотчас окружили с веселыми улыбками, еврей-инженер, сухой, черненький, подвижной, вроде той собачки, которую поймал Турбин, и наконец член суда, такой чистый, как все судейские, свободный и веселый остряк, делавший умные, насмешливые глаза.

Говорили о театре. Трипольские с восторгом рассказывали об игре Заньковецкой в Петербурге, бранили Мазини, хвалили Фигнера... рассказывали про своих знакомых, про поэта Надсона. Как будто желая описать, какой он милый и больной человек, княжны рассказывали, что он у них был в гостях, а потом они его навестили в Ницце. Член суда декламировал пародии Буренина на надсоновские стихи. Потом разговор разбился — в одном месте слышались имена земцев, в другом все еще Мазини и Фигнера. Учитель, изгибаясь и покачиваясь, подходил то к одной, то к другой группе и все время был в напряженном состоянии от желания хоть что-нибудь сказать. Но весь разговор шел о неизвестном, и он молчал или смеялся сдержанно и неискренно, когда смеялись другие.

— А вы все о своем профессиональном образовании? — сказал он наконец, подходя к Линтвареву и Беклемишеву.

Беклемишев тихо поднял на него глаза.

— Нет, почему же... — сказал Линтварев, улыбаясь. Турбин, тоже улыбаясь, продолжал:

— Вы хотите, как я слышал, так серьезно

им заняться?

От неловкости Турбин подчеркивал слова, и их можно было принять за насмешку. Особенно нехорошо ему было от пристального и спокойного взгляда Беклемишева. Но все-таки он присел к столу, предварительно посмотрев на стул и раздвинув полы сюртука, расставил острыми углами свои тонкие ноги и, поставив локоть на колено, стал пощипывать кончики своих жидких белесых усов.

— Меня, по правде сказать, очень интересует этот вопрос, — сказал он, помолчав, как-то внезапно. — Я, конечно, говорю искренне...

— С какой же именно стороны вас интересует? — спросил Беклемишев.

— То есть как с какой стороны? Вообще... в применении его в жизни.

Беклемишев, поставив руки на стол и соединяя ладони, смотрел, ровно ли приходятся пальцы один к другому. Линтварев старательно набивал машинкой папиросы.

— Я читал, — продолжал Турбин уже с усилием, — недавно в одной газетке про книжицу какого-то Весселя о профессиональном образовании... Меня, собственно, удивило, что

к его мыслям, очевидно, многие относятся враждебно: например, директор ремесленного училища цесаревича Николая... Мне кажется, что тут есть несправедливость... Он говорит, например, что школа, собственно, несовместима с мастерской...

— То есть это, — мягко перебил Линтварев, — Песталоцци мнение, а Вессель, хотя и...

— Ну да, и Песталоцци, — перебил в свою очередь Турбин, и в нем уже загорелось желание спора. — Только, по моему мнению, это и понятно... Когда мне, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальчика мастерить разные безделушки, когда он сам, в своем быту, так сказать...

— Зачем же непременно безделушки?

Турбин развел руками.

— Мне, собственно, это все представляется как бы игрушками... Мне трудно это объяснить, но все эти затеи... Говорят, подспорье хозяйству... но ведь смешно подпирать то, что разваливается окончательно... да и не соответствует все это духу нашего народа, истого земледельца... А учить его, например, делать плетушки...

— Ну да, ученого учить — только портить, — насмешливо сказал Беклемишев.

Турбин хотел продолжать, сказать, что он думает, более ясно и связно. Но Беклемишев, как бы забыв о его присутствии, тихо и спокойно промолвил Линтвареву:

— Да, так я думаю, что это еще гадательно: князь слишком глуп для этого, а Гарницкий — юн.

Линтварев виновато посмотрел на Турбина. Турбин смолк. Теперь ему хотелось одного — поскорее уйти из столовой. Но встать сразу было неловко.

— А я все хотел попросить у вас какой-либо книжицы из вашей библиотеки, — сказал он наконец, подымаясь.

— С величайшим удовольствием, — поспешил ответить Линтварев.

Турбин встал и медленно прошелся по столовой. Он долго стоял перед камином, рассматривал большой портрет Толстого, писанный масляными красками. Но ему уже было не по себе. Музыка в зале ударила ему по сердцу как-то болезненно. И, под предлогом, что он идет слушать, он вышел в залу.

## XV

Играл член суда.

— Что это? — спросил сидевший около него старик-помещик, обращаясь к хозяйке.

— Соната Грига. Вы не знаете?

— Десять лет не играл, — сказал помещик со вздохом, — а хорошо!

— Чудо! — подтвердила хозяйка.

Музыка Грига решительно не нравилась Турбину. Звуки лились вычурно, быстро и не трогали его сердца. Он чувствовал, что она так же чужда ему, как все общество, окружавшее его. В начале вечера он все ждал, что будет что-то хорошее. Теперь это чувство ослабело. Он думал, что надо идти домой, что никому он не нужен. Никто даже не поинтересовался им, не поговорил, чтобы узнать, что он за человек. Даже хозяин только предупредительно, беспокойно вежлив с ним...

Музыка смолкла. «Посижу еще, послушаю немного и уйду», — решил Турбин. Но поднялся разговор о Григе. Старик-помещик добродушно-насмешливо покачивал головой. «Хорошо, а не забирючивает», — говорил он. Член суда горячился, доказывая, что «Григ ве-

ликолепен».

И, покачивая головою, тихо начал «Белые ночи» Чайковского:

*Какая ночь! На всем какая нега!*

Турбин не знал ни этих слов, ни Чайковского; но при первых же чистых звуках мелодии у него дрогнуло сердце: что-то нежно-призывающее было в них; а когда эти зовущие звуки определились в томительно-грустные, Турбину захотелось плакать.

Но рояль стих. Турбин встал: ему хотелось еще музыки, но он не знал, что назвать. Он подумал о «Молитве девы»... но это было как-то неловко сказать.

— Будьте добры, сыграйте еще что-нибудь, — обратился он к члену суда.

— Что же? — спросил тот, перебирая ноты.

— Что-нибудь Бетховена.

Член суда посмотрел на него внимательно.

— Сонату? — спросил он. Турбин в смущении качнул станом.

— Да, сонату...

— Какую же?

— Все равно... — пробормотал Турбин, чув-

ствуя, что над ним смеются.

Но тут позвали к столу. Турбин настроил себя чинно и шел медленнее всех.

Хозяин особенно хвалил и предлагал се-ледку. Член суда, с видом знатока, попробовал ее и нашел «гениальной».

— Николай Нилыч! Водки? — сказал хозяин.

— Можно! — ответил Турбин.

— Хинной или простой?

— Хинной так хинной.

— Так будьте добры — распоряжайтесь сами.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, пожалуйста!

Около стола теснились, оживленно переговаривались.

С тарелкою в руках Турбин долго стоял в конце всех. Он не обедал и с особенным удовольствием выпил рюмку водки, погонялся вилкой за ускользающим грибком и ограничился на первое время пирогом. После первой же рюмки он почувствовал легкий хмель, очень захотел есть и долго, поглядывая иско-са и стараясь не торопиться, ел одних омаров.

Член суда уже дружески предлагал ему выпить с ним, и Турбин выпил еще рюмку простой водки. И водка и дружеский тон члена суда совсем размягчили его.

Первые минуты опьянения он чувствовал себя так же, как в самом начале вечера: как сквозь воду видел блеск огней и посуды, лица гостей, слышал говор и смех, чувствовал, что теряет способность управлять своими словами и движениями, хотя сознавал еще все ясно. Раскрасневшееся, потное лицо затягивало паутиной; в голове слегка шумело. Но все-таки он старался оглядываться смело и весело своими томными глазами. Ему было жарко. Когда же Линтварев (Турбину казалось, что и Линтварев запьянел) взял его под руку и повел к столу ужинать, он почувствовал себя очень большим и неловким.

— Не выпьем ли еще по единой? — сказал член суда.

— Блаженный Теодорит велит повторить, — отвечал Турбин со смехом.

— *Repetitio est mater studiorum.*[1] Не так ли? — промолвил с другого конца флотский офицер, явно подделываясь под семинарскую

речь.

Турбин понял это и вызывающе поглядел на офицера. «Ну, и черт с тобой!» — подумал он и, усмехаясь, крикнул:

— Optime![2]

Член суда поспешил налить. Хозяйка как будто вскользь, но значительно поглядела на него. И это Турбин заметил, но никак не мог обидеться: так просто и тепло стало у него на душе.

— Да и последняя! — сказал он, выпивая и махая рукой. — Я и так мокрый, как мышь.

Удерживаясь от смеха, младшая княжна зажала рот платком.

Ужин, как показалось, прошел чрезвычайно быстро. Турбин запомнил только, что ел горячий ростбиф, что сои огнем охватили ему рот, что он пил мадеру, лафит и плохо соображал, о чем идет говор.

Когда подали шампанское (был день рождения хозяйки), Турбин быстро встал и оглушительно крикнул «ура!». Но за оживлением на это не обратили особенного внимания. Все столпились в кучу, поздравляя хозяйку и самого Линтварева. Линтварев, с бокалом в од-

ной руке, прижимал другую к сердцу и старался казаться и тронутым и шутливым.

— Ура! — крикнул еще раз Турбин, но уже потише и улыбнулся слабой, жалкой улыбкой.

— Не стоит! — шепнул доктор, сжимая ему локоть.

— Ну, не надо...

И, улыбаясь, Турбин медленно пошел в залу. Теперь он уже освоился с тем, что не может управлять собою.

## XVI

В зале Прохор Матвеич разносил чай, снова предложенный хозяином. «Люблю, грешный человек! — говорил он. — Господа, кто желает китайского зелья?» Все приняли это предложение с шумными одобрениями, как на земских собраниях: «Просим, просим!..»

— Сергей Львович, сыграть просим! — крикнул хозяин.

— Благодарю, господа, я чувствую себя слишком утомленным, — отнекивался Сергей Львович, продолжая пародировать гласных. Но тут поднялся такой шум и крик, что отказываться стало невозможно.

— Просим! — крикнул Турбин уже после всех.

— Давненько я не брал в руки шашек, — говорил Сергей Львович, кряхтя и усаживаясь за рояль.

— Сергей Львович! Вебера! — крикнул член суда. Сергей Львович поднял брови и подумал.

— Нет, — сказал он с улыбкой, — попробуем блеснуть техникой. Ну-ка...

— Тарантелла... — шепнул флотский офицер. — Николая Рубинштейна.

Член суда утвердительно кивнул головой.

Из медленных, в которых сказывалась хитрая, сдержанная удаль, звуки быстро превратились в шумные, быстрые и затрепетали в каком-то диком восторге. Возгласы одобрения поминутно заглушали их. Казалось, что, если бы танец не кончился, можно было бы задохнуться от напряжения... Турбин хохотал нервным смехом.

— Вот это так так, — бормотал он в восторге.

— А теперь, — крикнул Линтварев, — гротесфатер!

Под церемонные звуки старинной музыки дамы во главе с хозяином и членом суда начали комически двигаться, раскланиваться, но спутались, перемешались и со смехом остановились.

— Ну, лянсье! — взывал хозяин.

— Не выйдет!

— Выйдет!

Турбин тоже порывался танцевать и быстро оглядывался кругом.

— Сергей Львович! — вдруг завопил он. — Пожалуйста!.. ту, веселую...

— Тарантеллу?

— Да, да!

Сергей Львович мельком взглянул на него и ударил по клавишам. И не успели опомниться гости и хозяин, как произошло нечто дикое: не слушая музыки, без всякого такта, Турбин вдруг зашаркал ногами, потом все быстрее, быстрее пошел мелкой дробью и вдруг стукнул в паркет, подпрыгнул и пустил руки между ногами, словно разрубил что-то со всего размаха.

— Bravo! — крикнул кто-то насмешливо. — Бис!

И под разрастающиеся звуки Турбин охотно побежал назад, заплетая и размахивая ногами как веслами, хотел еще раз стукнуть в пол — и вдруг замер: в двух шагах от него стоял отец Линтварева! Шаркая и подаваясь вперед, он поторопился из маленькой гостиной, где играл в карты, на шум в зале. Увидев пляску, он с изумлением поднял свою седую большую голову и, приложив к переносице пенсне, глядел прямо в лицо Турбину остановившимися глазами.

Турбин качнулся в сторону и с жалкой улыбкой махнул рукой. Доктор быстро подошел к нему.

— Пойдемте, батенька, домой, — сказал он ему строго.

— Нет, чего же? — ответил Турбин. — Я еще не хочу.

Лицо его было бледно, холодный пот крупными каплями покрывал лоб.

— Нельзя, нельзя, — повторил доктор еще строже и, взяв его под руку, повел в переднюю.

Турбин, приплясывая, покорно пошел...

Спал или не спал он, добравшись домой? До головокружения живы и беспокойны были сновидения. Казалось, что он все еще в гостях: люди двигались, перетасовывались, проходили перед ним как в пантомиме, и он сам во всем участвовал и чувствовал, что все выходит хорошо и ловко, хотя и беспокоит что-то, спутывает все. Турбин старался вспомнить, что же это мешает, и никак не мог, и мучился, осаждаемый сновидениями. Истомленный до последней степени, он наконец открыл глаза. Дневной свет сразу отрезвил его, — стыд, жгучий стыд до слез, до физической боли пронзил его душу. Он стиснул зубы, крепко прижал голову к подушке.

Вдруг он вскочил. Он решился переломить себя, задавить все эти воспоминания. Он поспешно одевался, убирал комнату. В ногах была слабость, но голова не болела. Он старался делать все как можно правильнее и серьезнее. И в то же время беспокойно выискивал оправдания себе...

Отворилась дверь.

— Самовар-то ставить, что ль? — спросил Павел.

— А почему же не ставить? — хрипло крикнул Турбин.

— Да то-то, мол, надо ли?

Турбин отвернулся и еще крепче стиснул зубы. Павел помолчал, потом вдруг лукаво взглянул Турбину в глаза и, с просиявшим лицом, быстрым шепотом спросил:

— Ай слетать к Ивану Филимонычу?

— Это зачем?

— За похмелочкой? А?

— Убирайся ты от меня к шуту со своими бессмысленными глупостями! — закричал Турбин, багровея от злобы.

После чая он лежал на кровати и с глухой яростью придумывал самые оскорбительные фразы, которые, вероятно, посыпались по его адресу, как только он вышел, в доме Линтварева. А на селе! С какими глазами показаться теперь на село?

Однако он заставил себя одеться и пошел к дьячку обедать. «Знают или нет?» — думал он, боязливо глядя на заводскую сторону.

Около лавки он постарался идти как можно медленнее.

— С праздником, Иван Филимоныч! — ска-

зал он, увидя лавочника, стоявшего около са-ней с ящиком водки.

Лавочник считал бутылки, передавая их в лавку мальчику, и ответил учтиво и поспешно:

— И вас также! Милости просим.

— Постараюсь.

— Николай Нилыч теперь загордел, — вдруг раздался голос лавочницы с крыльца.

Она смотрела на Турбина насмешливо-пристально. Лавочник вдруг обернулся к ней с строгим взглядом, и по одному этому взгляду Турбин понял, что все известно, все... и с замирающим сердцем поспешил скрыться в избе дьячка.

Обед прошел спокойно. Но, когда Турбин уже поднялся из-за стола, дьячок, глядя в сторону, сказал так, словно продолжал давно начатый разговор:

— И совсем не стоило туда ходить. И ба-тюшка то же говорит, и Иван Филимоныч.

Турбина словно ударили по голове.

— Куда это? — через силу спросил он.

— Если, гырт, — продолжал дьячок уныло-невозмутимым тоном, — если, гырт,

съесть-спить, так и у меня был бы сыт, не прекнул бы куском... Да и правда: не нам с вами бывать у таких персон!

— Ну, да я... я, отец Алексей, кажется, сам не маленький...

Дьячок только вздохнул. Дрожащими руками Турбин нашел скобку и хлопнул дверью.

— И прекрасно! И прекрасно! — с злобной радостью похохатывал он, почти бегом взбираясь на гору.

## XVIII

— Дома? — раздался в передней голос Слепушкина, как только Турбин вошел к себе и, скинув пальто, упал на постель.

Павел отвечал что-то торопливым шепотом.

— Ну, ну, не надо; не буди... бог с ним.

Дверь хлопнула, все стихло. Турбин лежал без движения...

— Поздравляю! — раздался вдруг крик Кондрата Семеныча, со смехом ввалившегося в комнату. — Ты, говорят, черт знает каких штук там натворил? Какой это ты танец своего изобретения плясал?

— Оставьте, пожалуйста, меня в покое! — тихо ответил Турбин.

— Да нет, как же, брат, ты, говорят, вдребезги насадился?

Ухмыляясь, Кондрат Семеныч присел на кровать и продолжал уже с искренним участием, обращаясь к Турбину, как к заведомому пьянице:

— Гм, пожалуй, правда, свинство! Ты бы хоть на первый-то раз поддержался немного... Надо сходить извиниться. Еще, пожалуй, с места попрут...

А через полчаса на столе стояла бутылка водки. Турбин, уже захмелевший, облокотившись на стол и положив голову на руки, сидел молча.

— Черт знает что! — говорил Кондрат Семеныч, — говорят, тебя за крыльцо выкинули?

— Кто это?

— Что?

— Говорит-то?

— Слепушкин.

Турбин злорадно захохотал.

А Кондрат Семеныч с серьезным лицом

грустно продолжал:

— Он, брат, Линтварев-то этот, глумился над тобой. Оплевать, воспользоваться твоей необразованностью! Подло, брат! Мне тебя от души жаль.

Турбин вдруг сморщился, захлюпал, хотел что-то сказать, но захлебнулся слезами и только зубами скрипнул.

— Ну, вот, опять готов! — сказал Кондрат Семеныч с сожалением. — Тебе, брат, стоит бросить пить.

— Да не пьян я! — закричал Турбин бешено, с красными, полными слез глазами, и треснул кулаком по столу.

## XIX

— Э-эй, держись! — крикнул Васька, когда рыженькая троечка что есть духу разнеслась в темноте под гору и толпа ребят и девок, как стадо овец, шарахнулась в сторону.

Взрыв хохота и криков на время покрыл звон колокольчиков... Мелькнули огни кабака... Турбина охватило отчаянное чувство смелости и веселья.

— Делай! — крикнул он Ваське.

Сани налетели на водовозку, сбили ее в

сторону. Около завода какая-то фигура выпрыгнула из темноты и упала на ноги Турбина.

— Митька? Ты? — крикнул Кондрат Семеныч.

— Ребята гнались, — молчи!

И на повороте в село фигура выпрыгнула из саней и опять скрылась в темноте.

В избах светились огни, чернели кучки народа на улице, шум и гам покрывали горластые песни, толкотня, пляска, гармоники. Стоном стояла и разливалась протяжная «страдательная», ее заглушал азартный трепак, топот ног и взвизгивания...

Сперва попали в какую-то избу, битком набитую народом. С непривычки Турбину показалось даже страшно в ней: так было жарко, низко и людно... Шла игра в «короли». Неиграющие, ложась друг другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытого от черной топки словно черным густым лаком, теснились к столу.

За столом сидели ребята в расстегнутых полушубках и чистых рубахах, девки в красных ситцах, сильно пахнувших краскою. У

всех были сжаты корабликом карты в руках и напряженно веселы лица. Ребятишки шмыгали по ногам, лезли из сенец в избу. «Выстудили избу, окаянные!» — кричала на них хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:

— А это чей же будет?

— Свой, тетка! — ответил Турбин с хохотом и, севши на лавку, не удержался, завалился за сидящих и задрал ноги.

А через минуту он был опять в санях. Кондрат Семеныч втащил в них какую-то хохочущую солдатку и, стоя, крикнул Ваське:

— К печнику!

— Попала шлея под хвост! — подхватил Турбин.

## XX

От посещения печника более всего осталось в памяти его пение. И сам печник, волосатый, пожилой мужик, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свете любили водку и песни. Гости за посещение их избы напаявали их, и беспутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчас же в печке запылал огонь, зашипела и затрещала яичница с ветчиной, загу-

дела труба на самоваре. Запьяневшая, раскрасневшаяся хозяйка поддувала пламя под таганчиком и с ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина. Затем начался пир. За каждым куском следовала водка; ошалевший Турбин не отставал от других, хотя уже чувствовал, что с великим трудом слышит говор и песни вокруг себя. Песни начал печник. Положив голову на руку, он что ни есть мочи разливался таким неистовым криком, что на шее у него вздувались синие жилы.

— Ешьте, что ль, ветчину-то! — кричала хозяйка.

Турбин машинально, кусок за куском, ел страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило от бесплодных усилий разжевать эти жареные брусочки.

На печника уже не обращал никто внимания. Перебивая его песни, Кондрат Семеныч с Васькой лихо играли на двух гармониках «барыню», а бабы, с прибаутками, с серьезными, неподвижными лицами выхаживали друг перед другом, постукивая каблуками.

*Посылала меня мать*

*Караулить гусака, —*

вычитывала хозяйка.

*Уж я ее кнутом,  
И кнутом, и прутом, —*

бойко покрикивала в ответ солдатка, то прихлопывая в ладоши, то упирая руки в бока.

— *Делай!* — повторял Васька, потрясая гармоникой над головою и пускаясь в самые отчаянные варьяции «барыни». В чаду беспричинной напряженной веселости сознание учителя иногда прояснялось. «Где это я? Что такое?» — спрашивал он себя, но тотчас начинал хлопать в ладоши и в такт «барыни» стучать сапогами в пол.

А за окном, которое завесили попоной, галдел народ, порываясь в избу. Горький пьяница, рабочий с завода, Бубен, огромный худой мужик, с лошадиным лицом, с растрепанными пьяными губами, несколько раз отворял дверь.

— Не пускай, ну его к черту! — говорил Кондрат Семеныч.

— Ну, что ты? Кого тебе? — спрашивала хо-

зьяка, загораживая порог.

Улыбаясь и качаясь, Бубен придерживался за притолоку и говорил:

— Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.

— Никого тут нетути. Иди.

— Буде, буде толковать-то!

— Тури его в шею! — кричал Кондрат Семеныч.

У Турбина нестерпимо ломило в темени от жары и водки. Но он все еще не отставал от других, и, когда раздались крики, что с лошадей сняли вожжи и чересседельник, он даже выскочил вместе с Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. На морозе водка еще более разобрала его, и с этого момента воспоминания его совершенно путаются.

Запомнил он только то, что долго бродил по сенцам, а когда Кондрат Семеныч выпихнул к нему какую-то бабу, он потащил ее на скотный двор, и она вырывалась и торопливо шептала:

— Что ты, что ты? Ай подеялось?... Ай очумел?... Ох, батюшки, пусти, пусти-и... Тут погребница!..

И ошалевший Турбин опять с трудом отыскал дверь в избу и очутился в полном мраке, и эта темнота, шепот, возня на соломе еще более взбудоражили его кровь. Он долго шарил по соломе трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидел на полу и бормотал что-то, повалил кочергу. — потом потерял всякое представление о том, где он...

Чувствовал только во сне, что откуда-то по ногам несет холодом. Он тщетно прятал их под солому. Потом началась страшная жажда. Все внутри у него горело, и он чувствовал это сквозь сон и никак не мог проснуться, а все шептал горячечным шепотом:

— Пить... Бога ради пить!..

Казалось, что какая-то толпа растет вокруг него, а он пляшет под «тарантеллу», пляшет, пляшет без конца и вдруг слышит над самой своей головой рукоплескания и крики, отчаянный крик. Он вскочил: петух еще раз крикнул на всю избу и затрепыхал крыльями.

Холод плыл по ногам. Еле-еле светало. В смутном сумраке было видно несколько человек, спящих на соломе. Шатаясь, Турбин начал шарить по печуркам спичек; в печурках

были какие-то сырые теплые перья; на грубке лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбин задыхался от жажды.

— Бога ради, напиться! — сказал он громко.

— Ох, чтоб тебе совсем! Вот напужал-то! Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и завертывать под платок сбитые волосы.

— Пить нет ли? Душа запеклась!

— Посмотри в угле, в щербатом чугунике.

Турбин с жадностью припал к чугунику. Но квас был так кисел и холоден, что Турбина с первых глотков подхватила лихорадка, и, не попадая зуб на зуб, он бросился по нарам, через Кондрата Семеныча, на печку; Кондрат Семеныч замычал и заскрипел во сне зубами.

Какой-то тяжелый запах и тепло охватили Турбина, и он заснул как убитый. Но и этот сон продолжался как будто мгновение. Затопили печку по-черному, и дым, пеленой потянувшийся под потолком в дверь, завешенную попоной, стал душить Турбина. Он зарывал голову в солому и сор, но ничто не помогало. Тогда он свесил голову с печки, кое-как при-

ладил ее к кирпичам и так проспал до самых завтраков.

В завтраки Кондрат Семеныч, с опухшим лицом, но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника, похмелялся и, вертя сигарку, поглядывал на сонное лицо Турбина. Оно было как мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.

— Вот-те и педагог! — сказал он с сожалением. — Пропал малый!

— Сирота небось! — задумчиво произнес печник.

1894

# В поле

## I

Темнеет, к ночи поднимается вьюга.

Завтра Рождество, большой веселый праздник, и от этого еще грустнее кажутся непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле, утопающее во мгле поземки. Небо все ниже нависает над ним; слабо брезжит синевато-свинцовый свет угасающего дня, и в туманной дали уже начинают появляться те бледные неуловимые огоньки, которые всегда мелькают перед напряженными глазами путника в зимние степные ночи...

Кроме этих зловещих таинственных огоньков, в полуверсте ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно, и ветер легко сдувает с дороги жесткий снег. Но зато он бьет им в лицо, засыпает с шипеньем придорожные дубовые вешки, отрывает и уносит в дыму поземки их почерневшие, сухие листья, и, глядя на них, чувствуешь себя затерянным в пустыне, среди вечных северных сумерек...

В поле, далеко от больших проезжих путей, далеко от больших городов и железных

дорог, стоит хутор. Даже деревушка, которая когда-то была возле самого хутора, гнездится теперь в верстах в пяти от него. Хутор этот господа Баскаковы много лет тому назад наименовали Лучезаровкой, а деревушку — Лучезаровскими Двориками.

Лучезаровка! Шумит, как море, ветер во круг нее, и на дворе, по высоким белым сугробам, как по могильным холмам, курится поземка. Эти сугробы окружены далеко друг от друга разбросанными постройками, господским домом, «каретным» сараем и «людской» избой. Все постройки на старинный лад — низкие и длинные. Дом обшит тесом; передний фасад его глядит во двор только тремя маленькими окнами; крыльца — с навесами на столбах; большая соломенная крыша почернела от времени. Была такая же и на людской, но теперь остался только скелет той крыши и узкая, кирпичная труба возвышается над ним, как длинная шея...

И кажется, что усадьба вымерла: никаких признаков человеческого жилья, кроме начатого омета возле сарая, ни одного следа на дворе, ни одного звука людской речи! Все за-

бито снегом, все спит безжизненным сном под напевы степного ветра, среди зимних полей. Волки бродят по ночам около дома, приходят из лугов по саду к самому балкону.

Когда-то... Впрочем, кто не знает, что было «когда-то»! Теперь числится при Лучезаровке уже всего-навсего двадцать восемь десятин распашной и четыре десятины усадебной земли. В город переселилась семья Якова Петровича Баскакова: Глафира Яковлевна замужем за землемером, и почти круглый год живет у нее и Софья Павловна. Но Яков Петрович — старый степняк. Он на своем веку прогулял в городе несколько имений, но не пожелал кончать там «последнюю треть жизни», как выражался он о человеческой старости. При нем живет его бывшая крепостная, говорливая и крепкая старуха Дарья; она нянчила всех детей Якова Петровича и навсегда осталась при баскаковском доме. Кроме нее, Яков Петрович держит еще работника, заменяющего кухарку: кухарки не живут в Лучезаровке больше двух-трех недель.

— Тот-то у него будет жить! — говорят они. — Там от одной тоски сердце изноет!

Поэтому-то и заменяет их Судак, мужик из Двориков. Он человек ленивый и неуживчивый, но тут ужился. Возить воду с пруда, топить печи, варить «хлебово», месить резку белому мерину и курить по вечерам с барином махорку — невелик труд.

Землю Яков Петрович всю сдает мужикам, домашнее хозяйство его чрезвычайно несложно. Прежде, когда в усадьбе стояли амбары, скотный двор и рига, усадьба еще походила на человеческое жилье. Но на что нужны амбары, рига и скотные дворы при двадцати восьми десятинах, заложенных, перезаложенных в банке? Благоразумнее было их продать и хоть некоторое время пожить на них веселее, чем обыкновенно. И Яков Петрович продал сперва ригу, потом амбары, а когда употребил на топку весь верх со скотного двора, продал и каменные стены его. И неуютно стало в Лучезаровке! Жутко было бы среди этого разоренного гнезда даже Якову Петровичу, так как от голода и холода Дарья имела обыкновение на все большие зимние праздники уезжать в село к племяннику, сапожнику, но к зиме Якова Петровича выру-

чал его другой, более верный друг.

— Селям алекюм! — раздавался старческий голос в какой-нибудь хмурый день к «девичьей» лучезаровского дома.

Как оживлялся при этом, знакомом с самой Крымской кампании, татарском приветствии Яков Петрович! У порога почтительно стоял и, улыбаясь, раскланивался маленький седой человек, уже разбитый, хилый, но всегда бодрящийся, как все бывшие дворовые люди. Это прежний денщик Якова Петровича, Ковалев. Сорок лет прошло со времени Крымской кампании, но каждый год он является перед Яковым Петровичем и приветствует его теми словами, которые напоминают им обоим Крым, охоты на фазанов, ночевки в татарских саклях...

— Алекюм селям! — весело восклицал и Яков Петрович. — Жив?

— Да ведь севастопольский герой-то, — отвечал Ковалев.

Яков Петрович с улыбкой осматривал его тулуп, крытый солдатским сукном, старенькую поддевичку, в которой Ковалев качался седеньким мальчиком, поярковые валенки,

которыми он так любил похвастать, потому что они поярковые...

— Как вас бог милует? — спрашивал Ковалев.

Яков Петрович осматривал и себя. И он все такой же: плотная фигура, седая, стриженная голова, седые усы, добродушное, беспечное лицо с маленькими глазами и «польским» бритым подбородком, эспаньолка...

— Байбак еще, — шутил в ответ Яков Петрович. — Ну, раздевайся, раздевайся! Где пропал? Удил, огородничал?

— Удил, Яков Петрович. Там посуды полой водой унесло нынешний год — и не приведи господи!

— Значит, опять в блиндажах сидел?

— В блиндажах, в блиндажах...

— А табак есть?

— Есть маленько.

— Ну, садись, давай завертывать.

— Как Софья Павловна?

— В городе. Я был у ней недавно, да удрал скоро. Тут скука смертная, а там еще хуже. Да и зятек мой любезный... Ты знаешь, какой человек! Ужаснейший холоп, интересан!

- Из хама не сделаешь пана!
- Не сделаешь, брат... Ну, да черт с ним!
- Как ваша охота?
- Да все пороху, дроби нету. На днях раз-  
жился, пошел, пришиб одного косолобого...
- Их нынешний год страсть!
- Про то и толк-то. Завтра чем свет за-  
льемся.
- Обязательно.
- Я тебе, ей-богу, от души рад!
- Ковалев усмехался.
- А шашки целы? — спрашивал он, свер-  
нув сигарку и подавая Якову Петровичу.
- Целы, целы. Вот давай обедать и сре-  
жемся!

## II

Темнеет. Наступает предпраздничный ве-  
чер. Разыгрывается на дворе метель, все боль-  
ше заносит снегом окошко, все холоднее и су-  
мрачнее становится в «девичьей». Это ста-  
ринная комнатка с низким потолком, с бре-  
венчатыми, черными от времени стенами и  
почти пустая: под окном длинная лавка, око-  
ло лавки простой деревянный стол, у стены  
комод, в верхнем ящике которого стоят тарел-

ки. Девичьей по справедливости она называлась уже давным-давно, лет сорок — пятьдесят тому назад, когда тут сидели и плели кружева дворовые девки. Теперь девичья — одна из жилых комнат самого Якова Петровича. Одна половина дома, окнами на двор, состоит из девичьей, лакейской и кабинета среди них; другая, окнами в вишневый сад, — из гостиной и залы. Но зимой лакейская, гостиная и зала не топят, и там так холодно, что насквозь промерзает и ломберный стол, и портрет Николая I. В этот непогожий предпраздничный вечер в девичьей особенно неуютно. Яков Петрович сидит на лавке и курит. Ковалев стоит у печки, склонив голову. Оба в шапках, валенках и шубах; баранье пальто Якова Петровича надето прямо на белье и подпоясано полотенцем. Смутно виден в сумраке плавающий синеватый дым махорки. Слышно, как дребезжат от ветра разбитые стекла в окнах гостиной. Мотель бушует кругом дома и чисто прорывает разговор его обитателей: все кажется, что кто-то подъехал.

— Постой! — вдруг останавливает Ковалева Яков Петрович. — Должно быть, это он.

Ковалев смолкает. И ему почудился скрип саней у крыльца, чей-то голос, невнятно доносившийся сквозь шум метели...

— Поди-ка посмотри, — должно быть, приехал.

Но Ковалеву вовсе не хочется выбежать на мороз, хотя и он с большим нетерпением ожидает возвращения Судака из села с покупками. Он прислушивается очень внимательно и решительно возражает:

— Нет, это ветер.

— Да что тебе, трудно посмотреть-то?

— Да что ж смотреть, когда никого нет?

Яков Петрович вздергивает плечами; он начинает раздражаться...

Так было все хорошо складывалось... Приезжал богатый мужик из Калиновки с просьбой написать прошение к земскому начальнику (Яков Петрович славится в околотке как сочинитель прошений) и привез за это курицу, бутылку водки и рубль денег. Правда, водка была выпита при самом сочинении и чтении прошения, курица в тот же день зарезана и съедена, но рубль остался цел, — Яков Петрович приберег его к празднику... Потом вче-

ра утром внезапно явился Ковалев и принес с собой кренделей, полтора десятка яиц, да еще и шестьдесят копеек. И старики были веселы и долго обсуждали, что купить. В конце концов, развели в чашке сажи из печки, заострили спичку и жирными, крупными буквами написали в село лавочнику: «В харчевню Николай Иванова. Отпусти 1 ф. махорки полуотборной, 1,000 спичек, 5 сельдей маринованных, 2 ф. масла конопляного, 2 осьмушки фруктового чаю, 1 ф. сахару и 1½ ф. жамок мятных».

Но Судака нет с самого утра. А это влечет за собой то, что предпраздничный вечер пройдет вовсе не так, как думалось, и, главное, придется самим идти за соломой в омет; от вчерашнего дня соломы осталось в сенцах чуть. И Яков Петрович раздражается, и все начинает рисоваться ему в мрачных красках.

Мысли и воспоминания идут в голову самые невеселые... Вот уж около полугода он не видал ни жены, ни дочери... Жить на хуторе становится с каждым днем все хуже и скучнее...

— А, да черт его побери совсем! — говорит

Яков Петрович свою любимую успокаивающую фразу.

Но сегодня она не успокаивает...

— Ну, и холода же завернули! — говорит Ковалев.

— Ужаснейший холод! — подхватывает Яков Петрович. — Ведь тут хоть волков морозь! Смотри... Хх! Пар от дыхания видно!

— Да, — продолжает Ковалев монотонно. — А ведь, помните, мы под Новый год когда-то цветочки рвали в одних мундирчиках! Под Балаклавой-то...

И опускает голову.

— А он, видимое дело, не приедет, — говорит Яков Петрович, не слушая. — Мы в дурацкой ажитации, ни больше ни меньше!

— Не ночевать же он останется в харчевне!

— А ты что думаешь? Ему очень нужно!

— Положим, здорово метет...

— Ничего там не метет. Обыкновенно, не лето...

— Да ведь трус государственный! Замерзнуть боится...

— Да как же это замерзнуть? День, дорога табельная...

— Постоите! — перебивает Ковалев. — Кажется, подъехал...

— Я говорю тебе, выйди, посмотри! Ты, ей-богу, совсем отетеревел нынче! Надо же самовар ставить и соломы надергать.

— Да ведь, конечно, надо. А то что ж там сделаешь ночью?

Ковалев соглашается, что идти за соломой необходимо, но ограничивается приготовлениями к топке: он подставляет к печке стул, взлезает на него, отворяет заслонку и вынимает вьюшки. В трубе начинает завывать на разные голоса ветер.

— Впусти хоть собаку-то! — говорит Яков Петрович.

— Какую собаку? — спрашивает Ковалев, кряхтя и слезая со стула.

— Да что ты дураком-то прикидываешься? Флембо, конечно, — слышишь, визжит.

Правда, Флембо, старая сука, жалобно повизгивает в сенцах.

— Надо бога иметь! — прибавляет Яков Петрович. — Ведь она замерзнет... А еще охотник! Лодырь ты, брат, как я погляжу! Уж правда байбак.

— Да оно и вы-то, должно быть, из той же породы, — улыбается Ковалев, отворяет дверь в сенцы и впускает в девичью Флембо.

— Затворяй, затворяй, пожалуйста! — кричит Яков Петрович. — Так и понесло по ногам холодом... Куш тут! — грозно обращается он к Флембо, указывая пальцем под лавку.

Ковалев же, прихлопывая дверь, бормочет: — Там несет — свету божьего не видно!.. А, должно быть, скоро нас потащут в Богословское! Вот-вот отец Василий припожалует за нами. Я уж вижу. Всё мы ссоримся. Это перед смертью.

— Ну, уж это обрекай себя одного, пожалуйста, — возражает Яков Петрович задумчиво.

И опять выражает свои мысли вслух:

— Нет, я уж больше не буду сидеть в этом тырле сторожем! Кажется, скоро- скоро затрещит эта проклятая Лучезаровка...

Он разворачивает кисет, насыпает сигарку махоркой и продолжает:

— Дошло до того, что завяжи глаза да беги со двора долой! А все моя доверенность дурацкая да друзья-приятели! Я всю жизнь был

честен, как булат, я никому ни в чем не отказывал... А теперь что прикажете делать? На мосту с чашкой стоять? Пулю в лоб пустить? «Жизнь игрока» разыграть? Вон у племянничка, Арсентия Михалыча, тысяча десятин, да разве у них есть догадочка помочь старику? А уж сам я по чужим людям не пойду кланяться! Я самолюбив, как порох!

И, окончательно раздраженный, Яков Петрович совсем зло прибавляет:

— Однако телиться нечего, надо за соломой отправляться!

Ковалев еще больше сгорбливается и запускает руки в рукава тулупа. Ему так холодно, что у него стынет кончик носа, но он всё еще надеется, что как-нибудь «обойдется»... может быть, Судак подъедет... Он отлично понимает, что Яков Петрович ему одному предлагает отправляться за соломой.

— Да ведь телиться! — говорит он. — Ветер-то с ног сшибает...

— Ну, барствовать теперь не приходится!

— Побарствуешь, когда поясницу не разогнешь. Не молоденькие тоже! Слава богу, двум-то нам под сто сорок будет.

— Уж, пожалуйста, не прикидывайся мерзлым бараном!

Яков Петрович тоже отлично понимает, что один Ковалев ничего не поделает в занесенном снегом омете. Но и он надеется, что как-нибудь обойдется без него...

Между тем в девичьей становится уже совсем темно, и Ковалев наконец решается посмотреть, не едет ли Судак. Шаркая разбитыми ногами, идет он к двери...

Яков Петрович пускает через усы дым, и так как ему уже очень хочется чаю, то мысли его принимают несколько иное направление.

— Гм! — бормочет он. — Как вам это покажется? Хорош праздничек! Лопать, как собаке, хочется. Ведь недалого царства нету... Прежде хоть венгерцы ездили!.. Ну, погоди же, Судак!

Двери в сенцах хлопают, вбегают Ковалев.

— Нету! — восклицает он. — Как провалился! Что ж теперь делать? В сенцах соломы чуть!

В снегу, в тяжелом тулупе, маленький и сторбленный, он так жалок и беспомощен.

Яков Петрович вдруг подымается.

— А вот я знаю, что делать! — говорит он, осененный какой-то хорошей мыслью, — наклоняется и достает из-под лавки топор.

— Эта задача очень просто разрешается, — прибавляет он, опрокидывая стул, стоящий около стола, и взмахивает топором. — Таскай пока солому-то! Черт его побери совсем, мне свое здоровье дороже стула!

Ковалев, тоже сразу оживившийся, с любопытством смотрит, как летят щепки из-под топора.

— Ведь там небось еще на потолке много? — подхватывает он.

— Валяй на чердак да самовар вытрясай!

В растворенную дверь несет холодом, пахнет снегом... Ковалев, спотыкаясь, таскает в девичью солому, ручки старых кресел с чердака...

— За милую душу истопим, — твердит он. — Крендели еще есть... Яиц бы напечь!

— Тащи их на кон. А то сидим плакучими ивами!

### III

Медленно протекает зимний вечер. Не смолкая бушует мотель за окнами...

Но теперь старики уже не прислушиваются к ее шуму. Поставили в сенцах самовар, затопили в кабинете почку и оба сели около нее на корточки.

Славно охватывает тело теплом! Иногда, когда Ковалев запихивал в печку большую охапку соломы, глаза Флембо, которая тоже пришла погреться к двери кабинета, как два изумрудные камня, сверкали в темноте. А в печке глухо гудело; просвечивая то тут, то там сквозь солому и бросая на потолок кабинета мутно-красные, дрожащие полосы света, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя к устью, прыскали, с треском лопаясь, хлебные зерна... Мало-помалу озарялась вся комната. Пламя совсем овладевало соломой, и когда от нее оставалась только дрожащая груда «жара», словно раскаленных, золотисто-огненных проволок, когда эта груда опадала, блекла, Яков Петрович скидывал с себя пальто, садился задом к печке и поднимал на спине рубаху.

— Аа-аа, — говорил он. — Славно спину-то нажарить! И когда его толстая спина становилась багровой, отскакивал от печки и наки-

дывал тулуп.

— Вот так пробрало! А то ведь беда без бани... Ну да уж нынешний год обязательно поставлю!

Это «обязательно» Ковалев слышит каждый год, но каждый год с восторгом принимает мысль о бане.

— Добро милое! Беда без бани, — соглашается он, нагревая у печки и свою худощавую спину.

Когда дрова и солома прогорели, Ковалев поджаривал в печке крендели, отклоняя от жары пылающее лицо. В темноте, озаренный красноватым жерлом печки, он казался бронзовым. Яков Петрович хлопотал около самовара. Вот он налил себе в кружку чаю, поставил ее около себя на лежанке, закурил и, немного помолчав, вдруг спросил:

— А что-то теперь подельывает премилая сова?

Какая сова? Ковалев хорошо знает, какая сова! Лет двадцать пять тому назад он подстрелил сову и где-то на ночлеге сказал эту фразу, но фраза эта почему-то не забылась и, как десятки других, повторяется Яковом Пет-

ровичем. Сама по себе она, конечно, не имеет смысла, но от долгого употребления стала смешной и, как другие, подобные ей, влечет за собой много воспоминаний.

Очевидно, Яков Петрович совсем повеселел и приступает к мирным разговорам о былом. И Ковалев слушает с задумчивой улыбкой.

— А помните, Яков Петрович? — начинает он...

Медленно протекает вечер, тепло и светло в маленьком кабинете. Все в нем так просто, незатейливо, по-старинному, желтенькие обои на стенках, украшенных выцветшими фотографиями, вышитыми шерстью картинами (собака, швейцарский вид), низкий потолок оклеен «Сыном отечества»; перед окном дубовый письменный стол и старое, высокое и глубокое кресло; у стены большая кровать красного дерева с ящичками, над кроватью рог, ружье, пороховница; в углу образничка с темными иконами... И все это родное, давным-давно знакомое!

Старики сыты и согрелись. Яков Петрович сидит в валенках и в одном белье, Ковалев —

в валенках и поддевочке. Долго играли в шашки, долго занимались своим любимым делом — осматривали одежду — нельзя ли как-нибудь вывернуть? — искроили на шапку старую «тужурку»; долго стояли у стола, мерили, чертили мелом...

Настроение у Якова Петровича самое благодушное. Только в глубине души шевелится какое-то грустное чувство. Завтра праздник, он один... Спасибо Ковалеву, хоть он не забыл!

— Ну, — говорит Яков Петрович, — возьми эту шапку себе.

— А вы-то как же? — спрашивает Ковалев.

— У меня есть.

— Да ведь одна вязаная?

— Так что ж? Бесподобная шапка!

— Ну, покорнейше благодарим.

У Якова Петровича страсть делать подарки. Да и не хочется ему шить...

— Который-то теперь час? — размышляет он вслух.

— Теперь? — спрашивал Ковалев. — Теперь десять. Верно, как в аптеке. Я уж знаю. Бывало, в Петербурге, по двое серебряных ча-

сов нашивал...

— Да и брешешь же ты, брат! — замечает Яков Петрович ласково.

— Да нет, вы позвольте, не фрапируйте сразу-то!

Яков Петрович рассеянно улыбается.

— То-то, должно быть, в городе-то теперь! — говорит он, усаживаясь на лежанку с гитарой. — Оживление, блеск, суета! Везде собрания, маскарады!

И начинаются воспоминания о клубах, о том, сколько когда выиграл и проиграл Яков Петрович, как иногда Ковалев вовремя уговаривал его уехать из клуба. Идет оживленный разговор о прежнем благосостоянии Якова Петровича. Он говорит:

— Да, я много наделал ошибок в своей жизни. Мне не на кого пенять. А судить меня будет уж, видно, бог, а не Глафира Яковлевна и не зятек миленький. Что ж, я бы рубашку им отдал, да у меня и рубашек-то нету... Вот я ни на кого никогда не имел злобы... Ну, да все прошло, пролетело... Сколько было родных, знакомых, сколько друзей-приятелей — и все это в могиле!

Лицо Якова Петровича задумчиво. Он играет на гитаре и поет старинный печальный романс.

*Что ты замолк и силичишь одиноко? —*

поет он в раздумье.

*Дума лежит на угрюмом челе...  
Иль ты не видишь бокал на столе?*

И повторяет с особенной задушевностью:

*Иль ты не видишь бокал на столе?*

Медленно вступает Ковалев.

*Долго на свете не знал я приюту, —*

разбитым голосом затягивает он, сторбившись в старом кресле и глядя в одну точку перед собою.

*Долго на свете не знал я приюту, —*

вторит Яков Петрович под гитару:

*Долго носила земля сироту,*

*Долго имел я в душе пустоту...*

Ветер бушует и рвет крышу. Шум у крыльца... Эх, если бы хоть кто-нибудь приехал! Даже старый друг, Софья Павловна, забыла...

И, покачивая головой, Яков Петрович продолжает:

*Раз в незабвенную жизни минуту,  
Раз я увидел созданье одно,  
В коем все сердце мое вмещено...  
В коем все сердце мое вмещено...*

Все прошло, пролетело... Грустные думы клонят голову... Но печальной удалью звучит песня:

*Что ж ты замолк и сидишь одиноко?  
Стукнем бокал о бокал и запьем  
Грустную думу веселым вином!*

— Не приехала бы барыня, — говорит Яков Петрович, дергая струны гитары и кладя ее на лежанку. И старается не глядеть на Ковалева.

— Кого! — отзывался Ковалев. — Очень просто.

— Избавь бог плутает... В рог бы потрубить... на всякий случай... Может быть, Судак

едет. Ведь замерзнуть-то недолго. По человечеству надо судить...

Через минуту старики стоят на крыльце. Ветер рвет с них одежду. Дико и гулко заливаются старый звонкий рог на разные голоса. Ветер подхватывает звуки и несет в непроглядную степь, в темноту бурной ночи.

— Гоп-гоп! — кричит Яков Петрович.

— Гоп-гоп! — вторит Ковалев.

И долго потом, настроенные на героический лад, не унимаются старики. Только и слышится:

— Понимаешь? Они тысячами с болота на овсяное поле! Шапки сбивают!.. Да все матерые, кряковые! Как ни дам — просто каши наварю!

Или:

— Вот, понимаешь, я и стал за сосной. А ночь месячная — хоть деньги считай! И вдруг прет... Лобище вот этакий... Как я его брызну!

Потом идут случаи замерзания, неожиданного спасения... Потом восхваление Лучезаровки.

— До смерти не расстанусь! — говорит Яков Петрович. — Я все-таки тут сам себе го-

лова. Имение, надо правду сказать, золотое дно. Если бы немножко мне перевернуться! Сейчас все двадцать восемь десятин — картофелем, банк — долой, и опять я кум королю!

#### IV

Всю долгую ночь бушевала в темных полях вьюга.

Старикам казалось, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится им. Ковалев глухо кашляет, с головой закрытый тулупом; Яков Петрович ворочается и отдувается; ему жарко. Да и слишком уж грозно буря потрясает стены, слепит и засыпает снегом окна! Слишком неприятно дребезжат разбитые стекла в гостиной! Жестко там теперь, в этой холодной, необитаемой гостиной! Она пустая, мрачная, — потолки в ней низки, амбразуры маленьких окон глубоки. Ночь же такая темная! Смутно отсвечивают свинцовым блеском стекла. Если даже прильнешь к ним, то разве едва-едва различишь забитый, занесенный сугробами сад... А дальше мрак и метель, метель...

И старики сквозь сон чувствуют, как одинок и беспомощен их хуторок в этом бушующем

щем море степных снегов.

— Ах ты, господи, господи! — слышится порою бормотанье Ковалева.

Но опять странной дремотой обвеваает его шум метели. Он кашляет все тише и реже, медленно задремывает, словно погружается в какое-то бесконечное пространство... И опять чувствует сквозь сон что-то зловещее... Он слышит...

Да, шаги! Тяжелые шаги наверху где-то... По потолку кто-то ходит... Ковалев быстро приходит в сознание, но тяжелые шаги ясно слышны и теперь... Скрипит матица...

— Яков Петрович! — говорит он. — Яков Петрович!

— А? Что? — спрашивает Яков Петрович.

— А ведь по потолку-то кто-то ходит.

— Кто ходит?

— А вы послушайте-ка!

Яков Петрович слушает: ходит!

— Да нет, это всегда так, — ветер, — говорит он наконец, зевая. — Да и трус же ты, брат! Давай-ка лучше спать.

И правда, сколько уже было толков про эти шаги на потолке. Каждую непогожую

ночь!

Но все-таки Ковалев, задремывая, шепчет с глубоким чувством:

— Живый в помощи вышняго, в крове бога небеснаго... Не убоишия от страха нощнаго, от стрелы, летящия в дни... На аспида и василиска наступиши и попрещи льва и змия...

И Якова Петровича что-то беспокоит во сне. Под шум метели мерещится ему то гул векового бора, то звон отдаленного колокола; слышится невнятный лай собак где-то в степи, крик работника Судака... Вот шуршат у крыльца сани, скрипят чьи-то лапти по мерзлomu снегу в сенцах... И сердце Якова Петровича сжимается от боли и ожидания: это его сани, а в санях — Софья Павловна, Глаша... подъезжают они медленно, забитые снегом, еле видные в темноте бурной ночи... едут, едут, по почему-то мимо дома, все дальше, дальше... Их увлекает метель, засыпает их снегом, и Яков Петрович торопливо ищет рог, хочет трубить, звать их...

— Черт знает что такое! — бормочет он, очнувшись и отдуваясь.

— Что это вы, Яков Петрович?

— Не спится, брат! А ночь давно, должно быть!

— Да, давненько!

— Зажигай-ка свечку-то да закуривай!

Кабинет озаряется. Щурясь от свечки, пламя которой колеблется перед заспанными глазами, как лучистая, мутно-красная звезда, старики сидят, курят, с наслаждением чешутся и отдыхают от сновидений... Хорошо проснуться в долгую зимнюю ночь в теплой, родной комнате, покурить, поговорить, разогнать жуткие ощущения веселым огоньком!

— А я, — говорит Яков Петрович, сладко зевая, — а я сейчас вижу во сне, как ты думаешь, что?.. Ведь приснится же!.. Будто я в гостях у турецкого султана!

Ковалев сидит на полу, сгорбившись (какой он старенький и маленький без поддевички и со сна!), в раздумье отвечает:

— Нет, это что — у турецкого султана! Вот я сейчас видел... Верите ли? Один за одним, один за одним... с рожками, в пиджачках... мал мала меньше... Да ведь какого транташа около меня разделявают!

Оба врут. Они видели эти сны, даже не раз

видели, но совсем не в эту ночь, и слишком часто рассказывают их они друг другу, так что давно друг другу не верят. И все-таки рассказывают. И, наговорившись, в том же благодушном настроении, тушат свечу, укладываются, одеваются потеплей, надвигают на лоб шапки и засыпают сном праведника...

Медленно наступает день. Темно, угрюмо, буря не унимается. Сугробы под окнами почти прилегают к стеклам и возвышаются до самой крыши. От этого в кабинете стоит какой-то странный, бледный сумрак...

Вдруг с шумом летят кирпичи с крыши. Ветер повалил трубу...

Это плохой знак: скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лулезаровки!

1895

# Святые Горы

## I

Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых Горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи.

Ранним утром великой субботы я был уже под Славянском. Но до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители.

Предо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просушивал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. Но за мной, на западе, картинно рисовалась на горизонте гряда мелких гор. Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро чернью, она тонула в утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу, охлаждал лицо, рукава, степь увлекала, завладевала душой, наполняла ее чувством радости, свежести.

За курганом блеснула круглая ложбина,

налитая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских болотцах; над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголевато и легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плутом. Он расплылся на два холма и, словно поблекшей скатертью из мутно-зеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах — жалкие остатки ковыля. «Время его, подумал я, — навсегда проходит; в вековом забвении он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние стоны и прежних людей, души которых были роднее и ближе; ему, лучше нас умели понимать его шепот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящей без слов о ничтожестве земного существования».

Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полей уже тянуло теплом. Облака светлели, тая-

ли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенном парами и светом, заливались над степью безотчетно-радостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя бесконечно счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом», — это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря, — может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустыли его разбитые стены! Сколько претерпел он, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей!

Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение волов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ярмом, медленно тащились по дороге, разогнали мои думы. Я зашагал еще поспешнее.

Полоса леса серовато чернела вдали. Я не

сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени.

Скоро, однако, в пролете лесной дороги снова проглянула просторная, вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной. Монастыря же все не было.

Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую, свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.

— Тату! — сказала она мужику, обращая его внимание на меня.

Он остановился.

— Эта дорога на Святые Горы? — спросил я.

— А куды вам треба?

— В монастырь.

— Якій монастырь?

— Да вы разве никогда не были на Святых  
Горах?

— В якономії?

— Да не в экономии, а в самом монастыре,  
в церкви.

— У церкві? Та у нас своя церква на селі.

— А в монастыре?

— Та був, ще хлопцем. Тоді чума на скот  
була, так казали, що там пробував такий мо-  
нах, що знав замовляти. От і ходили усі, у кого  
скотина боліла; звісно, молебствіе служили і  
в село привозили того інока. Ну, походив він  
по дворах, покропив водою, а про те нічого не  
помоглось.

— Так это дорога туда?

— Эге ж...

И хохол, даже не взглянув на меня, снова  
спокойно пошел за плугом.

Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в  
пыльных, горячих сапогах. И я принялся счи-  
тать шаги, и занятие это так увлекло меня,

что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец.

Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой, — Донец был в разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно... Потом я обгонял идущий на богомолье народ — женщин, подростков, дряхлых калек с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому... Откуда она и что она значит?

Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего

хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.

Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотистые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы — все скученное, картинно сокращенное отдалением, — и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним...

## II

Донец под Святыми Горами быстр и узок.

Правый берег его возвышается почти отвесной стеной и тоже щетинится лесной чащей. Под ним-то и стоит белокаменная обитель с величавым, грубо раскрашенным собором посреди двора. Выше, на полуторе, белея в зелени леса, висят два меловых конуса, два серых утеса, за которыми ютится старинная церковка. А еще выше, уже на самом перевале, рисуется в небе другая.

С юга надвигалась туча, но весенний вечер был еще ясен и тепел. Солнце медленно уходило за горы; широкая тень стлалась по Донцу от них. По каменному двору обители, мимо собора, я пошел к крытым галереям, что ведут в гору. В этот час пусто было в их бесконечных переходах. И чем выше подымался я, тем все более веяло на меня суровой монастырской жизнью — от этих картинок, изображающих скиты и кельи отшельников с гробами вместо ночных лож, от этих печатных поучений, развешанных на стенах, даже от каждой стертой и ветхой ступеньки. В полусумраке этих переходов чудились тени отошедших от мира сего иноков, строгих и молчаливых схимников...

Меня тянуло туда, к меловым серым конусам, к месту той пещеры, где в трудах и молитве, простой и возвышенный духом, проводил свои дни первый человек этих гор, та великая душа, которая полюбила горный гребет над Малым Танаисом. Дико и глухо было тогда в первобытных лесах, куда пришел святой человек. Лес бесконечно синел под ним. Лес глушил берега, и только река, одинокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами под его навесом. И какая тишина царила кругом! Резкий крик птицы, треск сучьев под ногами дикой козы, хриплый хохот кукушки и сумеречное уханье филина — все гулко отдавалось в лесах. Ночью величавый мрак простирался над ними. По шороху и плеску воды угадывал инок, что вплавь переходят Донец люди. Молчаливо, как рать дьяволов, перебирались они через реку, шуршали по кустам и исчезали во мраке. Жутко тогда было в горной норе одинокому человеку, но до рассвета мерцала его свечка и до рассвета звучали его молитвы. А утром, изнуренный ночными ужасами и бдением, но с светлым лицом, выходил он на бо-

жий день, на дневную работу, и опять коротко и тихо было в его сердце...

Глубоко внизу подо мною все тонуло в теплых сумерках, мелькали огни. Там уже началась сдержанно радостная тревога приготовлений к светлой заутрене. А здесь, за меловыми утесами, было тихо и еще брезжил свет зари. Птицы, живущие в трещинах скал и под карнизами церковки, реяли вокруг, визжа, как старый флюгер, и всплывали снизу и неслышно падали вниз, в сумрак, на своих мягких крыльях. Туча с юга заволокла все небо, вея теплотой дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась от вспышек молний. Сосны горного обрыва сливались в темную опушку и чернели, как горб спящего зверя...

Я успел сходить и на вершину горы, в верхнюю церковку, нарушил шагами ее гробовую тишину. Монах, как привидение, стоял за ящичком со свечами. Два-три огонька чуть потрескивали... Поставил и я свою свечу за того, кто, слабый и преклонный летами, падал ниц в этом маленьком храме в те давние грозные ночи, когда костры осады пылали под стенами обители...

Утро было праздничное, жаркое; радостно, наперебой трезвонили над Донцом, над зелеными горами колокола, уносились туда, где в ясном воздухе стремилась к небу белая церковка на горном перевале. Говор гулом стоял над рекой, а на баркасе прибывало по ней в монастырь все больше и больше народу, все гуще пестрели праздничные малороссийские наряды. Я нанял лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее против течения по прозрачной воде: Донца, в тени береговой зелени. И девичье личико, и солнце, и тени, и быстрая речка — все было так прелестно в это милое утро...

Я побывал в скиту — там было тихо, и бледная зелень березок слабо шепталась, как на кладбище, — и стал взбираться в гору.

Взбираться было трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломе и мягкой прелой листве, гадюки то и дело быстро и упруго выскальзывали из-под ног. Зной, полный тяжелого смолистого аромата, неподвижно стоял под навесами сосен. Зато какая даль открылась подо мною, как хороша была с этой высоты

долина, темный бархат ее лесов, как сверкали разливы Донца в солнечном блеске, какую горячею жизнью юга дышало все крутом! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!

А в сумерках я уже опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо с молчаливых курганов. И, отдыхая на них, один-одинешенек среди ровных бесконечных полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный шелест седого ковыля...

1895

# На даче

## I

Окна в сад были открыты всю ночь. А деревья раскидывались густой листвой возле самых окон, и на заре, когда в саду стало светло, птицы так чисто и звонко щебетали в кустах, что отдавалось в комнатах. Но еще воздух и молодая майская зелень в росе были холодны и матовы, а спальни дышали сном, теплом и покоем.

Дом не походил на дачный; это был обыкновенный деревенский дом, небольшой, но удобный и покойный. Петр Алексеевич Примо, архитектор, занимал его уже пятое лето. Сам он больше бывал в разъездах или в городе. На даче жила его жена, Наталья Борисовна, и младший сын, Гриша. Старший, Игнатий, только что кончивший курс в университете, так же, как и отец, появлялся на даче го-стем: он уже служил.

В четыре часа в столовую вошла горничная. Сладко зевая, она переставляла мебель и шаркала половой щеткой. Потом она прошла через гостиную в комнату Гриши и поставила

у кровати большие штиблеты на широкой подошве без каблука. Гриша открыл глаза.

— Гарпина! — сказал он баритоном. Гарпина остановилась в дверях.

— Чого? — спросила она шепотом.

— Поди сюда.

Гарпина покачала головой и вышла.

— Гарпина! — повторил Гриша.

— Та чого вам?

— Поди сюда... на минутку.

— Не піду, хоч заріжте!

Гриша подумал и крепко потянулся.

— Ну, пошла вон!

— Бариня загадали вчера спитать вас, чи поїдете у город?

— А дальше?

— Казали, щоб не їздили, бо барин сьогодні прїдуть.

Гриша, не отвечая, одевался.

— Повотенце? — спросил он громко.

— Та на столі — он! Не збудіть бариню...

Заспанный, свежий и здоровый, в сером шелковом картузе, в широком костюме из легкой материи, Гриша вышел в гостиную, перекинул через плечо мохнатое полотенце,

захватив стоявший в углу крокетный молоток, и, пройдя переднюю, отворил дверь на улицу, на пыльную дорогу.

Дачи в садах тянулись и направо и налево в одну линию. С горы открывался обширный вид на восток, на живописную низменность. Теперь все сверкало чистыми, яркими красками раннего утра. Синеватые леса темнели по долине; светлой, местами алой сталью блестя река в камышах и высокой луговой зелени; кое-где с зеркальной воды снимались и таяли полосы серебряного пара. А вдали широко и ясно разливался по небу оранжевый свет зари: солнце приближалось...

Легко и сильно шагая, Гриша спустился с горы и дошел по мокрой, глянцевитой и резко пахнувшей сыростью траве до купальни. Там, в дощатом номере, странно озаренном матовым отсветом воды, он разделся и долго разглядывал свое стройное тело и гордо ставил свою красивую голову, чтобы походить на статуи римских юношей. Потом, слегка прищуривая серые глаза и посвистывая, вошел в свежую воду, выплыл из купальни и сильно взмахнул руками, увидав, что на гори-

зонте чуть-чуть показавшееся солнце задрожало тонкой огнистой полоской. Белые гуси с металлически-звонкими криками, распутив крылья и шумно бороздя воду, тяжело шарханулись в тростники. Широкие круги, плавно перекачиваясь, закачались и пошли к реке...

— Григорий Петрович! — крикнул чей-то голос с берега.

Гриша перевернулся и увидал на берегу высокого мужика с русой бородою, с открытым лицом и ясным взглядом больших голубых глаз на выкате. Это был Каменский, «толстовец», как его называли на дачах.

— Вы придете сегодня? — крикнул Каменский, снимая картуз и вытирая лоб рукавом замашкой рубахи.

— Здравствуйте!.. Приду, — отозвался Гриша. — А вы куда, если не секрет?

Каменский с улыбкой взглянул исподлобья.

— Ведь вот люди! — сказал он важно и ласково. — Всё у них секреты!

Гриша подплыл к берегу и, стоя и качаясь по горло в воде, пробормотал:

— Ну, если хотите, не секрет... Я просто по-

любопытствовал, почему вы меня спросили?

— А мне нужно побывать у знакомых.

— Да, так вы в город едете!

— Разве в город только ездят? — снова перебил Каменский. — И разве знакомые бывают только в городе?

— Конечно, нет. Только я не понимаю...

— Вот это верно. Я сказал, что буду и в городе и у знакомых — вот тут недалеко — на огородах.

— Так, значит, попоздней прийти?

— Да, попоздней.

— Тогда до свидания! — крикнул Гриша и подумал: «Правду говорит Игнатий — психопаты!» Но, отплывши, он опять обернулся и пристально посмотрел на высокую фигуру в мужицкой одежде, уходившую по тропинке вдоль реки.

На реке еще было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе

с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. А из купальни слышались крики, плеск и хохот. По гнущимся доскам бежали с берега, стуча сапогами, гимназисты, студенты в белых кителях, чиновники в парусинных рубашках...

Грише не хотелось возвращаться туда, и он стал нырять, раскрывать глаза в темно-зеленой воде, и его тело казалось ему чужим и странным, словно он глядел сквозь стекло. Караси и гольцы с удивленными глазками останавливались против него и вдруг таинственно юркали куда-то в темную и холодную глубину. Вода мягко, упруго сжимала и качала тело, и приятно было чувствовать под ногами жесткий песок и раковины... А наверху уже припекало. Теплая, неподвижная вода блестела кругом, как зеркало. С зеленых прибрежных лозин в серых сережках тихо плыл белый пух и тянуло запахом тины и рыбы.

## II

Ровно час после купанья Гриша посвятил гимнастике. Сперва он подтягивался по канату и висел на трапеции в саду, потом в своей комнате становился в львиные позы, играя

двухпудовыми гирями.

Со двора звонко и весело раздавалось ку-дахтанье кур. В доме еще стояла тишина светлого летнего утра. Гостиная соединялась со столовой аркой, а к столовой примыкала еще небольшая комната, вся наполненная пальмами и олеандрами в кадках и ярко озаренная янтарным солнечным светом. Канарейка возилась там в покачивающейся клетке, и слышно было, как иногда сыпались, четко падали на пол зерна семени. В большом трюмо, перед которым Гриша ворочал тяжестими, вся эта комната отражалась в усиленно-золотистом освещении с неестественно прозрачной зеленью широкой цветочной листвы.

Когда же Гриша вышел на балкон, сел за накрытый стол и, покачиваясь на передних ножках стула, стал, слегка расширяя ноздри, медленно пить молоко, в тишине дома раздался томный голос Натальи Борисовны:

— Гарпина!

«Какая скука! — подумал Гриша. — Каждый день начинается одним и тем же воззванием!»

— Гарпина! — повторила Наталья Борисов-

на нетерпеливее. — Гри-иша!

Гриша лениво поднялся с места.

— Ну, что тебе? — сказал он, входя в спальню.

Наталья Борисовна, полная женщина лет сорока, сидела на постели и, подняв руки, подкалывала темные густые волосы. Увидав сына, она недовольно повела плечом.

— Ах, какой ты, брат, невежа! — сказала она, смягчая слова улыбкой.

Гриша молча ждал. В комнате с опущенными шторами стоял пахучий полусумрак. На ночном столике возле свечки тикали часики и лежала развернутая книжка «Вестника Европы».

— Да как же, право! — добавила Наталья Борисовна еще ласковее. — Зову, зову!..

И она попросила достать из столика деньги, посмотреть, где записка — что взять в библиотеке, собрать журналы и позвать Гарпину.

— Гарпина сейчас едет в город, — сказала она, — не нужно ли тебе чего?... Нынче придет отец и, вероятно, с ним Игнатий.

— Будь добра, поскорее! — перебил Гриша. — Ты ведь знаешь, что сейчас я должен

идти к Каменскому.

— Ну, ты невозможен, наконец! — воскликнула Наталья Борисовна. — Я же тебе и хотела про это сказать... Ты, например, даже ничего не сообщил мне о нем...

— Ты сама его видела.

— Что же я могла видеть в десять минут, когда человек брал заказ? Кроме как о шкапе, мы двух слов не сказали.

— Но ведь и я хожу к нему только третий день.

— Но все-таки?

— Обыкновенный толстовец.

— Ну, словом, позови его, пожалуйста, к нам сегодня вечером. Ты знаешь, это будет интересно Игнатию. Только позови, голубчик, как-нибудь потоньше, а то ведь откажется!

Гриша кивнул головой и вышел.

### III

«Опять день, опять долгий день!» — шевельнулось в глубине души Натальи Борисовны, когда она, после чая и переговоров с кухаркой, взяла зонтик, книжку журнала и, покачиваясь, слегка щурясь от яркого утреннего света и придерживая левой рукой подол ши-

рокого чесучового платья, медленно сошла с балкона и направилась в общий дачный парк по своему саду, где, в солнечном блеске, на яблонях в белых нарядных цветах, гудели пчелы, а в чащах журчали горлинки.

«Как трогательно!» — подумала она с ленивой улыбкой, отворив калитку и увидав невдалеке профессора Камарницкого под руку с женою. И тотчас же ласково крикнула им слабым голосом:

— Откуда бог несет?

Профессор, грубоватый на вид, рыжий и курносый, двигался не спеша, и его толстые очки блестели очень строго; в петличке у него краснел цветок, в руках была корзина. Профессорша, маленькая еврейка, похожая на гитару, преклоняла свою черную головку к его плечу.

— Здрасьте! — сказала она небрежно, сквозь зубы. Как всегда, в ее меланхолических глазах и во всем птичьем личике было что-то надменное и брезгливое: никто не должен был забывать, что профессорша — марксистка, жила в Париже, была знакома с знаменитыми эмигрантами.

— Что это вы так рано? — спросила Наталья Борисовна.

— По грибы, — ответила профессорша, а профессор, сияясь улыбнуться, прибавил:

— Дачей нужно пользоваться.

«Какие скучные! — подумала Наталья Борисовна, глядя им вслед. — Ах, какие скучные!» — повторила она, выходя в парк.

На обширной поляне парка стояли одни темно-зеленые, широковетвистые дубы. Тут обыкновенно собирались дачники. Теперь большинство их, чиновники, шли по дороге, пролегающей между дубами, к железнодорожной станции. Барышни в пестрых легких платьях и мужчины в чесуче, в мягкой обуви, проходили мимо Натальи Борисовны и углублялись по узкой дороге в лес, где от листвы орешника стоял зеленоватый полусвет, сверкали в тени золотые лучи, а воздух был еще легкий и чистый, напоенный резким запахом грибов и молодой лесной поросли.

И Наталья Борисовна снова почувствовала себя хорошо и покойно на этой дачной поляне, раскланиваясь с знакомыми и сядя на скамейку под свой любимый дуб. Она откину-

лась на ее спинку, развернула книгу и, еще раз оправив складки платья, принялась за чтение. Иногда она тихо подымала голову, улыбалась и переговаривалась с дачницами, расположившимися под другими дубами, и опять не спеша опускала глаза на статью по переселенческому вопросу.

А поляна оживлялась. Подходили дамы и барышни с работой и книгами, няньки и важные кормилицы в сарафанах и кокошниках. Изредка, но все-таки без надобности щелкая, прокатывались велосипедисты в своих детских костюмах. Худые проносились с форсированной быстротой, согнувшись и работая ногами, как водяные пауки. Коренастые, у которых узкий костюм плотно обтягивал широкие зады, ехали тише, уверенно и весело оглядываясь. Блестящие спицы велосипедов трепетали на солнце частыми золотыми лучами. А дети взапуски бегали, звонко перекликались и прятались друг от друга за дубами.

— Жарко! — сказала Наталья Борисовна, прищуриваясь, опуская на колени книгу и обращаясь к молоденькой женщине, сидевшей невдалеке с вязаньем в руках.

— Жарко! — согласилась та, сдувая со щеки длинный волос.

Золотистый, чуть заметный туман стоял вдали в знойном воздухе. На местах солнечных золотисто-зеленые мухи словно прилипали к дорожкам и деревьям. Вверху, над вершинами дубов, где ровно синела глубина неба, собирались облака с причудливо округляющимися краями. Веселый и томный голос иволги мягкими переливами звучал в чаще леса.

## IV

Гриша шел к Каменскому, сбивая молотком цветы по дороге.

Каменский занимался столярной работой, и Гриша брал у него уроки. Ему давно хотелось узнать какое-нибудь ремесло и потому, что это полезно для здоровья, и потому, что когда-нибудь будет приятно показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу. По дороге он, между прочим, думал, что, выучившись, он сам сделает себе идеальные шары и молотки для крокета, да, пожалуй, и всю мебель для своей комнаты... простую, удобную и оригинальную. Занимало

и то, что теперь он может похвалиться, что знает «живого толстовца».

В доме отца Гриша с детства видел самых разнохарактерных людей: тузов разных служб и профессий, имеющих всегда такой вид, словно они только что плотно пообедали, богатых толстых евреев, которые важно, по-гусиному, переваливались на ходу, известных докторов и адвокатов, профессоров и бывших радикалов. И отец называл за глаза тузов мошенниками, евреев — «жидовскими мордами», остальных — болтунами, ничтожеством. Когда Гриша только что начал читать серьезные книги, знакомиться с студентами, ему часто приходилось удивляться: вдруг оказывалось, что какой-нибудь писатель или знаменитый профессор, который представлялся человеком необыкновенным, — ни больше ни меньше, как «идиот», «посредственность», вся известность которой основывается на энциклопедических иностранных словарях да на приятельстве с людьми влиятельными. И говорил это не кто-нибудь иной, а сам Петр Алексеич, которому было достаточно рассказать в шутовском тоне, что та-

кая-то знаменитость затыкает уши ватой, любит чернослив и, как огня, боится жены, чтобы авторитет этой знаменитости навсегда померк в глазах Гриши. Такие же новости привозил из столицы и Игнатий, а он, как человек крайне нервный, был еще более резок в мнениях.

— Что ж, и терпентин на что-нибудь полезен, — сказал он однажды словами Пруткова, когда зашел разговор о толстовцах и о толстовском учении — этой «доморощенной философии самоучки с недисциплинированной головой». И Гриша, робея Каменского, усвоил себе манеру насмешливо щуриться, думая о нем.

Жил Каменский на мельнице, в версте от деревни. Мельница стояла на зеленом выгоне, к югу от дачных садов, там, где местность еще более возвышалась над долиной. Хозяин почему-то забросил ее: маленькое поместье с высоким тополем над соломенной крышей избушки, с бурьяном на огороде медленно приходило в запустение. Внизу, в широкой долине, темным бархатом синели и, сливаясь, округлялись вершины лесов. Мельница, как

объятья, простирала над долиной свои изломанные крылья дикого цвета. Она, казалось, все глядела туда, где горизонт терялся в меланхолической дымке, а хлеба со степи все ближе и ближе подступали к ней; двор зарос высокой травой; старые серые жернова, как могильные камни, уходили в землю и скрывались в глухой крапиве; голуби покинули крыши. Одни кузнечики таинственно шептались в знойные летние дни у порога избушки, мирно дремлющей на солнце.

— Вот и келья под елью! — усмехнулся Гриша, взглянув на мельницу в первое утро. Он уже представлял себе, как Каменский начнет поучать его, спасать его душу, и заранее вооружился враждебной холодностью. Однако Каменский только показал ему, как надо распиливать доски; и это даже обидело Гришу: «Не хочет снизойти до меня», — думал он, искоса поглядывая на работающего учителя и стараясь подавить в себе чувство невольного почтения к нему.

Сегодня он подходил к этой келье в девятом часу. Обыкновенно Каменский в это время работал. Но теперь в сенцах, где стоял вер-

стак, никого не было.

— Алексей Александрович! — окликнул Гриша и, не получив ответа, пошел к мельнице: там вчера Каменский распиливал большие доски. Но и в мельнице было пусто. Только воробьи стайей снялись с пола, да ласка таинственно, как змейка, шмыгнула по стояку в развалившийся мучной ларь.

«Значит, у огородника загостился», — подумал Гриша, возвращаясь в избу.

В сенцах, обращенных дверями к северу, было прохладно от глиняного пола; в сумраке стоял уксусный запах стружек и столярного клея. Грише нравился этот запах, и он долго сидел на пороге, помахивая на себя картузом и глядя в поле, где дрожало и убегало дрожащими волнами марево жаркого майского дня. Дачные сады казались в нем мутными, серыми набросками на стекле. Грачи, как всегда в жару, кричали где-то в степи тонкими томными голосами. А на дворе мельницы не было ни малейшего дуновения ветерка, на глазах сохла трава... Разгоняя дремоту, Гриша поднялся с порога.

Близ порога валялся топор. На верстаке,

среди инструментов, в белой пыли пиленого дерева, лежали две обгорелые печеные картошки и книга в покоробленном переплете. Гриша развернул ее: Евангелие. На заглавном листе его было написано: «Боже мой! Я стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, ибо беззакония наши стали выше головы и вина наша возросла до небес...»

— Что это такое? — пробормотал Гриша, чувствуя, как что-то новое, возвышенное коснулось его души.

— Странный человек! — прибавил он в раздумье и снова развернул Евангелие. В середине его были письма («Дорогие братья во Христе Алексей Александрович и Павел Федорыч...» — начиналось одно из них), бумажки с выписками... На одной было начало стихотворения:

*Долго я Бога искал в городах и селениях шумных,  
Долго на небо глядел — не увижу  
ли Бога...*

На другой опять тексты:

«Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности...»

Ласточка с щебетаньем влетела в сенцы и опять унеслась стрелою на воздух. Гриша вздрогнул и долго следил за ней в небе. Вспомнилось нынешнее утро, купальня, балкон, теплица — и все это вдруг показалось чужим и далеким... Он постоял перед дверью в избу, тихо отворил ее.

В передней узкой комнате загудели мухи; воздух в ней был душный, обстановка мрачная, почти нищенская: почерневшие бревенчатые стены, развалившаяся кирпичная печка, маленькое, тусклое окошечко. Постель была сделана из обрубков полен и досок, прикрытых только попоной; в головах лежал свернутый полушубок, а вместо одеяла — старое драповое пальто. На столе, среди истрепанных книг, валялись странные для этой обстановки предметы — бронзовый позеленевший подсвечник, большой нож из слоновой кости, головная щетка и фотографический портрет молодой женщины с худощавым грустным лицом. Из деликатности Гриша отвел глаза от стола — и сердце его сжалось при взгляде на эти старые, засиженные мухами, уже давно не бывшие в употреблении вещи и

на этот портрет.

Зачем это самоистязание? Он смотрел на бревенчатые стены, на нищенское ложе, стараясь понять душу того странного человека, который одиноко спал на нем. Были, значит, и у него другие дни, был и он когда-то другим человеком... Что же заставило его надеть мужицкие вериги?

— Странный человек! — повторил Гриша, хмурясь на темную фототипию, висевшую над кроватью, — снимок с картины знаменитого художника. Это было жестокое изображение крестной смерти, написанное резко, с болью сердца, почти с озлоблением. Все, что вынесло человеческое тело, пригвожденное по рукам и ногам к грубому тяжелому кресту, было передано в лице почившего Христа, исхудалого, измученного допросами, пытками и страданием медленной кончины. И тяжело было глядеть на стриженую, уродливую голову привязанного к другому кресту и порывающегося вперед разбойника, на его лицо с безумными глазами и раскрытым ртом, испустившим дикий крик ужаса и изумления перед смертью того, кто назвал себя Сыном Бо-

жиим... Морщась, Гриша отворил дверь в другую комнату.

Тут было очень светло от солнца, совершенно пусто и пахло закромом. По полу когда-то прошелся широкими полукругами великий, но не закончил своего дела, и мучная пыль белела в углах и на карнизах. У одного окна, на котором грудями лежали литографированные тетрадки, учебник «Эсперанто», изречения Эпиктета, Марка Аврелия и Паскаля, стоял стул. На нем Каменский, должно быть, отдыхал и читал. На простенке были приклеены хлебом печатные рассуждения под разными заглавиями: «О Слове», «О Любви», «О плотской жизни». Среди же них еще стихотворение, крупно написанное на белом листе бумаги:

*Боже! Жизнь возьми — она  
Вся тебе посвящена!  
Дни возьми — пусть каждый час  
Слышишь ты хвалебный глас!*

А ниже — из псалмов Давида:

«Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!»

Как все это было странно и ново для Гриши! Он с изумлением смотрел кругом, прислушивался к тишине этого заглохшего поместья и к тому, что пробуждалось в его сердце, долго ходил из угла в угол... Потом вернулся в полутемную комнату, вышел в сени, снова развернул Евангелие...

«Дети! Недолго уже быть мне с вами...» — читал он отмеченные карандашом слова последней вечери Христа с учениками. — «Да не смущается сердце ваше»... «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел»... «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»...

Отняв глаза от книги, Гриша долго и напряженно глядел в угол, ничего не видя перед собою. И он, этот странный человек, терпит скорбь, «ибо беззакония наши стали выше головы!». Запах избы от ветхого переплета книги напомнил Грише тяжелую работу, кусок корявого хлеба, жесткое деревянное ложе, черные бревенчатые стены. А пустая, безмолвная и вся озаренная солнцем комната —

светлое одиночество в минуты отдыха и созерцательной, тихой жизни.

«Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!» — вспомнил Гриша и почувствовал, как у него самого радостно и жутко затрепетало сердце и глаза наполнились слезами непонятого восторга... «После сих слов, — читал он дальше, ощущая в волосах словно дуновение морозного ветра, — после сих слов Иисус возвел очи свои на Небо и сказал: Отче! Пришел час, прославь сына Твоего, да и сын Твой прославит Тебя... Я открыл имя Твое человекам... Соблуди их во имя Твое!...»

## V

— А, вы уже пришли! — раздался голос Каменского.

Гриша смущенно захлопнул книгу.

— Извините, — сказал он, подымаясь.

— В чем вы извиняетесь? — спросил Каменский, стоя перед ним с мешком в руке и пристально глядя ему в лицо.

— Да вот залез в ваши книги, — ответил Гриша небрежно.

— Так что ж тут дурного?

— Я говорю, взял вашу книгу... ну, без спро-

су, что ли...

— Вашу? Что это значит?

— Как что значит?

— Да так. Зачем вы все такие слова употребляете?

Они стояли друг против друга, и Гриша чувствовал, что пристальный взгляд улыбающихся глаз Каменского все более подчиняет его себе.

— Что это вы покупали? — спросил он, чтобы переменить разговор.

— А вот луку немного и хлеба.

И Каменский опустил мешок на землю.

— Так, может быть, начнем? — добавил он. — Я вот покажу вам, разведу огонь и присоединюсь к вам.

Гриша встрепенулся:

— Нет, нет, вы сначала разведите.

— Успеется, — отозвался Каменский. — Давайте доску в верстак, попробуйте фуганком.

Гриша с преувеличенным вниманием стал слушать, как надо работать фуганком и помогать заправлять доску в верстак.

— Ну-ка попробуйте! — сказал Каменский.

Гриша взял фуганок и с такой силой за-

шаркал им по доске, что в два-три взмаха испортил ее.

— Да вы потише! — ласково засмеялся Каменский.

Он ушел в избу, вынес оттуда чугуничек с водой, поставил его на таган около порога и развел огонь. Синий дымок поплыл по двору. Поглядывая на него, Каменский взял из-за верстака кадушку, сел на порог и стал набивать обручи. Стук молотка звонко отдавался в пустой кадке. Подлаживая под этот стук, Гриша пристально шмыгал фуганком по доске. Стружки кремового цвета, красиво загибаясь, падали на пол.

— Вы живете только с матерью? — спросил вдруг Каменский, опуская молоток.

— Нет, и отец часто приезжает, — поспешно ответил Гриша, поднимая запотевшее и возбужденное лицо. — А в городе всегда вместе.

— Он что же — все города украшает?

— Как города украшает?

— Строит дома богатым людям? Созидает Вавилон?

— Ах, вот что... Если хотите, да.

— Ну, этого-то я не хочу! — серьезно сказал Каменский.

И, положив в воду картофелю и луку, поправив огонь, опять сел на порог за работу.

— Да, — сказал он задумчиво. — А брат ваш что делает?

— Он только что кончил курс... Теперь служит... то есть работает у патрона.

— Так, — сказал Каменский. — У патрона... А вы тоже думаете этим заняться?

Гриша помолчал.

— Не знаю, — сказал он тихо. Каменский тоже помолчал.

— Это хорошо, что не знаете, — сказал он почти строго и стал задумчиво глядеть вдаль. — Люди все еще идут в Египет за помощью. Но и египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух.

И, подняв глаза на Гришу, прибавил:

— И вы будете также... также несчастны и одиноки, если будете не жить, а служить. Вы скоро забудете людей, будете знать только отношения вместо людей, и вам будет очень тяжело...

Гриша вспомнил свою семью и опустил

Глаза.

— Я испытал это на себе, — опять заговорил Каменский. — Я видел, как растет пропасть между моими поступками и намерениями, как жизнь моя обращается в служение крахмальным рубашкам; видел, как растет пропасть между мной и людьми. И когда я приехал в деревню к своим, где думал начать новую жизнь, я ясно увидел, как велика эта пропасть. Я мог только с крыльца слушать говор и весь этот смутный шум деревни, наблюдать жизнь простых и добрых людей, которых я прежде намеревался учить злым и ненужным делам, думая, что эти дела добрые и нужные дела, — только наблюдать: между нами была пропасть. Я был как человек, стоящий у ручья, которому хотелось пить, но которому сказали, что, прежде чем пить, надо взмутить воду, и он стал пить мутную воду, хотя и знал, что мутить воду было не нужно...

Гриша слушал, стараясь не проронить ни одного слова. «Разве ты теперь-то не одинок?» — хотелось ему сказать. Но, боясь сказать это невпопад, неумело, боясь, что Каменский заговорит с ним как с мальчиком, мол-

чал.

— А про Египет, — спросил он наконец, — это чьи слова?

— Исайи. Вы не читали?

— Никогда.

Каменский подумал.

— Завтра воскресенье, — сказал он, — мы не будем работать. Если хотите, приходите, и мы почитаем вместе.

— Во сколько?

— Когда хотите. Хоть часов в десять. Раньше нельзя, так как я пойду в город на почту.

— Непременно приду! — воскликнул Гриша. — У вас тут так хорошо!

Он помолчал и вдруг с трудом выговорил:

— А вы не будете ли добры пожаловать к нам сегодня вечером?... Мама будет очень рада вас видеть...

— С удовольствием, — ответил Каменский. — Я людей не избегаю.

Он попробовал палочкой картошки в чугуне, встал и ушел в избу. Гриша торопливо схватил картуз. Очевидно, Каменский сейчас будет обедать и пригласит его... и выйдет неловкость, неприятность, которая испортит

все настроение. Есть Грише не хотелось, но отказаться неловко... да даже если бы и хотелось и он сел, вышло бы все-таки что-то фальшивое.

— Ну, — сказал он как можно спокойнее, когда Каменский вышел из избы с глиняной миской и ложкой в руках, — мне необходимо домой...

И, чувствуя, что краснеет, Гриша поспешно добавил:

— Сегодня, знаете, брат и отец приедут... Так мне необходимо... До вечера, значит?

— До свиданья, до вечера! — ответил Каменский ласково.

За мельницей Гриша вздохнул свободнее. Он был взволнован, ему хотелось подумать о чем-то, но он ничего не думал и только шел все дальше в степь. Позади него живописно синела долина, но ему хотелось уйти в открытое поле. И он шел по парам, уже заросшим высокой травой и цветами, и ему было приятно, что они щелкают его по ногам, что поднявшийся ветер обвевает лицо солнечной теплотой, запахом зеленых хлебов.

— Как хорошо! — воскликнул Гриша, оста-

навливаясь и снимая картуз.

Он постоял, подумал, послушал жаворонков и тихо добавил:

— Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим!

Потом лег на межу навзничь и стал делать то, что делал в детстве: медленно-медленно закрывать глаза так, чтобы солнечные лучи ярко-золотистой паутиною протянулись к ресницам, а потом задрожали и превратились в трепещущие кружки, радужные, как хвост павлина...

«Как жить? — думал Гриша. — Как жить, чтоб всегда было хорошо, легко, свободно, просто? И чтоб и другим было так же? Как жить?»

Он постарался представить себе, что будет в его жизни... в тридцать, сорок, пятьдесят лет... Но все было смутно и непонятно. Представилось только что-то похожее на туманную синеву в долине под мельницей...

## VI

— Откуда так стремительно?

Гриша остановился среди поляны и поднял голову. По дороге от станции шла в боль-

шой шляпке стройная и худощаваая барышня, одна из служащих в управлении железной дороги.

— А вас, Марья Ивановна, почему это интересует? — спросил Гриша с тем неестественным спокойствием, с которым говорят красивые молодые люди с хорошенькими девушками.

Марья Ивановна пожала ему руку. Темно-каштановые волосы локонами падали на ее плечи; простое и наивное личико с голубыми глазами было очень миловидно. Глазами Марья Ивановна кокетничала, бойко и гордо прищуривала их; однако бойкость не удавалась ей, и чаще всего, особенно при новых людях, взгляд Марьи Ивановны пропадал в пространстве, хотя болтала она в это время без умолку.

— Как жарко! — начала она скороговоркой, стараясь не глядеть на Гришу. — А в вагоне просто дышать нечем... И работы сегодня была такая масса! Я уже заявила сегодня своему патрону, что, если будет такая жара, я не буду больше являться на службу.

— А кто же вас заставляет являться? —

спросил Гриша.

— Вот мило! Если бы у меня была пара серых в яблоках и коляска на резине, меня, может быть, и не заставляли бы.

Гриша улыбнулся.

— Ведь вот, — сказал он тоном Каменского. — Они не могут без серых, все серые нужны!

— А что же прикажете делать?

— Пахать, — ответил Гриша полушутя, полусерьезно.

— Пахать! — воскликнула Марья Ивановна. — Это новость!

— Вовсе не новость.

— Сохой пахать?

— Сохой.

Марья Ивановна посмотрела куда-то вдаль и легонько вздохнула:

— Это хорошо в теории, а не на практике.

— А вы не отделяйте теории от практики! — добавил Гриша наставительно, поклонился и быстро пошел к своему саду.

На балконе завтракала Наталья Борисовна.

— Игнатик приехал! — сказала она.

Гриша промолчал и сел за стол. На столе

был приготовлен ему прибор и завтрак: масло, яйца, глянцеви́то-зеленые огурцы. Среди стаканов стоял серебряный кофейник, подогреваемый синими огнями бензиновой лампы. Наталья Борисовна старательно снимала ножом и вилкой мясо с крылышка холодного цыпленка. Гриша посмотрел на ее плотную спину, на расставленные и приподнятые руки и почему-то вспомнил черепаху. Красивое лицо его стало неприятно.

— Что так поздно? — спросила Наталья Борисовна немного заискивающим тоном.

— Где же Игнатий? — сказал Гриша вместо ответа.

— Купаться ушел. А ты это все у Каменского?

Гриша сделал усталое лицо.

— У Каменского, — пробормотал он.

Наталья Борисовна позвонила. Гарпина внесла на тарелке сковородку с шипящим в масле куском бифштекса.

— Дайте вина! — коротко приказал Гриша. И, когда подали бутылку, залпом выпил стаканчик и принялся за еду очень поспешно.

— Уже? — спросила Наталья Борисовна. —

А кофе?

Гриша бросил салфетку и встал.

— Мерсі, не хочу.

— Мало же!..

Гриша прошел в свою комнату и лег на кровать. Ему хотелось еще подумать, как в поле, удержат утренняя хорошее настроение. Но от вина и еды приятно напряженнее билось сердце. Гриша с удовольствием вытянул ноги, положил их на отвал кровати, прикрыл глаза... и внезапно заснул крепким сном.

А Наталья Борисовна, балуясь гусиным перышком, откинулась на спинку стула и долго смотрела куда-то в одну точку. О чем она думала? Она бы и сама не сказала. Но, поднимаясь из-за стола, она почему-то глубоко вздохнула и пошла по дому лениво.

В спальне она подняла штору, села около окна и машинально взяла книгу. Но читать не хотелось. И она перевела глаза на портрет Петра Алексеевича, стоявший на ее письменном столике. С портрета пристально и насмешливо глядели на нее небольшие, чуть-чуть прищуренные глаза еще бодрого и све-

жего мужчины лет пятидесяти. Его правильная, яйцеобразная голова с продолговатой бородой, в которой седина тронула волосы только около щек, еще до сих пор была гордо откинута назад. Было видно, что этот человек весь свой век прожил в холе и до старости сохранит барскую осанку высокой, в меру полной фигуры.

«Подурнел! — подумала Наталья Борисовна. — Плечи подняты по-стариковски, под глазами мешки...»

На мгновение она вспомнила свою молодость, прежнего Петра Алексеевича, на мгновение ей стало неприятно, что он так опустился теперь... Но, в сущности, он теперь был ей совсем чужой человек; а думать о прошлом — это и утомительно, и не приводит ни к чему хорошему. И Наталья Борисовна принялась бесцельно смотреть в окно.

Ветер опять стих, и опять стало жарко и скучно. Но уже длинные тени легли от садов и дачи дремали мирным послеобеденным сном долгого летнего дня. По улице прокатилась со станции линейка с дачниками и скрылась, гроыхая развинченными гайка-

ми. «Са-ахарно морожино...» — меланхолично доносилось откуда-то издалека.

А в доме было так тихо, что по всем комнатам отдавалось ровное постукиванье часов в столовой.

## VII

Вечером на поляне около сада Примо играли в крокет.

Солнце скрылось в густую чащу леса за поляной, и лес темнел на шафрановом фоне заката. Воздух был сухой и теплый, даже душный. Около играющих стояли знакомые и незнакомые барышни и студенты; потом они разбрелись, и зрителями остались маленькие гимназисты. Их очень занимал непрекращающийся спор между Гришей и Игнатием.

— А я тебе говорю, что ты ее убил! — азартно кричал Игнатий, стоя перед Гришей. — Я стоял вот здесь, — продолжал он, все более волнуясь, отбегая и стучая молотком по тому месту, где стоял, — я стоял вот на этом самом месте и отлично видел, как шар Марьи Ивановны коснулся фока!

На толстого Игнатия в широком, мешковатом костюме из чесучи было смешно смотреть.

реть. Он неуклюже бегал среди дужек и помынута снимал соломенную шляпу, обтирая платком круглую, коротко остриженную голову и красное лицо.

— Шнурки-то подбери, — презрительно говорил Гриша, указывая Игнатию на мотающиеся завязки его мягких скороходов.

— Игнатик! — пробовала вмешаться Наталья Борисовна, делая страдальческое лицо и смеясь внутренним смехом. — *Keep your temper, Sir!*[3]

— Оставь, пожалуйста, мама! — огрызнулся Игнатий. — Это же глупо, наконец! Я отлично видел, как шар коснулся фока.

Гриша смотрел на Марию Ивановну и думал, что она сегодня была бы очень хороша, если бы не надела этой красной шелковой кофты, широкие рукава которой она помынута вздергивала и взбивала на плечах.

— Ты слеп, мой милый! — лениво возражал он брату.

— Ты слеп!

— Все равно, я не уступлю.

— И я не уступлю!

— Ты молоток сломаешь.

— Ну и отлично!

— Ничего тут нет отличного.

— Я тебе уже давеча раз уступил! — опять стучая молотком в землю, кричал Игнатий, — ты еще давеча нарушил правила!

— Вечно с правилами!

— Конечно, с правилами! Раз ты их не исполняешь...

В это время к крокету подошел профессор Камарницкий с женой.

— Здравсьте, господа! — сказала Софья Марковна. — Продолжайте, продолжайте, пожалуйста.

Но Грише совестно было продолжать спор. Он отвернулся и сказал:

— Марья Ивановна! Вы должны решить.

Марья Ивановна положила ручку молотка за голову на плечи, взялась за нее руками и, качаясь на носках, ответила детским тоном:

— Я не знаю.

И не то улыбаясь, не то гримасничая, она рассеянно смотрела своими голубыми глазами в небо. Грише страстно захотелось подойти и поцеловать ее в губы. И он машинально ответил:

— В таком случае давай новую партию. Мы считаем себя побежденными.

— Павел! — сказала профессорша. — Будем играть?

Профессор покорно согласился. Все взяли молотки и собрались в одно место. Игнатий обтер лоб платком, бросил на землю шляпу и быстрыми ударами молотка согнал шары к фоку.

— Итак, господа, — крикнул он тоном герольда, — мы играем в следующем порядке: одну партию составляет Павел Антоныч, Софья Марковна и Гриша; вторую — я, мама и Марья Ивановна. Гриша, мы начинаем: согласен?

— Согласен, согласен.

Широко шагая, Игнатий торжественно подошел к фоку, отставил левую ногу.

— Господа, начинаю! — крикнул он и ударил в шар. Шар прошел дужку, стукнулся о проволоку второй и наискось проскочил третью.

— Вот это удар! — восторженно завопил Игнатий, любуясь, как шар волчком завертелся на одном месте.

А через минуту он уже снова раздраженно кричал на всю поляну:

— Если ты, мама, не умеешь играть — брось! Это глупо, наконец! Не умеет даже крокировать!

— Да ведь нога же соскользнула!

И, улыбаясь, Наталья Борисовна снова подняла край юбки, неумело поставила ботинку на шар, сильно размахнулась, но молоток боком стукнул ее по ноге и выскользнул из рук.

— Не могу сегодня... — выговорила она, трясясь от смеха, и отошла в сторону.

Зараженная этим смехом, Марья Ивановна принялась хохотать как помешанная.

— Сначала, сначала! — кричала она, бегая за шарами и раскидывая их в разные стороны.

Игнатий в отчаянии поднял плечи, покраснел и сделал ужасное лицо.

— Это черт знает что такое! — воскликнул он басом и, не выдержав, сам расхохотался.

Подъехал еще знакомый — адвокат Викентьев. У него всюду были знакомые, и в городе, с извозчицей пролетки (пешего его трудно

было себе представить) он широко и приветливо размахивал шляпой чуть не каждому встречному. Всюду он держал себя как дома, всюду напевал отрывки оперных арий с мягким удальством итальянского тенора и считал себя общим любимцем.

— Стой, стой! — закричал он извозчику, скакивая с пролетки, и быстро, покачиваясь, пошел к крокету. Это был человек небольшого роста, кругленький, с маленькими ногами и руками. Называя себя «верным шестидесятником», он небрежно повязывал галстук, не стриг своих серых, мягких волос и часто развязно закидывал их назад. Матовое его лицо было моложаво и неприятно.

— Наталья Борисовна! — крикнул он, махая на себя шляпой. — Благоверного вашего лицезрел!

— Где? — спросила Наталья Борисовна, иди к нему навстречу.

— В городе-с. — Викентьев быстро поцеловал у ней руку, оглянулся. — Да-с, на стогнах града... Оказывается, он вернулся еще вчера, «выпимши малость»... Здравствуйте, барышня!.. Мое почтение, Софья Марковна...

Он пожал всем руки и опять оглянулся:

— Коллеге почтение! Давно изволили пожаловать?

— Только сегодня, — сказала Наталья Борисовна. — Да вы откуда, Александр Иванович?

Викентьев махнул рукой и вздохнул.

— И в городе был, и за городом был... у одного почтенного отца семейства... Ну что же? Я вам помешал? Примете меня в заморскую игру?... Хотя, по правде сказать, я голоден, как сорок тысяч братьев Фридрихов...

Но играть было уже поздно. Сумрак мягко синел в парке, и над вершинами дубов показывались серебряные звезды... Хор молодых голосов запел где-то далеко протяжную мало-российскую песню, и Викентьев стал тихонько подтягивать:

*Та налетіли гуси з далекого  
краю...*

— Отчего это, — сказал он, — когда поют хорошую песню, становится кого-то жалко, и совсем не знаешь, горя или радости хочется?... Пойдемте гулять, господа! В такую ночь

надо жить только природой.

Пошли смотреть на долину, в сторону, противоположную мельнице Каменского, — туда, где видны были огни города; полежали на скате, непринужденно, по-дачному, снявши шляпы. Синяя темнота все сгущалась от востока над долиной. Прошел за рекою поезд, и долго слышен был его отдаленный шум... Потом все затихло. Город на горизонте роился бледными огнями, а из парка доносилась то та, то другая печальная песня.

— Славно! — сказал Викентьев. — Люблю я эту самую природу, люблю, грешным делом, полежать вот так на травке, но... «камергер редко наслаждается природой»!.. Право, иной раз хочется стать рыбаком, бродягой или хоть толстовцем... вроде вашего новоявленного отца Каменского. Кстати, он еще тут обретается?

Гриша насторожился.

— Да, — ответила Наталья Борисовна. — Обещался сегодня быть у нас.

— Вот как! — сказала Софья Марковна. — Это интересно. Павел, пойдем к Наталье Борисовне?

Профессор, запинаясь, отказался:

— Нет, ты уж будь добра, иди одна; мне он не интересен, да и надо вовремя лечь в постель.

— Да, он не интересен, — подтвердил Викентьев. — Я с ним встречался. Говорит как по писаному, но все это не ново и хорошо только на словах. «Нельзя объять необъятного»... Да и сам Лев Николаевич-то, кажется, уж соскучился забавляться...

Заговорили о том, что влияние Толстого проходит, что Толстой велик как романист и слаб как философ, что он умеет только отрицать и ничего не дает положительного... Гриша внимательно слушал. Слова Викентьева заставили его задуматься.

«Болван! — думал он про Викентьева. — Но это-то, пожалуй, отчасти и правда... Не ново-то не ново...»

Посидели еще, не зная, что делать. Всем было хорошо, но все чего-то ждали. И когда Наталья Борисовна сказала, что хочется чаю, поднялись очень живо, словно исполнили обязанность.

У крыльца профессор и Викентьев откла-

нялись. Остальные вошли в дом. В сумраке на балконе кто-то медленно поднялся со стула.

— Здравствуйте! — сказал приятный важный голос.

— Ах, это вы, Алексей Александрович! — воскликнула Наталья Борисовна, дружески пожимая ему руку. — Очень, очень рада вас видеть... Что же это Гарпина не зажгла вам лампы?

— Она у Петра Алексеича.

— Разве он приехал?

— Да, мы уже беседовали с ним. Он пошел в кабинет облить голову водою.

Наталья Борисовна покраснела. «Ах, боже мой, как нарочно!» — подумала она, но тотчас же весело сказала:

— Ну, господа, вы незнакомы? Знакомьтесь, знакомьтесь, пожалуйста...

## VIII

По всем комнатам пахло сигарами. Из кабинета раздавались мужские голоса, слышны были сильные вскрикиванья Ильи Подгаевского, странного субъекта, безотлучно пребывавшего при Петре Алексеевиче и участвовавшего во всех его попойках. Петр Алексеевич ред-

ко появлялся один и на этот раз привез с собой еще какого-то военного доктора, которого называл Васей, и своего секретаря, Бобрицкого, молодого человека, очень похожего на жирафа своей маленькой головой и большой, длинной фигурой в клетчатой паре.

Среди сидящих и разговаривающих за круглым столом в ярко освещенной гостиной Каменский резко выделялся своей высокой фигурой и одеждой. Присутствие его одних смущало, других очень интересовало. Марья Ивановна боялась взглянуть на него и, махая в раскрасневшееся лицо платком, быстро-быстро заговаривала то с тем, то с другим так, словно отвечала на экзамене. Грише очень хотелось уйти с ней на качели в сад, но он знал, что будет спор, так как заметил, с какой порывистой приветливостью пожал руку Каменского Игнатий: очевидно, рад новому человеку, с которым можно сцепиться. Однако разговор шел пока незначительный. Поддерживал его только агроном, человек в золотом пенсне, всегда сдержанный, вежливый и элегантный (агрономией он занимался теоретически, в городе). В тон ему держался и Боб-

рицкий. Немного отодвинувшись от стола и вытянув ноги, он держал стакан чаю в руках и, когда пил, далеко отставлял мизинец, украшенный перстнем с большим куском бирюзы.

— Вы позволите вам чаю? — с легкой запинкой спросила Наталья Борисовна Каменского.

И все тотчас с любопытством обратились в его сторону: откажется или нет? И что возьмет к чаю?

— Пожалуйста, — очень вежливо ответил Каменский. То, что он приветлив, тоже немного удивляло всех.

Верно, он знал, что Примо устроили сегодня вечер с толстовцем, знал, что за каждым его движением будут следить, будут оглядывать его одежду, и потому надел чистую рубашку, умылся, причесал бороду и густые русые волосы, подстриженные в скобку. Теперь его открытое лицо было красиво.

Подошел еще гость, статистик Бернгардт, бородатый, сумрачный человек. Он недавно вернулся из Сибири, и Грише казалось, что это суровые сибирские мужики приучили его

быть таким скупым на слова. И теперь он молча сел в угол со стаканом чаю и принялся рассматривать волосы в своей большой темной бороде. Каменский тотчас заговорил с ним о Сибирской железной дороге. Бернгардт отвечал отрывисто, а все поглядывали на них, как бы спрашивая: какой интерес представляет Каменскому железная дорога? Ведь «они» отрицают цивилизацию!

Вдруг агроном почтительно промолвил:

— Правда, что Лев Николаевич не совсем здоров?

— Да, да, — поспешил ответить Бобрицкий, — я читал недавно сам.

— Нет, неправда, — ответил Каменский. — Я недавно имел о нем известия.

Бобрицкий поднял брови.

— Но я же сам, своими глазами читал в «Новом времени»! — сказал он.

— Вы не верьте. Газеты для того же и существуют, чтобы выдумывать неправду, — возразил Каменский с снисходительной улыбкой.

Игнатий задвигался на стуле.

— Ну, знаете, это слишком сильно сказа-

но! — проговорил он с неприятной улыбкой.

— А где он теперь? В Ясной Поляне? — перебила Марья Ивановна.

— Что вы?

Каменский спросил очень ласково, но Марья Ивановна смешалась. Она встряхнула локонами и с трудом выговорила:

— Правда, что он только лето живет в деревне?

— Да, вот это правда.

Все переглянулись и помолчали. Каменский налил в блюдце чаю и уже начал говорить с агрономом о рамочных ульях, как вдруг Софья Марковна выговорила громко и насмешливо:

— А правда, что он уже сменил пресловутую блузу на костюм велосипедиста?

— Вот это опять неправда, — уже совсем важным тоном возразил Каменский.

Снова переглянулись, а Игнатий издал какой-то носовой звук.

— Я, собственно, не понимаю... — начал он, собирая хлебные крошки.

Но в это время раздался насмешливо-отчетливый голос Петра Алексеевича:

— А правда, что мы с Илюшей еще пьяны? Все живо обернулись.

Улыбаясь, Петр Алексеевич медленно шел с коробкой сигар в одной и с дымящейся папиросой в другой руке, немного приподняв плечи и не поворачивая головы, как уходят богатые люди из ресторанов среди кланяющихся лакеев. После холодной воды он посвежел и ободрился; слегка прищуренные глаза блестели, смуглое припухшее лицо было весело. И как всегда, он был очень представительен; небольшое брюшко, туго обтянутое жилетом, не портило его высокой, плотной фигуры; ноги сравнительно с ней были тонки, но стройны.

Зато маленький, тщедушный человек, который шел за ним в длинном черном сюртуке, производил странное впечатление; старческое лицо его, лицо скопца и алкоголика, было желто и испито; длинные, монашеские волосы жидкими темными космами падали на плечи; маленькие агатовые глаза неестественно блестели.

— Отставной профессор консерватории, потом монах, пьяница и мой друг, Илья Под-

гаевский, — отрекомендовал его Петр Алексеевич, здороваясь с гостями и усаживаясь к столу.

— Полно, Петр! — с пафосом воскликнул Подгаевский, кивнул всем головой и задумчиво зашагал из угла в угол, бросая себе в рот мятные лепешечки.

Наступило минутное молчание. Каменский пристально, без стеснения рассматривал то Подгаевского, то хозяина. Последний, очевидно, заметил это, потому что отчетливо повторил, обращаясь уже к одному Каменскому:

— Так как вы нас находите? Пьяны мы или уже можем вести душевспасительные беседы?

— Мы этого еще не знаем, — ответил Каменский серьезно.

Петр Алексеевич сделал вид, что уже не слушает, и обратился к Наталье Борисовне:

— Мамаша, — сказал он, — налейте и мне стаканчик чаю, только, пожалуйста, без коньяку!

— Вот как! — засмеялась Наталья Борисовна.

— Я слышу разговор о Толстом, — продол-

жал Петр Алексеевич, оглядывая всех и подчеркивая слова, — и вот мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. И когда я понял то, что понял, я перестал делать то, чего не надо делать, и стал делать то, чего не делал и что нужно делать.

Все засмеялись.

— Очень, очень удачно скопирован Толстой! — подхватил Бобрицкий.

— Какой догадливый! — пробормотал Петр Алексеевич, раздувая ноздри.

— Нет, почему вы так против велосипедистов? — улыбаясь, но уже нервно прикрывая глаза и волнуясь, заговорил Игнатий.

— Разве я это сказал? — спросил Каменский и поднял брови.

— То есть не сказали, но, в сущности, это понятно... И это странно... Я думаю, что всякий труд, исполняемый с наименьшим напряжением мускулов...

Все прислушались. Каменский же немного наклонил голову, и по лицу его было видно, что он хочет вникнуть в каждое слово. Но Игнатий запнулся, щелкнул пальцами и приба-

вил торопливо:

— Я хочу сказать, что такой труд, во всяком случае, более нужен, чем какой-либо другой...

— Я вас не понимаю, — спокойно возразил Каменский.

— Не понимаете? — переспросил Игнатий.

— Извините, не понимаю.

Игнатий вздернул плечами.

— Что же тут непонятного? Разве я темно выражаюсь?

— Нет, но вы, очевидно, не подумали, что сказали.

Игнатий прикрыл глаза, соображая, подумал он или нет, и наконец выговорил:

— Нет, знаете, я темно выразился, но вполне понятно, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что всякий труд...

— Нужно всегда различать, — тихо, но властно перебил Каменский, кладя ладони на стол, — нужно всегда различать, что нужно и что не нужно в жизни; именно, как сказал Петр Алексеевич, надо знать, что нужно делать и чего не нужно делать.

Он мельком взглянул на Петра Алексееви-

ча и продолжал:

— Да, именно так. Поэтому слово «всякий» очень часто не имеет ни значения, ни смысла. Всякий труд! Да вот ведь и обезьяна трудилась, и ей стало жарко и скучно наконец.

— То есть я не понимаю, про какую обезьяну вы говорите?

— А вот про ту, что катала чурбан. Помните басню? О труде надо думать серьезно и избирать надо тот труд, который не ограничивается одним наименьшим напряжением мускулов. Труд жизни...

Игнатий заволновался еще больше.

— Вы думаете, кажется, что я не имею понятия о труде?

— О чем труде?

— Вообще о труде... Я не меньше вашего работал и работаю...

— Я о вас пока не говорил.

— Но ведь это понятно!

— Я о вас не говорил. О вас я еще буду говорить.

Игнатий вспыхнул.

— Но ведь это, конечно, и от меня будет зависеть, — резко возразил он. — Личности тут

ни при чем.

— Нет, именно при чем. И отчего нам не говорить друг о друге? Мы не должны учить других, когда еще не очистились сами, но мы должны быть братьями и помогать друг другу.

— Однако же вы говорите тоном именно поучения!

Каменский немного смутился, но тотчас же оправился.

— Я не поучаю, — сказал он серьезно, — я говорю только то, что мне кажется истиной, которую я уразумел сердцем. Я не насилую вас — это главное. И вы напрасно сердитесь на меня.

— Я нисколько не сержусь, я сказал только, что знаю, что такое труд, не хуже другого...

— По вашим рукам этого не видно.

— Если вы, — перебила Каменского Софья Марковна, и все оглянулись на нее, — если вы подразумеваете под трудом труд только физический, то я думаю, что ограничивать настолько труд, по меньшей мере, странно. Умственная жизнь человека нуждается в пол-

ном развитии и усовершенствовании.

— Илья? — спросил Петр Алексеевич. — Справедливая это мысль? Правда, мы с тобой труженики и умственно развиваемся?

И с заигравшею в глазах злою улыбкой оглядел всю компанию, долил чай коньяком и выпил, как воду.

— Илюша! Что же ты? — добавил он, обращаясь к Подгаевскому.

Подгаевский, который шагал вокруг стола, оживился.

— Изволь! — сказал он, наливая и себе коньяку. — Но ты обратился ко мне с вопросом. Так я тебе скажу, мой милый, что мысль Софьи Марковны совершенно справедливая. И твоя обычная ирония тут ни при чем. «Оставь ее отжившим и нежившим!»

— Будто бы мы с тобой еще не отжили? — спросил Петр Алексеевич.

— Мы тени, мой милый! Но сущность наша и красота вечны! — сипло вскрикнул Подгаевский.

Петр Алексеевич дослушал его и спокойно выговорил:

— Вот и врешь! И мы с тобой, к сожалению

нию, не тени, и красота не вечна. Например, вот мамаша была очень красива, а теперь только старая карга.

Поднялся общий смех и говор.

— Виноват!.. — говорил Каменский с блестящими глазами.

## IX

— Виноват, я не договорил, — повторил он. — Я вас перебыю на минуту, — продолжал он только для того, чтобы вдуматься в то, что хотел сказать, так как намеревался говорить долго. — Я хотел ответить вам, Софья Марковна... Оставим на минуту труд в стороне, нужно сперва говорить о жизни... И вот я думаю так: жизнь человека должна быть направлена прежде всего к раскрытию и познанию...

— К раскрытию чего?

— К раскрытию того, что нужно и важно для человека, к развитию его добрых чувств, чтобы он мог любовно и радостно исполнять свое назначение на земле и волю пославшего его...

— Пославшего его, — повторил Игнатий. — Кто же этот пославший?

— А это называйте, как хотите — Роману,

Вишну, Фта... Дух Жизни, одним словом.

— Дух Жизни! Что такое Дух Жизни?

— А вам что — хочется решить его, как уравнение?

— Нисколько, это уравнение, состоящее из всех неизвестных, следовательно, я и пытаться не буду решать такое уравнение... Да это и не уравнение будет.

Петр Алексеевич насмешливо кивнул на Игнатия.

— Игнатий-то! — сказал он. — Как уравнению-то обрадовался!

— Дай мне, пожалуйста, говорить! — воскликнул Игнатий с злобой. — Так я говорю: это для меня только звук, и я не знаю, что он значит...

— Дело не в звуке...

— Так позвольте: что же такое Дух Жизни?

— Дух Жизни?... «Свет, и нет в нем никакой тьмы» — вот вам одно определение. Добро, любовь — вот вам другое.

— А почему я должен поклоняться добру? — вмешался Подгаевский, внезапно оставившаяся против Каменского.

— В самом деле, — подхватил Игнатий, —

почему?

— Да зачем вы ставите эти вопросы? Вы следуйте веленьям своего сердца, в котором заключены добро и любовь.

— А если у меня не заключено ничего подобного?

— Это неправда. Еще Тертуллиан сказал, что душа христианка.

Игнатий заморгал, развел руками, поднял плечи.

— Да что же это за доказательство! — воскликнул он насмешливо и басом. — Добро, Любовь... А если я не верю Тертуллиану вашему, и моя башка, мои мозги...

Каменский нахмурился и повторил уже назло:

— Да, еще Тертуллиан сказал. А царь Давид вот что: «И рече безумец в сердце своем — несть Бога!»

— Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков, — перебила Софья Марковна.

— Господа, позвольте! — закричал Игнатий. — Мы уклонились, так нельзя...

— Вы же не дали мне договорить, — сказал Каменский. Лицо у него покраснелось, руки нервно гладили скатерть.

— Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста!

Каменский подумал и опять заговорил размеренно:

— Я говорил: человек должен уяснить себе, для чего он живет...

— Виноват, — снова не выдержал Игнатий, — одно слово... Как это уяснить, для чего я живу? Я могу сказать, для чего я сегодня в город ездил...

— Да, вот именно так, — подтвердил Каменский, — именно, надо уяснить себе цель жизни так же, как цель поездки в город. И вот: есть жизнь телесная и плотская и есть жизнь духовная и душевная. Жизнь телесная...

— Ну, это уже начинается метафизика какая-то! — воскликнула Софья Марковна.

— Позвольте, — начал Игнатий.

— Виноват, — заговорил и агроном, хотевший примирить и успокоить всех.

А Петр Алексеевич выговорил громче всех:

— Мы вот с Илюшей живем плотской жизнью!

— Метафизика — родня поэзии! Я стою за метафизику! — почти закричал Подгаевский. — Вы говорите: труд; но прогресс движется не трудом, а творчеством!

— Это, положим, вздор! — добавила Софья Марковна. — Возьмите Липперта...

Каменский почувствовал, что здесь нельзя говорить. Но то, что ему хотелось сказать этим людям, которые кричат только от скуки, волновало его, и он поднялся со стула. Встал и Игнатий.

— Что же вы сотворили? — почти строго спрашивал Каменский. — Что? Я скажу вам, что вы сотворили: рабовладельчество, проституцию...

— А что вы так против проституции? — вмешался Петр Алексеевич уже с явной насмешкой. — Вот Илья иначе думает.

Каменский пристально посмотрел на Петра Алексеевича, но тот сделал мутные глаза и отвернулся.

— При современных условиях это необходимо учреждение! — уже кричал Подга-

евский.

— Позвольте... Что же, современные условия хороши?

— Нет, вы позвольте!

Лицо Подгаевского исказилось, глаза бежали; то, что у него не было двух верхних зубов, еще более делало его некрасивым.

— Нет, дайте же мне договорить! — пробовал как можно спокойнее возражать Каменский. — Вы сказали именно то, что нужно: вы сказали, как человек, который на вопрос: почему он едет так плохо и тихо, ответил, что у него сломана ось. Остановись же, сказали ему, почини ее.

— Позвольте-с, — заговорил Бернгардт сумрачно, приближаясь к Каменскому, — современные условия зависят не от одного человека. Это не телега, в которой едет благодушный мечтатель и единственный обладатель ее, это — наполненный народом дилижанс. И починка зависит не от единичной воли... Конечно, можно и пренебречь сломанным экипажем, встать, махнуть рукой и отправиться пешечком; только это и нечестно, и навряд хорошо для отправившегося пешечком...

— Да, — горячо подхватил Каменский, — если дилижанс плох, нужно его оставить и не тащиться в нем или не сваливать все на других, на «обстоятельства»... И во всяком случае, починка делается не злобой, а единением и любовью!

— А может быть, непротивлением злу? — перебил Бернгардт и резко захохотал.

Вдруг Петр Алексеевич поднялся.

— Мамаша! — воскликнул он. — Это наконец подло с вашей стороны! Вы меня все равно не приучите к духовной жизни, я не обедал сегодня!

— Господа, перейдемте в столовую, — обратилась Наталья Борисовна к окружающим.

Гриша поднялся и скрылся в своей комнате.

Понемногу стали подыматься и остальные. Разговор оборвался, и по рассеянным взглядам было видно, что продолжение его и нежелательно.

Агроном сел за рояль и, одним пальцем аккомпанируя, вполголоса запел пролог из «Паяцев». Около него стояли Бобрицкий, Софья Марковна и Подгаевский; Подгаевский пока-

чивал головою и намеревался подтягивать. Петр Алексеевич в ленивой позе сидел на диване; Бернгардт ходил из угла в угол: он не хотел даже серьезно говорить с Каменским, унижать себя. А Игнатий с Каменским незаметно вышли на балкон. Игнатия мало интересовала закуска, и он думал, что, пожалуй, вышло неловко это всеобщее нападение на Каменского. Спорить больше ему не хотелось, хотя он и был немного обижен, так как любил оставаться в горячих разговорах победителем. Он стоял против Каменского и машинально повторял:

— Да-а-с, батенька!

Лицо Каменского было строго и рассеянно. Облокотившись на перила балкона, он старался собрать мысли, так как твердо решил опять завести разговор.

А Марья Ивановна, полуосвещенная светом, падавшим из гостиной на балкон, глядела в сад и говорила тихо и восторженно:

— Как хорошо!

В саду было очень темно и тепло. Ночные неопределенные облака неподвижно дремали в темноте над садом. Дремотно где-то щел-

кал соловей, невнятно доносился аромат резеды с цветника у балкона...

## Х

Гриша сидел за ужином, мрачно покусывая ногти. Когда собрались в столовую, произошла маленькая неловкость.

— How did you get acquainted with him?[4] — вдруг спросила профессорша Наталью Борисовну, указывая глазами на Каменского.

— Энгельса зашел попросить, — пробормотал Петр Алексеевич.

А Каменский мягко, но серьезно заметил:

— Я знаю английский язык, так что вы говорите лучше на каком-нибудь другом.

И когда Софья Марковна смешалась и покраснела, он добавил снисходительно:

— Да вы не конфузьтесь. Языки надо знать, это ведет людей к сближению. Ведь вся беда людей с древнейших времен и до этого вечера состоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми.

Он вызывал на беседу, и лицо его становилось все сосредоточеннее. Но кругом шел оживленный разговор о знакомых, об опере; занимал всех и ужин — молодые картошки с

зеленью, бифштекс, вина... К ужину вышел и военный доктор, похожий на цыгана. Заспанный, добродушный, он все старался казаться трезвым и поэтому расшаркивался, подымал плечи и хриплым голосом говорил любезности дамам.

Тогда Каменский, обращаясь как будто к одному Игнатию, произнес целую речь. Голос его стал торжественным, глаза строгими и выразительными.

Он опять начал с того, что нужно в жизни. Современный человек, говорил он, отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. Жизнь стала слишком сложна, и сложная общественная организация парализует нашу волю и растягивает нас в разные стороны. Мы одурманили себя ненужными делами, мы загипнотизированы книгами и разучились говорить языком сердца. Мы слишком заняты, по словам Лаодзи и Амиеля, слишком много читаем пустого и бесплодного, когда надо стараться упрощать жизнь, стараться быть искренним, вникающим в свою

душу, когда нужно отдаться Богу, служить только ему, остальное же все приложится. Мы устали от вероучений, от научных гипотез о мире, устали от распрей за счастье личности, слишком много пролили крови, вырывая это счастье друг у друга, когда жизнь наша должна состоять в подавлении личных желаний и исполнении закона любви. Злоба — смерть, любовь — жизнь, говорил он. Жизнь только в жизни духа, а не в жизни тела. Плод же духа — любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание... Это повторяли людям все великие учителя человечества, начиная с Будды...

— Ну, знаете, батенька, Будда был довольно-таки ограниченный субъект! — перебил Игнатий.

Каменский, не слушая, продолжал говорить. Он настаивал на том, что мы сами создаем себе миллионы терзаний только потому, что не хотим прислушаться к тому, что говорит нам сердце голосом любви, всепрощения и благоволения ко всему живущему; настаивал на том, что мы гибнем, развивая в себе зверские похоти, тысячи ненужных по-

требностей и желаний. «Желаете и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть», — напомнил он слова апостола Иакова.

— Это все очень не ново! — слышались голоса, — это все давно слышанное. К сожалению, не так просто все развязывается. И любить по закону нельзя. Странный рецепт: возьми да полюби!

Гриша терялся — с обеих сторон говорили правду!

Размахивая полами сюртука, Подгаевский ходил по комнате и кричал над ухом Каменского:

— Я скажу вам словами такого же апостола, Павла: «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности!»

— Лучше быть рабом праведности, чем похоти, — пробовал возражать Каменский.

Но Подгаевский был уже пьян. Пьян был и Вася, который все наклонялся и что-то бормотал на ухо Петру Алексеевичу, воображая, что говорит шепотом. А Петр Алексеевич сидел с покрасневшимся лицом и мутным взглядом.

*Ах, что кому до нас,  
Когда праздничек у нас! —*

запел он вдруг фальшиво и резко.

Дамы встали и начали прощаться. Поднялся и Каменский.

— Что же вы? — спросил Петр Алексеевич. — Уже уходите? Напрасно! Давайте споем.

Каменский пожал плечами.

— Какой вы веселый! — сказал он, нахмуриваясь.

— Веселый! — повторил Петр Алексеевич и вдруг прибавил с неприятной улыбкой: — Кстати о труде! Шкап-то скоро будет готов?

— В четверг принесу.

— После дождичка?

— А разве в четверг будет дождь?

— Да вот Брюс пишет — будет.

— Я в Брюса, к сожалению, не верю. До свидания!

— Жаль! А закусить разве не хотите? Ведь хочется небось?

Каменский посмотрел на него долгим взглядом, пожал окружающим руки и пошел из дома через балкон. Петр Алексеевич поднялся.

— Николка! — крикнул он на весь дом.

И когда вбежал лакей, прибавил:

— Лошадей нам! Вася, Илюша — в «Добро пожаловать»! Едем!

— Петр Алексеевич, — сказала Наталья Борисовна, — я тебя прошу, не езди!

— Мамаша! Оставьте! Стыдно при чужих людях...

*Ах, что кому до нас, —*

запел он снова, обнял доктора и Подгаевского и пошел в кабинет...

Дом опустел. Было слышно, как в столовой убирали посуду. Гриша сидел в своей комнате у открытого окна, стиснув зубы.

— В наше время таких бы не слушали, — со злобой говорил на балконе Бернгардт.

— Вы и теперь не слушаете, — отвечал злобно и Каменский.

— Мы жизнью жертвовали!

— Однако вы живы.

— Не каламбурьте! Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью.

— Это что же вы называете работой? Неужели эта дача похожа на рабочий дом?

— Я не про эту дачу говорю. Вы не ехидничайте. Любовь!.. А ведь у вас злоба кипит, вы сами просите борьбы... Вы, например, меня ненавидите сейчас.

— Поверьте мне, как брату, — горячо возразил Каменский, — у меня никакой нет злобы против вас. Запомните слова Паскаля: «Есть три рода людей: одни те, которые, найдя Бога, служат ему, другие, которые заняты исканием его, и третьи, которые, не найдя его, все-таки не ищут его»...

— Опять тексты!

— Да, тексты! — повторил Каменский снова с сердцем...

— Покойной ночи! — слышался немного погодя голос Игнатия.

— Прощайте! — ответил грустно и важно Каменский.

## XI

На заре Гришу разбудили удары грома. Он открыл глаза.

День был серый и дождливый. От надвигающихся туч в комнате темнело; в сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот.

Он приближался тяжкими раскатами, так что дрожали стекла, и вдруг разражался треском и резкими ударами над самой крышей дома... И начинал сыпать дождь, сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли не шелохнувшись, насыщаясь влагою. Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух.

Гриша хотел уже вставать, как в столовой слышались тяжелые шаги Петра Алексеевича. Он что-то невнятно приказывал лакею, который звенел ключами, отворяя шкаф.

— Гриша! — раздался вдруг его голос в гостиной. Гриша не ответил.

Петр Алексеевич подошел к порогу и раздвинул портьеры. Он был в шляпе и крылатке, которая сползла у него с плеч.

— Ты спишь? — спросил он.

— Нет, — ответил Гриша и нахмурился. — А что?

— Да так... Я, знаешь, хотел спросить кое-что...

— Именно?

— Именно... Гм!.. Ну, да все равно... Я хотел

тебе сказать вот что: не замечал ли ты, что свинья — одно из самых иронических животных?... Это во-первых...

Язык Петра Алексеевича заплетался.

— Во-вторых, я зашел к тебе на минутку... — продолжал он медленно. — Я хотел тебе передать, что встретил сейчас Каменского... В город, брат, уже прет!.. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я — новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками самого обыкновенного буржуа, то есть настоящей свиньи... И что будто это порождение последних дней... Это недурно! А главное, изречение!

И тоном Каменского Петр Алексеевич прибавил:

— «Ибо ради вас Имя Божие хулится у язычников!..» Как тебе это нравится?

Гриша молчал.

— Молчишь? — опять заговорил Петр Алексеевич. — Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай... подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь... Непременно застрелись, если не станешь ничем иным, как иронизирующей свиньей!

Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве и деревьям. Мягкими переливами звучал под дождем голос иволги.

Гриша лежал на кровати и зло, загадочно улыбался...

1895

# Велга

Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим, взволнованным морем?

В туманной дали, на западе, теряются его темные воды; в туманную даль, на север, уходит каменистый берег. Холодно и ветрено. Глухой шум зыби, то ослабевая, то усиливаясь, — точно ропот соснового бора, когда по его вершинам идет и разрастается буря, — глубокими и величавыми вздохами разносится вместе с криками чайки... Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане, качаясь по холодному ветру на упругих крыльях? Это к непогоде.

День с самого утра хмурится. Здесь, на этом неприветливом северном море, на его пустынных островах и побережьях, круглый год ненастье. Теперь же осень, а север еще печальнее осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-железного цвета. Издали необозримая равнина его кажется выше берега, она уходит в туманный простор на запад, а ветер все быстрее гонит с запада волны и далеко разносит крик чайки.

— Кри-э! — жалобно и пронзительно звучит по ветру.

Утром она беспокойно и криво летала над самым прибоем. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло берег. Здесь оно, налетая на него с грохотом и шумом, рыло под собою гравий, там, как кипящий снег, рассыпалось с шипеньем и широко излизывалось на берег, но тотчас же скользило, как стекло, назад, подпирая собою новый крутящийся вал, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось в воздух. И далеко гудел берег от прибоя... Чайка с криком бросалась между волнами, плавно скользя по воде в их ухабы, выносилась на новой волне до высокого гребня и влетала вся в брызгах и пейс. Ветер вольно носил ее низко над морем.

Но потом она словно устала. Надвигается ненастный вечер, и бессильно качается чайка по ветру, все дальше уходит, белея в тумане, от берега в море... Слышишь, как жалобно раздаются ее радостные стенания?

Вот она уже еле-еле виднеется в сумраке. Быстро спускается темная бурная ночь; чаще и чаще мелькают в море седые космы пены.

Шум прибоя растет, ледяной ветер вздымает и бешено срывает волны, разнося по воздуху брызги и резкий запах моря.

— Кри-э!.. — доносится откуда-то издалека, снизу.

Слушай, я расскажу тебе, под шум бушующего северного моря, старую северную легенду.

## I

Было это давно, в незапамятное время.

У холодного северного моря жила молодая и сильная Велга. На закат были воды, на восток — песчаный берег, близко за селением сходявшийся с небом. Что было там, к востоку, Велга не знала и не хотела знать. Она никогда не ходила к востоку. Не ходил и отец ее, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггар. Они знали только море.

Возле моря прошло детство Велги. Быстро прошло оно, и весело было ей в детстве! Зимой, когда море только под самым краем неба чернело волнами, а у берегов было покрыто белым снегом, Велга спала в мягком гагачьем пуху и, просыпаясь, видела перед собой живой свет очага среди темной и низкой хижин-

ны. Летом, когда светит солнце, дует теплый ветер и вода легко плещется в море, Велга искала на песках яички зуйков и плавунчиков или бегала к прибою, ложилась ничком на берег, а волны с шумом обдавали ее... Так забавлялась она летом, и всегда с Велгой были Ирвальд и Снеггар.

Толстая Снеггар часто смеялась и пела, да не умела она так звонко кричать и так смело кидаться в шумящее море, как Велга. Но Ирвальд умел, и раз Велга сказала ему:

— Отчего ты не брат мне, Ирвальд? Отчего у меня нет брата, которого я любила бы так, как тебя, Ирвальд? Я бы не скучала без тебя долгую зиму.

Он взглянул на нее, улыбнулся и вдруг кинулся к морю.

— Смотри, смотри: гагара! — закричал он ей.

И они, как истер, гнались друг за другом, убегали туда, где в прибрежных пещерах звонко раздается голос, где у берега громоздятся высокие скалы, а тяжелая вода с шумом поднимается и скользит между ними, шипит и кипит, опускаясь, и с журчаньем, струями

сливается с плоского камня. Там дразнили они волны, близко подбегая к ним...

Зачем так быстро прошло детство Велги?

Все нетерпеливее проводила она долгие зимы в хижине, занесенной снегом. Стало ей четырнадцать лет, а Ирвальду — шестнадцать, и часто уходил он теперь за рыбой в море. Но зато как радовалась Велга, когда Ирвальд возвращался!

— Милый Ирвальд, — говорила она ему, — мне хочется плакать, что так долго тебя не было, и хочется смеяться, что я опять вижу тебя!

Но уж выросла и Снеггар большая. Ирвальд забывать стал о Велге. Он часто сидел возле Снеггар и глядел в ее веселое лицо. А Велга издали следила за ними. Не хотелось ей при сестре разговаривать с Ирвальдом. Но, когда он уходил по берегу к своему дому, Велга догоняла его и провожала до самого порога.

— Милый Ирвальд, — говорила она ему, — зачем ты так долго сидел возле Снеггар? Зачем горе мешает моей радости?

И стала Велга петь на берегу моря звонкие песни сквозь слезы. А когда с ней встреча-

лись подруги, она замолкала, и лицо ее стало сурово и гордо.

## II

Хижина отца Велги стояла вдалеке от рыбацкого селенья, на каменистом побережье, засыпанном жесткими песками, и в часы прилива море добежало до ее порога.

Если же прилив был в бурю, то оно хлестало даже в окна, затянутые кишками гагары. Тогда Снеггар обрывала песню, бросала в испуге работу и уходила от окон, Старая мать Велги бормотала заклятия и с тревогой прислушивалась к завыванию ветра. Но сама Велга не боялась бури. Она вместе с отцом выходила на мокрый порог хижины, скатывала на ветру сети, а потом вбегала в воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босые ноги, обдавая их шипящею, серою пеной и опутывая мокрыми бледно-зелеными травами. Велга разрывала их ногами и вдыхала сильной грудью свежий, влажный ветер, поднимала навстречу ему голову, а ветер трепал ее русые волосы. Так стояла она, молодая и стройная, и лицо ее было смело, бирюзовые глаза зорко глядели вдаль. Но

только птицы св. Петра носились там крикливыми стаями и по воде взбегали, распутив крылышки, но самые высокие гребни взмывающихся и рассыпающихся водяных бугров.

Девушки стали называть Велгу печальнойю и злою, потому что никогда не смеялась Велга и не пела с сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лет не бывала Велга печальнойю и злою. Сердце ее было отважно, как у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою девичью свободу. Только без Ирвальда грустила она: сильно хотелось ей рассказать ему, как хорошо жить на свете.

Ирвальд давно был в море. Утомилась Велга ходить по побережью и следить за волнами: хотелось ей крикнуть через море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггар, если Велга не может жить без него.

А когда подул теплый ветер с заката и стало опускаться к морю солнце, Велга пришла к сестре и сказала ей:

— Милая Снеггар, хочешь, я расскажу тебе,

как ласков летний ветер, как легко пахнет море водой и как мне грустно без Ирвальда?

— Не хочу, — отвечала Снеггар, празднично и спокойно сидя у порога.

Велга ушла от нее, села на берегу и долго слушала, как плещется теплая вода в сумерках. Слезы, как теплая вода, падали на ее руки.

Увидав Ирвальда, она вскрикнула, а он засмеялся и приказал ей носить из лодки рыбу и сети на берег. Она послушно и долго трудилась с ним, а когда стал подниматься над морем большой бледный месяц, она утомилась, села в пустую лодку и вздохнула ночным ветром.

— Ирвальд, — сказала она, — я ждала тебя — и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но когда ты приехал, так легко стало мне!

А Ирвальд сидел, глядел на месяц. Стыдно стало Велге, что он не ответил ей, и она, опустив глаза, спросила его тихо:

— Ты слышал мои слова, Ирвальд?

— Да, — сказал Ирвальд.

И тогда совсем низко наклонила Велга го-

лову и проговорила:

— Возьми меня в свой дом, Ирвальд! Я буду ходить с тобой в море, буду петь тебе песни и работать с тобой. Так сладко жить на свете с тобой!

— Мы никогда не будем жить с тобой, — твердо ответил ей Ирвальд. — Завтра я опять уйду в море, а когда вернусь, возьму за руку Снеггар. Вместе проведем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары.

— А я? — медленно сказала Велга и почувствовала, как тяжело застучало ее сердце. — Я останусь одна? — громко сказала Велга.

— Да, — ответил Ирвальд.

Тогда Велга быстро прыгнула на берег и быстро пошла по берегу. И когда далеко ушла, кинулась на серый камень и закричала месяцу, что ей больно в сердце, и зарыдала, и упала на камень.

### III

Слышишь, как дико завывает ветер во мраке? Неприветливо северное море!

Осень наступила наутро, и зашумели в тусклом тумане отяжелевшие волны. И когда пахнуло на Велгу холодным ветром, вскочила

она и бросилась в воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берег.

— Море не хочет, чтобы я умерла, — сказала себе Велга. — Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щеках ее слезы, и спокойно было ее суровое лицо, но темно на сердце.

— Снеггар, — сказала она сестре, — уехал Ирвальд?

— Да, — отвечала Снеггар.

— Когда вернется он? — спросила Велга.

— Когда начнет падать мокрый снег и потемнеет море, — отвечала Снеггар.

Тогда Велга съела рыбы и ушла на порог хижины. Там села она на ветру и просидела весь день, скорбно сдвинув брови. На ночь она вернулась под кровлю, а утром опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И так проводила она дни и ночи, пока не пошел первый, мокрый снег.

«Скоро вернется Ирвальд, — думала Велга, сладостная горечь обиды томительно вливалась в ее сердце. — Я убью его, а потом и сама успокоюсь в могиле».

Но Иркальд не возвращался. Уж надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься с порога и, стоя, напряженно глядеть в море. И в сумерках из хижины вышел старый отец Волги. Ветер развеивал его длинные седые волосы.

— Велга, дитя мое, — сказал он ласково, — отчего ты покинула родной дом? Вот поднимается зловещая ночная буря, перед которой неутешно тоскует сердце человека. Помоги мне укрепить подпорками стены, положить камней на кровлю из кожи тюленей, и укроюсь под кровлю от непогоды и ночи.

От нежных слов дрогнуло сердце Велги жалостью к самой себе, к отцу и к Ирвальду. Она поспешно стала помогать в работе. Ветер валил их с ног и застилал весь воздух водяною пылью, словно в море бушевала вьюга. В самые окна хлестали волны косматой пеной, и в испуге поспешила Велга под кровлю.

Там, в темноте ночи, вдруг вспомнила она, как много лет тому назад, когда Ирвальд был еще ребенком, он остался ночевать в их хижине. Он был в эту ночь ее гостем, и она сама постлала ему постель и поцеловала его, по

обычаю гостеприимства, перед сном. Она вспомнила милое ей лицо его, и еще больше овладели ее сердцем жалость и любовь к нему. Тогда она, забыв, что хотела убить его, быстро встала с ложа и в тревоге стала слушать. Ей чудились в шуме ветра его крики, и всю ночь трепетала она от страха и, обессиленная, забылась сном лишь под утро.

Море же стало стихать; в воздухе повеяло дыханием зимнего мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свет дверь дома, навстречу ей переступила порог Снеггар.

— Велга! — сказала она. — Буря унесла Ирвальда на дикие острова Ледяного моря и разбила его лодку. Он один теперь в море и ждет смерти от холода, голода и толстых клювов морских птиц.

— Кто сказал тебе? — крикнула Велга.

— Я была у вещей Чарны, и она гадала мне на кишках гагары, — отвечала Снеггар и, закрыв лицо руками, стала плакать.

— Снеггар... — нежно хотела проговорить Велга.

Но брови ее сурово сдвинулись, и она силь-

ной рукой распахнула дверь дома.

## IV

Она быстро пошла по побережью на север. В холодный темный вечер иступила она и хижину Чарны, теплую от костра, пылающего красным пламенем.

— Научи меня, о вещая! — воскликнула она перед Чарной. — Укажи путь к Ирвальду!

— Поспеси! — сказала Чарна. — Два дня и две ночи надо плыть к Ирвальду. Не поспеешь к рассвету третьего дня — он погибнет. Но скажи мне, Велга, слыхала ли ты о пустынях Ледяного моря, где так же дико и печально, как в первые дни мира?

Как пойманная рыба, затрепетало сердце Велги.

— Пожалей меня, Чарна, — отвечала она. — Горько мне расстаться с жизнью. Но, если так надо, скажи: что будет со мной?

— Два дня и две ночи проведешь ты в тоске и страхе среди моря, — сказала Чарна. — А когда ступишь на остров, где томится Ирвальд, обратишься ты в чайку, и не узнает он, для кого ты погибла.

Как первый снег, побледнела Велга, но гла-

за ее сверкнули радостью, и она отвечала Чарне:

— Я иду, Чарна!

— Поспеши, — сказала Чарна.

Против ветра, по мокрому песку прибрежья побежала Велга к шумящему, темному морю. Хотелось ей крикнуть «прости» сестре, отцу и матери, но беспокойно билась у берега лодка на волнах, и быстро прыгнула в нее Велга. На закат, где едва светила кровавая полоса зари, направила она лодку и стояла, качаясь на волнах, и слезы горели на ее глазах, а ветер развеивал в темноте ее белую одежду и дул в лицо с Ледяного моря.

## V

На рассвете увидела она себя окруженной бледным морем у песчаного пустынного острова. Никого не было на том острове. Только вода взбегала на его песок и белела пеной. «Водяные пастушки» на высоких и тонких ногах бегали у прибоя и искали среди раковин пищи. Но и «водяных пастушков» было мало. На зиму улетают они к берегам, где дуют теплые ветры.

А Ледяное море уже начиналось. Целый

день плыла Велга и вступила в те безграничные воды, что уходят на край света и сливаются с небом. Все тяжелее стучали волны в дно лодки, потому что уже нет земли под теми волнами. Дикае северные птицы живут в тех морях, вдали от людей, на скалистых островах. Они сильны и одеты плотным пухом; они нею зиму могут плавать среди льдов и глубоко ныряют в ледяную воду. Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах, под утесами. И в сумерках проплывала Велга мимо самого большого острова.

Он весь, сверху донизу, был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками

без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки и Велга, обесиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых, тысячи их поднялись с шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга... И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку.

И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий и дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул бурунов сливался там с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обесиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок.

— Ирвальд! — крикнула Велга страстно и звонко.

От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги

земли, когда она прыгнула с лодки на берег: в воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, — голос друга коснулся его сердца, — но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой...

Он уплыл на восток. Она долго вилась над водой, провожая Ирвальда. А когда он сокрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и доньше, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.

1895

# Без роду-племени

## I

С вечера я спал крепко, потому что слишком измучился за день, но потом мне стало сниться, что я иду по каким-то станционным дворам и запасным путям, среди паровозов и вагонов, ищу мужа Зины и хочу непременно убедить его, что я вовсе не враг ему. Я любил Зину, но теперь не думаю о себе, желаю только ее счастья. Казалось даже, что я говорил ему это, но он все уходил от меня, и я плохо его видел, а моя нежность к Зине возрастала, все кругом темнело, странно вытягиваясь коридором, и вот этот коридор — слабо освещенный, насквозь видный ряд вагонов — уже бежит, дрожа подо мною, и какая-то красивая девушка, перебивая мои слова веселым шепотом, зовет и уводит меня за руку все дальше по узкому коридору поезда. Я едва успеваю за нею, в поезде темнеет, вагоны бегут, увлекая меня за собою, — падают все ниже и ниже, точно сама земля падает под ними, и радость, страсть и отчаяние достигают во мне такого напряжения, что я делаю усилие крик-

нуть — и просыпаюсь.

Так начался этот день. Очнувшись, я долго и тупо глядел на стену, изумленный спокойным видом комнаты. Давно день, ставни открыты, и на часах — половина десятого... Боже, какой тяжелый вздор снился мне! И что это напоминает он неприятное и как будто неестественное? Ах да! Зина повенчалась вчера с Богаутом...

Вот теперь я уж твердо верю в это. Правда, я ждал этого — и все-таки продолжал ходить к Соймоновым. И вдруг однажды вечером — темнота и тишина во всем доме; старик Соймонов один сидит в темном кабинете, усиленно курит, задыхаясь более обыкновенного, и говорит мне, как только я появляюсь на пороге, неестественно равнодушно:

— А Катерина Семеновна с Зиной по лавкам поехали.

И, попыхтев, продолжает иронически:

— Великое переселение народов, что называется... К семейному торжеству готовимся... Нынче, знаете, весьма скоропалительно выходят эти истории!

Он хочет смягчить свои слова иронией, но

я понимаю его и стараюсь только об одном — лучше попадать ему в тон, чтобы поскорее и поприличнее уйти.

И я ушел, пришибленный, точно выгнанный из дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивал в себе злобу, презрение к этим свадебным приготовлениям. Я бродил по городу и, когда однажды встретил жениха, проехавшего с какими-то картонками в коляске, остановился и расхохотался. Катается на чужих лошадях и доволен! Как домой, является в чужую семью, где портнихи и белошвейки завалили все комнаты материями и выкройками!.. А потом будут сумерки, освещенная церковь, суэта около паперти... Подкатывают кареты, и щеголь-пристав горячится, чтобы сохранить порядок в этой церемонии... И церемония совершается в образцовом порядке!

Но даже попытки злиться не удавались мне. Я ходил на службу, и тоска, боль дурманили мне голову. А тут еще Елена! Она одинока, измучена беганьем по урокам, бросила семью и живет впроголодь; но зато у нее есть цели и надежды, мечты о курсах, о науке, о

работе для общества. У меня нет пока никаких целей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда резко-бодрая, она изменилась за последнее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я заявил ей третьего дня о своем отъезде, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потом неловко и кротко улыбнулась и, едва выговорив: «До свидания», — ушла... Я рассеянно посмотрел ей вслед.

Но вот эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережил в воображении все, что должно происходить в церкви, и жгучая злоба, ревность разрывали мне сердце. Я плакал и кого-то умолял сжалиться надо мною... Если бы вошла она в эту минуту! Я обезумел бы от счастья, целовал бы ее ноги! Иногда я порывался бежать к ней и у нее искать спасения от моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнате... Потом острая боль стала замирать. Совсем стемнело; затихающий гул соборного колокола медленно и ровно раскачивался над городом. Я знал, что все уже кончи-

лось там, в церкви. Острую боль заменила тупая, скучная, и я крепко заснул.

Вот опять день, но мне теперь легче. То, что снилось, так странно слилось со всем пережитым за последнее время. Надо встать, собраться и куда-нибудь уехать...

## II

Я долго мылся холодной водой, потом, не спеша, стал одеваться, что-то обдумывая. За стеной малороссийской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатил по немощеной мостовой извозчик; стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мне бы тоже давно пора идти — на службу, но я уже давно бросил думать о службе.

— Вы ж, панычу, справди уедете сегодня? — спросила Одарка, входя в комнату с кипящим самоваром в руках.

— Что? — машинально проговорил я и, помню, долго глядел на нее без ответа. «Да, — думал я, — Зина уедет сегодня с мужем в Крым. Значит, мне тоже надо уехать отсюда».

— Непременно уеду, — ответил я твердо. — Непременно.

И, как только Одарка скрылась, заварил чаю и несколько раз прошелся из угла в угол, оглядывая, с чего начать сборы в дорогу. Но вдруг дверь снова распахнулась: почтальон!

Я быстро схватил письмо — и мгновенно разочаровался. «Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Елена». «Какое бабье письмо!» — подумал я со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что я могу сказать ей? Взволнованный, я кинул письмо на стол и опустился в кресло.

День облачный, ветреный — стоит уже конец сентября, — и ветер проносит по улице пыль и листья. В открытую форточку долетает тревожный шум тополей. Улица, где я так однообразно провел почти два года, безлюдная, тихая и вся в деревьях. Деревья на бульваре и около тротуаров — старые и развесистые. Теперь они шумят сухой листвою; ветер гонит облака пыли и качает их из стороны в сторону... А пять месяцев тому назад, в теплые апрельские дни, они кудрявились нежной, мелкой зеленью, голубое небо сияло между их вершинами, и я бродил под ними по мягкой, влажной земле, чему-то радуясь!

Пять месяцев... И мне хочется твердо и определенно сказать себе, что я очень глупо провел эти пять месяцев. Убедить себя в этом мне тем легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдом вспоминаю все, что говорил ей.

В марте образовался у нас «музыкально-драматический кружок», и я сам написал об этом событии корреспонденцию в «Летопись Юга». Корреспонденции увеличивают мое жалованье в земской управе рублей на восемь, на десять в месяц, и я аккуратно сообщая в «Летопись» обо всех выдающихся городских событиях. С кривой улыбкой я пишу газетным жаргоном о положении народной столовой и чайной, о полковых праздниках и дамском благотворительном кружке, о доме трудолюбия, где бедные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены под конец этой жизни выполнять идиотскую работу — трепать, например, мочало... Пишу о том, что сельскохозяйственное общество «заслушало» и «передало в комиссию» чрезвычайно любопытный доклад под заглавием: «К вопросу об урегулировании свино-

водства», и тут же добавляю, что «нельзя не отметить и другого отрадного факта: в среде местного интеллигентного общества, по инициативе супруги начальника губернии, возникла благая мысль организовать в нашем богоспасаемом городке кружок с целью проведения в жизнь и доставления публике здоровых и разумных развлечений...». С той же улыбкой я отправился и в дворянский клуб, на один из вечеров «кружка», в качестве скрипача, участвующего в концерте.

Утомленный однообразной зимней жизнью — службой, обедами в кухмистерской и скучными вечерами в своей студенческой комнатке, где всегда пахнет дешевым глицериновым мылом и где вся мебель состоит из стола, кровати, двух-трех стульев и плетеной корзины, — я был возбужден клубом. Я был доволен, что меня знакомят с семьями вице-губернатора и председателя суда, с чиновниками особых поручений и с богатым молодым помещиком Вечесловым, который так хорошо играет в любительских спектаклях... Все они такие свежие, бодрые, и все хотят незаметно обласкать тебя... В клубе — светло,

просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнет дорогим табаком, и оживленно идет говор. А главное, я не чувствую себя лишним на этот раз: я сыграл, как настоящий скрипач, одну вещь грустную, нежную, похожую на колыбельную песенку, а другую — бойкую, в темпе мазурки, с резкими ударами смычка, — исполнил все, что полагается, и был одобрен... Вот тут-то и состоялось мое знакомство с Соймоновыми.

Все они мне понравились: и сам доктор, пожилой человек, похожий на помещика, с одышкой, и его жена, болтливая, молодящаяся дама, и ее падчерица, Зина, высокая девушка с темно-синими глазами и длинными ресницами.

— Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная? — сказал Александр Данилыч, подводя меня к дочери. — Я вот тебе еще жениха привел. Сергей Николаевич Ветвицкий.

— Ну, садитесь и рассказывайте, — проговорила Зина. Она улыбнулась и подняла ресницы, но только на мгновение перевела глаза на меня, а потом снова стала равнодушно глядеть в сторону, сидя прямо и машинально иг-

рая веером.

Я спросил:

— С чего начать прикажете?

— В качестве жениха — с того, кто вы таковой, откуда? «Имя, родина, родные?»

— Зовусь Магометом я, — сказал я с шутливой грустью.

— Полюбив, мы умираем? — добавила Зина.

Потом пристально и задумчиво посмотрела на меня.

— Вы не декадент? — спросила она.

— Почему? — ответил я, невольно смущаясь от ее взгляда.

— Да так... про вас ходят слухи, что вы нелюдим, гордец... потом у вас такое лицо...

— Какое? — спросил я живо.

— Больное, — ответила Зина, подумав. — Вы больны?

Я посмотрел на ее глаза и губы, на все ее красивое тело высокой и уже вполне развившейся девушки, услышал запах ее духов...

— Болен, — ответил я шутливо, с болью чувствуя все обаяние ее.

— Чем?

— Жаждой того, чего у меня нет, — сказал я. — А хочу я многого... Любви, здоровья, крепости духа, денег, деятельности...

К удивлению моему, она, помолчав, быстро и серьезно ответила:

— Я очень понимаю вас. У меня тоже ничего нет. Только не нужно говорить об этом...

Я хотел что-то возразить, но удержался и только с радостью почувствовал, что между нами уже установилась какая-то тонкая связь.

— Ну, а почему же вы думаете, что я гордец и нелюдим? — спросил я.

— Потому что у вас очень надменный и грустный взгляд, — сказала Зина. — Мне кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоист.

Я был задет за живое, но опять сдержал себя и стал говорить полушутливым тоном:

— Может быть... Кого любить? За что?

— Виновата, — вдруг сказала Зина. — Мне нужно подойти к тетушке.

И она с приветливой и радостной улыбкой пошла навстречу старухе, сопровождаемой белокурый и женственным молодым челове-

ком, — старухе с лошадиным лицом и совиными глазами, которые посмотрели на меня очень удивленно. Я, как истый пролетарий, опять почувствовал себя лишним и надулся. А когда Зина вернулась ко мне, начал при-творно-лениво и очень некстати глумиться над жандармским полковником, над любительницей-певицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной девушкой, над виолончелистом...

— Посмотрите, — говорил я, — какой он маленький, плюгавый. Лицо — конфетное, но зато волосы совсем как у Рубинштейна...

— А это кто, не знаете? — продолжал я, все более раздражаясь и все более желая вовлечь ее в разговор. — Вот тот пожилой господин с артистической наружностью и лицом алкоголика? Посмотрите, как у него запухли глаза и как он смотрит всегда — точно сонный, с холодным презрением. Это настоящий клубный посетитель, и про него непременно говорят, что он — умница, золотая голова, только спился, опустился и должен всем...

— Это Алексей Алексеевич Бахтин, мой дядя, — ответила Зина с неловкой улыбкой.

### III

Таков был первый вечер. Однако я часто начал бывать у Соймоновых, и Зина сперва радовалась мне. Мы даже говорили друг другу, что мы — большие друзья, но что-то мешало нашей дружбе: общее у нас было одно — жажда жизни, — в остальном мы были чужды друг другу. Это я чувствовал больше всего, когда у Соймоновых собирались гости. Наши разговоры, — даже наедине, — не удовлетворяли меня. Наступили апрельские дни, мне хотелось куда-нибудь за город, в степь... Но она неизменно отвечала:

— Я вовсе не хочу, чтобы мы сделались басней города. Вот соберемся как-нибудь компанией. Вы ведь все равно знаете, что я только для вас поеду.

И я ограничивался тем, что провожал ее в лавки или в народную чайную, где она, в числе других дам-благотворительниц, дежурила по пятницам. А вечером я один уходил за город, к вокзалу за реку или в городской сад, где еще не началась летняя ресторанный жизнь.

По вечерам в саду совсем никого не было. Чистый весенний воздух холодел, в пустынь-

ном, еще черном саду казалось, что стоит ясный октябрьский вечер. Только звезды по-весеннему ласково теплились над вершинами деревьев и соловьи в чащах пробовали свои голоса. Резко пахло пробивавшейся из земли травой и самой землею — холодной и влажной... Дома же я до поздней ночи играл у открытого окна на скрипке, и скрипка звонко и жалобно пела в лад с моим сердцем.

Потом было одно время, когда Зина резко изменилась ко мне. В середине мая подготовительные управские работы к экстренному собранию не позволяли мне ходить к Соймоновым. И вот как-то в воскресенье я сидел в своей комнате и спешил окончить кое-какие статистические выкладки. С самого утра перепал теплый, золотой дождик, и обмытая им майская зелень, и самый воздух, казалось, модели от него. Гром рокотал то в той, то в другой стороне, но поминутно, между клубами дымчатых и белых облаков, вздымавшихся по небу, сияла яркая лазурь и выглядывало жаркое солнце. Я засмотрелся в окно, на голубые лужи под деревьями, как вдруг мимо окна быстро прошла Зина. С минуту я сидел

неподвижно, изумленный ее появлением, потом схватил шляпу и кинулся на улицу... Ах, какой это был славный день!

— Мне было грустно без вас, — говорила Зина, смущенно улыбаясь, — я сама, наконец, решилась идти к вам.

И я в упоении целовал ее душистые руки с колючими перстнями и не знал, что сказать ей, от счастья...

А потом я не знал, что сказать, от сомнений. Я по целым ночам обдумывал на тысячи ладов, что может выйти из моего брака с Зиной. «Мы разные люди, — думал я, — она даже малоинтеллигентна. Наконец, у нее ничего нет, и куда я возьму ее? В эту комнату?»

И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводил у Соймоновых... Да и любил ли я ее?

Помню, в один холодный и дождливый вечер мне было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывал журнал, нашел чье-то стихотворение:

*Укор ли нам неся, прощальный ли  
привет,  
Как дальних волн прибой, осенний*

*ветер стонет...*

— Не правда ли, хорошо? — спросил я, прочитав эти две строки.

— Да, красиво, — ответила Зина.

— А по-моему, — сказал Александр Данилыч, — все это собачья старость и больше ничего.

Зина звонко расхохоталась...

А тут у Соймоновых почти каждый день начал бывать помощник присяжного поверенного Богаут, молодой человек, здоровый и жизнерадостный, как немец, всегда и со всеми любезный и ласковый. Я же стал проводить вечера в обществе Елены, милой и простой девушки из духовного звания. Мы ели с ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военного оркестра, доносившуюся из сада, и говорили о марксистах и народниках... О чем ином мы могли говорить с ней? Что-то очень милое было в ее простом, русском лице, что-то трогательное было в ее открытом взгляде и в том, как она, доставая из кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои стриженные волосы на косой ряд. Но я уже замечал, что она мою товарищескую нежность

и нашу выдумку говорить на «ты» начинает принимать за любовь. Я смеялся и над марксистами, и над народниками, говорил, что я мог бы стать общественным человеком только при исключительных условиях, например, если бы настали дни настоящего общественного подъема, или если бы я сам хоть немного был счастлив лично... Она смотрела на меня в такие минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моих слов о личном счастье, о тоске существования среди поголовного мещанства, говорила задумчиво и убежденно:

— Ты не понимаешь самого себя...

#### IV

В надежде, что она придет как раз в мое отсутствие, я отправляюсь в кухмистерскую обедать.

В самом деле, какой скучный день! Прохожих мало, белые каменные дома в пыли. Ветер несет по мостовой эту белесую пыль и шуршит на бульварах тощими и почерневшими акациями... Вот присутственные места на площади, вот главная улица. Тут больше прохожих и проезжих; возле магазинов эки-

пажи... Мне же все кажется, что в городе — праздник, потому что Зина вчера повенчалась и сегодня делает с мужем визиты... Шибко прокатил на паре серых, бойких и злых лошадей полицеймейстер. Пристяжная круто отвернула от коренника голову, полицеймейстер весело оглядывается, по-офицерски заложив руки в карманы. Это он к Соймоновым, должно быть... И я бессознательно прибавляю шагу; сердце забилося сильнее, и тянет еще раз взглянуть на их дом...

Но зачем?

И, преодолев себя, я сворачиваю на тихую Старо-Замковую улицу, где уже второй год обедаю в польской «кондитерской».

Я быстро подошел к дверям — и внезапно струсил. А если тут Елена? Ведь часто случилось, что мы обедали вместе. Может случиться и сегодня...

В нерешимости я прошел мимо окон, заглянул в столовую. В столовой пусто, значит, можно идти смело...

Но невеселые мысли и тут преследовали меня.

Знаете вы этих забитых трудом и бедно-

стью старушек, которые встречаются иногда на улицах, в кухмистерских и присутственных местах в дни выдачи пенсий? Почему-то все они маленького роста, ходят в стареньких бурнусах и убогих шляпках, смотрят на все робкими, недоумевающими глазами и возбуждают мучительную жалость своим покорным видом... Как нарочно, и сегодня одна из них тут.

Я старался глядеть только в тарелку, но не мог забыть о своей соседке. «Верно, — думалось мне, — она дает уроки языков или музыки, живет одна в чистой комнатке, где горит лампадка в часы ее недолгого отдыха, когда темнеет субботний вечер и тихо реет над городом звон ко всенощной... Чувствует ли она, как горько на старости лет, без семьи, без близких, отдыхать только в субботний вечер? Знает ли она, как тяжело глядеть на нее, когда плетется она в своем старом бурнусе с урока в кухмистерскую или вечером в лавочку за осьмушкой чаю?»

Дома я усердно принимаюсь за уборку вещей в дорогу. Но какие же у меня вещи?

Я открыл корзинку, в которой в беспоряд-

ке навалено белье, выдвинул из-под кровати чемодан с письмами, бумагами и нотами — и опустил руки.

Тут все мои воспоминания. Этот чемодан — мой старый товарищ. В первый раз он отправился со мной в путешествие еще тогда, когда я только что «вступал в жизнь», ехал на юг в университетский город.

Удивительно живо помню я эти дни в пути! Помню даже, как смотрелся в зеркало на вокзале в Курске и думал, что похож на Шопена; помню, как по вагону ходили полосы света и тени — от яркого мартовского солнца и клубов дыма, плывущих мимо окон. Снежные поля блестели золотой слюдой, сияющая даль манила к югу, к чему-то молодому и веселому... А потом — большой, шумный город, весна, во всем что-то нежное, легкое, южное... Северный уездный городок, где осталась моя семья, разорившаяся помещичья семья, был от меня далеко, и я не понимал тогда, что потерял последнюю связь с родиной. Разве есть у меня теперь родина? Если нет работы для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной — своего угла, своего

пристанища... И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал бродягой в поисках работы для куска хлеба, а свободное время посвятил меланхолическим размышлениям о жизни и смерти, жадно мечтая о каком-то неопределенном счастье... Так сложился мой характер и так просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взгляде на этот истрепанный чемодан я опускаю руки, подавленный воспоминаниями. Каждый раз, как мне приходится укладывать в него мой скарб, я говорю себе: вот еще невозвратно прошло столько-то лет; еще часть моей жизни оторвана... И мне больно говорить это себе. Вспоминаются один за другим дни, проведенные в этой комнате, — дни, полные неопределенных, часто сладких надежд и мечтаний. Вспоминаются и далекие дни, те, что уже в тумане. О них говорят связки писем. Вот письма родных, которые где-то там, на севере, все еще ждут меня к праздникам и грустят обо мне с нежною любовью, как о мальчике... Вот письма первой любви, первых товарищей... И при взгляде на

каждое из них у меня сжимается сердце.

Резкий звонок заставил меня быстро вскочить с кресла и кинуться к шляпе. Елена! И я заметался по комнате, готовый даже выпрыгнуть в окошко. А между тем уже слышен ее голос:

— Дома Ветвицкий?

Я распахнул дверь, пробежал через кухню, а оттуда — по двору к калитке...

## V

До позднего вечера я бродил за городом.

Кругом было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмые тучи, ветер усиливался, и сухой бурьян летел по пашням в неприветную, темную даль. И на душе у меня становилось тоже все темнее и темнее.

В смутном, волнующемся сумраке городского сада я сидел под старыми деревьями на забытой скамейке. Вот где, думалось мне, уныние теперь — на кладбище! Разве в смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть — ничто, пустота. И только одним этим и пугает нас смерть. И на кладбище так же: сумерки, ни души кругом; могилы и могилы, заросшие травой; трава теперь высохла,

пожелтела и тихо шелестит от ветра...

«А где Елена?» — приходило мне иногда в голову.

Я вдруг вспоминаю чью-то легенду о ветре и душах повесившихся людей и в испуге поднимаюсь со скамьи. Зачем я так скверно спрятался от нее? Зачем не поговорил с ней? Но что же я мог сказать ей? Это все равно, что мне отправиться сейчас к Зине...

Я опять сажусь и пристально гляжу в одну точку, стараясь охватить то, что творится в моей душе.

Звезды в мутном небе светят бледно и сумрачно. Ветер поднимает пыль на дорожках почти темного сада, и с деревьев сыплются листья. Точно напряженный шепот, не смолкает надо мною порывисто усиливающийся шум и шелест деревьев. А когда ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи гудят там так угрюмо, жутко...

Когда я наконец решил вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый ветром, я бессильно брел по улицам. Вот и наш домишко ярко светит окнами в

черном мраке под деревьями. Кругом шум ветра и листьев, а там тихо, и сухие ветки плюща сонно качаются над окном моей комнаты. В ней, за стеклами, спокойным, ровным светом горит лампа... Зачем я еду? Кто гонит меня в эту даль, где полутемный поезд, одинокая ночь и долгий замирающий стон паровоза?

В страхе я остановился.

— Елена! — хотелось крикнуть мне.

И, точно угадав мое желание, она неслышно вышла из темноты под деревьями.

— Можно к тебе? — спросила она деревянным голосом.

Я растерялся, смущенно пробормотал:

— Конечно... Конечно, можно...

В темноте я долго не мог попасть ключом в замочную скважину, наконец отворил дверь и неестественно-шутливо проговорил:

— Прошу!

— Я только на минутку, — ответила она сухо, входя в комнату и не глядя на меня.

Я подвинул ей кресло, сел против нее и взял ее за руку.

— Снимай, — сказал я ласково, указывая

глазами на перчатку, — посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдруг губы ее дрогнули и на глазах показались слезы.

— Елена! — сказал я укоризненно.

Она не ответила. Я повторил свои слова, но уже без нежности и пожал плечами.

— Елена! — снова начал я с раздражением. — Надо же взять себя в руки, — прибавил я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ее были стиснуты, в голубых глазах, пристально устремленных на огонь, стояли слезы.

Я с шумом отодвинул кресло, быстро застегнул на все пуговицы пиджак и, заложив руки в карманы, заходил по комнате. Но, повернув раза два или три, снова бросился в кресло и, прикрыв глаза, спросил с холодной насмешливостью:

— Что же тебе угодно от меня?

Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями. И, рыдая, комкая к глазам платок, заговорила отрывистым, резким голосом:

— Ты не смеешь так говорить!.. Как ты... смеешь... когда я... так... относилась к тебе? Ты обманывал меня...

— Зачем ты врешь? — перебил я ее. — Ты отлично знаешь, что я относился к тебе по-дружески. Но я не хочу вашей мещанской любви... Оставьте меня в покое!

— А я не хочу твоей декадентской дружбы! — крикнула Елена и отняла платок от глаз. — Зачем ты ломался? — заговорила она твердо, сдерживая рыдания и глядя на меня в упор с ненавистью. — Почему ты вообразил, что мной можно было играть?

Я опять резко перебил ее:

— Ты с ума сошла! Когда я играл тобою? Мы оба одиноки, оба искали поддержки друг в друге, — и, конечно, не нашли, — и больше между нами ничего не было.

— А, ничего! — снова крикнула Елена злобно и радостно. — Какой же такой любви вам угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня с собою? Я одна, меня ждет ужасная жизнь где-нибудь в сельском училище, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себе не мо-

жешь, как я вас ненавижу всех — неврастеников, эгоистов! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится в нечто необыкновенное!

— Да! — сказал я со злобою, подымаясь. — Я люблю жизнь, безнадежно люблю! Мне дана только одна жизнь, и та на какие-нибудь пятьдесят лет, из которых пятнадцать ушло на детство и четверть уйдет на сон. И при этом я никогда не знал счастья! Смешно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платок к глазам и зарыдала с новой силой.

— И поэтому ты... — заговорила она гадливо. — И потому ты сегодня так низко и спрятался от меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами...

Я с невероятной быстротой схватил пресс-папье и со всего размаху ударил им по столу.

— Уйди! — крикнул я бешено.

И мгновенно похолодел от ужаса за сделанное. Я увидел, как Елена вскочила, сразу оборвав рыдания, и лицо ее перекопилось от детского страха.

— Уйди! — закричал я опять, но уже дру-

гим, жалким голосом.

Она распахнула дверь, и ветер, как шальный, со стуком рванул к себе раму, с шелестом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лампы. Я упал на постель, уткнулся лицом в подушку и заскрежетал зубами, упиваясь своей скорбью и своим отчаяньем. Тополи гудели и бушевали во мраке...

1897

## **Поздней ночью**

Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнув-

шись, открыв глаза, я увидел себя в тихом и светлом царстве ночи.

Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледно-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, — вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.

Отчего она тоже не спала в эту ночь?

Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней... Да, поздно — вся пятиэтажная сте-

на противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я заглянул вниз, — узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого — печальный. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой...

Давно не видал я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынь-

ная ширь Балтийского моря. Вот — хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот — редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них — старый, серый помещичий дом, ветхий и кроткий при лунном свете... Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи...

— Отчего ты не спишь? — услышал я робкий голос.

И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо ответил:

— Не знаю... А ты?

И опять мы долго молчали. Месяц заметно

опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.

— Прости! — сказал я, подходя к ней.

Она не ответила и закрыла глаза руками.

Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.

— Но разве ты виноват? — шептала она смущенно. — Разве не я во всем виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье...

1899

# Поздней ночью

Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение? Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидел себя в тихом и светлом царстве ночи.

Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо. Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глу-

бине комнаты. Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледно-серебристыми арками, и в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, — вся в белом, похожая на девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас злыми и беспощадными врагами.

Отчего она тоже не спала в эту ночь?

Избегая глядеть на нее, я сел на окно, рядом с ней... Да, поздно — вся пятиэтажная стена противоположных домов темна. Окна там чернеют, как слепые глаза. Я заглянул вниз, — узкий и глубокий коридор улицы тоже темен и пуст. И так во всем городе. Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного на ущербе и оттого — печальный. Облака дымом

плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой...

Давно не видел я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним ночам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот — хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот — редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них — старый, серый

помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете... Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи...

— Отчего ты не спишь? — услышал я робкий голос.

И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце. Я тихо ответил:

— Не знаю... А ты?

И опять мы долго молчали. Месяц заметно опустился к крышам и уже глубоко заглядывал в нашу комнату.

— Прости! — сказал я, подходя к ней. Она не ответила и закрыла глаза руками.

Я взял ее руки и отвел их от глаз. По щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих, ни ее слез.

— Но разве ты виноват? — шептала она

смущенно. — Разве не я во всем виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

А я говорил ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповедь радости, для которой мы должны жить на земле. Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды. И только бледный, грустный месяц видел наше счастье...

1899

# Антоновские яблоки

## I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, с дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А "осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик". Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: "Много тенетника на бабье лето — осень ядреная"... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно

поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящички, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни коло шалаша — целая ярмарка, и за дере-

вьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-одноворки в сарафанах, сильно пахнувших краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», — косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а понева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою. — Переводятся теперь и такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яй-

цо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него "из милости", он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две

ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое созвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад.

Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле, дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать,глохнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одно-

стволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин. — Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

## II

"Ядреная антоновка — к веселому году". Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит" и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко бле-

стит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадей, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, — первый признак богатой деревни, — и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: "Да, — вот Ага-

фья восемьдесят три годочка отмахала!" — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка, — явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, трясая головой, задыхаясь и держась за скамейку руками, — все о чем-то думает. "О добре своем небось", — говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспом-

нить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая, — "совсем хоть в гроб клади". А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою каза-

лось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, — так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, — очень недавно, — имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем обедняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется, — так весело

в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взвьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, — совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше

сказать, длинной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могоканы дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил фореитором, а теперь возит ее к обеду, — зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горlinkами и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада, — ветви лип обнимали его, — был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, — так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз, — окнами с перламутровыми от до-

ждя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца, — два старых больших крыльца с колоннами. На фронте их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства, начинают появляться угощения: сперва «дули», ябло-

ки, — антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка», — а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас, — крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой.

### III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи.

Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живую сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: "Авось, бог даст, распогодится". Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял злоеущие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листья-

ми и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обветренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, покраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывает

ется со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

*Пора, пора седлать проворного  
донца  
И звонкий рог за плечи переки-  
нуть! —*

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошен-

ных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

"А, береги!" — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью изпод копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по

земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю, — по зеленым, взметам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадешь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднее и темнее... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами,

вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замель-

кают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле занает ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми эти образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожел-

тевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: "Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного"... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то "кавалера многих орденов" и напечатанная в типографии приказа общественного призрения, — рассказ о том, как "дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на просторном месте своего селения"... Потом наткнешься на "сатирические и философские сочинения господина Вольтера" и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: "Государь мой! Эразм сочинил в шестом-надесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с занятою); вы же приказываете мне превознести пред вами разум..." Потом от екатери-

нинской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот "Тайны Алексиса", вот "Виктор, или Дитя в лесу": "Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачные крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мрак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злостастнаго!.." И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, "проказы и резвости молодых шалунов", лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами: Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из "Евгения Онегина". И старинная мечтательная жизнь встанет перед то-

бою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

## IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищентства!.. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумер-

кам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнувшей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло илюдно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их drobный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с

голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоротке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво дотягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахам озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахоленные галки на гребне риги... Славный

будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по невозможному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с

носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суется под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи

окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

*На сумерки буен ветер загулял,  
Широки мои ворота растворял, —*

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

*Широки мои ворота растворял,  
Белым снегом путь-дорогу заметал...*

# Эпитафия

За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги, в хлебах, при начале уходящего к горизонту моря колосьев, стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами, береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий, серый голубец, — крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона Божией Матери.

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Когда-то тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с кровелькой, призвал попа и освятил «Покров Пресвятыя Богородицы». И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. В детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть

под его кровельку, — одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши матери шептали в темные осенние ночи:

— Пресвятая Богородица, защити нас покровом твоим!

Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается он, пока, наконец, не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народ называл их красиво и нежно — «пряжей Богородицы».

Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы! Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду, туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках. Нечистая сила часто скидывается ими, и было бы страшно в такие ночи, если бы за околицей деревни не было старого голубца. А с начала ноября и до апреля бури неустанно заносили снегами и поля, и деревню, и березу по самый голубец. Бывало, выглянешь из сеней в поле, а жесткая вьюга свистит под голубцом, дымится по острым сугробам и со стоном проносится по равнине, заматавая на бегу следы по ухабистой дороге. Заблудившийся путник с надеждой крестился в такую пору, завидев в дыму метели торчащий из сугробов крест, зная, что здесь бодрствует над дикой снежной пустыней сама Царица Небесная, что охраняет она свою деревню, свое мертвое до поры, до времени поле.

Поле долго было мертвым, но степные люди были прежде выносливы. И вот наконец крест начинал вырастать из оседающих се-

рых снегов. Обтаивала и горбатая унавоженная дорога, наступали теплые и густые мартовские туманы. От туманов и дождей чернели и дымились в сумрачные дни крыши изб... Потом туманы сразу сменялись солнечными днями. И все снежное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, блистало под солнцем, дрожа бесчисленными ручьями. В один-два дня степь принимала новый вид: по-весеннему темнели равнины, окаймленные бледно-синеватой далью. Выпускали шершавый скот из хлевов; обессилевшие за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгоне, а галки садились на их худые спины и дергали клювом шерсть для своих гнезд. Но дружная весна к хорошим кормам, — скот отгуляется по теплым росам! Уже пели жаворонки в ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали от ветров и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывал ее весенний дождь и пробуждал первый гром, Господь благословлял в тихие звездные ночи расти хлебам и травам, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядела из голубца старая икона. Тонко пахло в чистом ночном воздухе

зеленями, мирно было в степи, тихо в темной деревне, где уже не вздували огня с Благовещенья, и замирали по вечерней заре песни девушек, прощавшихся со своими обрученными подругами.

А потом все менялось не по дням, а по часам. Зеленел выгон, зеленели ветлы перед избами, зеленела береза... Шли дожди, протекали жаркие июньские дни, зацветали цветы, наступали веселые сенокосы... Помню, как мягко и беззаботно шумел летний ветер в шелковистой листве березы, путая эту листву и склоняя до самых колосьев тонкие, гибкие ветви; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, как истые потомки русичей, улыбались из-под огромных березовых венков; помню грубые, но могучие песни на Духов день, когда мы с закатом уходили в ближний дубовый лесок и там варили кашу, расставляли ее в черепках по холмикам и «молили кукушку» быть милостивой вещуньей; помню «игры солнца» под Петров день, помню величальные песни и шумные свадьбы, помню трогательные молебны перед кроткой Заступницей всех скорбящих, — в

поле, под открытым небом...

Жизнь не стоит на месте, — старое уходит, и мы провожаем его часто с великой грустью. Да, но не тем ли и хороша жизнь, что она пребывает в неустанном обновлении? Детство миновало. Потянуло нас заглянуть дальше того, что мы видели за околицей деревни, тем сильнее потянуло, что и деревня становилась все скучней, и береза уже не так густо зелене-ла весной, и крест у дороги ветшал, и люди истощили поле, которое охранял он. И так как беда не ходит одна, то само небо, казало-сь, стало гневаться на людей. Знойные и су-хие ветры разгоняли тучи, подымая вихри по дороге, солнце нещадно палило хлеба и тра-вы. Подсыхали до срока тощие ржи и овсы. Было больно смотреть на них, потому что нет ничего печальнее и смиреннее тощей ржи. Как беспомощно склоняется она от горячего ветра легкими пустыми колосьями, как си-ротливо шелестит! Сухая пашня сквозит меж-ду ее стеблями, видны среди них сухие ва-сильки... И дикая серебристая лебеда, пред-вестница запустения и голода, заступает ме-сто тучных хлебов у старой проселочной до-

роги. Нищие и слепые все чаще стали с жалобными припевами обходить деревню. А деревня безмолвно стояла на припеке — равнодушная, печальная.

Тогда, точно в горести, потемнел от пыльных ветров кроткий лик Богоматери. Проходили годы, — она казалась безучастной к судьбе своего поля. И люди мало-помалу стали уходить по дороге к городу, уходить в далекую Сибирь. Они продавали свой скудный скarb, забивали досками окна изб, запрягали лошадей и навсегда уходили из деревни на поиски нового счастья. И деревня опустела.

— Ни души! — сказал ветер, облетев всю деревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге.

Но береза не ответила ему, как отвечала прежде. Она слабо зашевелила ветвями и опять задремала. Она уже знала, что выгон в деревне зарос высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у порогов, что полынь серебрится на полураскрытых крышах. Степь вокруг была мертва, а десяток уцелевших изб можно было издалека принять за кибитки кочевников, покинутые в поле после

битвы или чумы. И голубец уже покосился под березой, на верхушке которой торчали сухие белые сучья. Теперь, в сумерки, когда за темными полями слабо алел закат, ночевали на ней только грачи да вороны, которые немало видели перемен на этом свете...

Вот новые люди стали появляться на степи. Все чаще приходят они по дороге из города и располагаются станом у деревни. Ночью они жгут костры, разгоняя темноту, и тени далеко убегают от них по дорогам. С рассветом они выходят в поле и длинными буравами сверлят землю. Вся окрестность чернеет кучами, точно могильными холмами. Люди без сожаления топчут редкую рожь, еще вырастающую кое-где без сева, без сожаления закидывают ее землю, потому что ищут они источников нового счастья, — ищут их уже в недрах земли, где таятся талисманы будущего...

Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь, — серый, упавший на землю крест будет забыт всеми... Чем-то

освятят новые люди свою новую жизнь? Чье  
благословение призовут они на свой бодрый  
и шумный труд?

*1900*

# Над городом

Глядя на колокольню снизу, с церковного двора, мы сами чувствовали, до чего мы еще малы, и было жутко немного, потому что облака в ясном весеннем небе медленно уходили от нас, а высокая белая колокольня, суживаясь кверху и блестя золотым крестом под облаками, медленно, плавно валялись на церковный двор — и крест был похож на человечка с распростертыми руками... Потом мы вперегонки кидались к узкой двери в колокольню.

Длинная, почти отвесная лестница тотчас же за дверью терялась в темноте. В темноте, стиснутые холодными кирпичными стенами, храбро лезли мы друг за другом вперед. Свет, как мы знали, должен был открыться внезапно — и правда, скоро впереди мелькал проблеск. Еще несколько шагов, поворот — и мы в низком помещении, бледно озаренном решетчатым окном. Над головой — тяжелый накат из бревен, перекрещивающиеся в пыли и паутине балки, на полу — целые вороха известкового птичьего помета, изогнутая мед-

ная купель среди кирпичей и мусора, суздальские облупившиеся иконы, кадило с оборванными цепями... Черничка-галка, с пухом в клюве, сидит на подоконнике и выжидательно косит одним глазом. Таинственно в этой старой кладовке! Но осматриваться некогда. Голоса и топот ног опередивших нас раздаются уже над нами, — звонко и весело, как всегда весной в колокольне. И, кинув несколько быстрых взглядов на мусор и балки, мы спешили по темным изломам лестниц дальше...

Вот наконец и первый пролет: сразу стало светло, просторно, в арки широко видно небо. Внизу — церковный двор, мощный камнем, красная крыша сторожки в углу ограды и береза у железных ворот... Хорошо глядеть на все это сверху — видеть у себя под ногами верхушку березы! С высоты все кажется красивее, меньше; двор после весенних дождей стал бел, опрятен, между его высохшими плитами пробивается первая травка, а верхушка березы закудрявилась легкими, прозрачными кружевами зелени, необыкновенно нежной и свежей. И как тепло! Выйдет солнце из-за об-

лака — чувствуешь на лице горячую ласку света. Воробьи на березе задорно зачиликают в этом блеске, извозчик, проезжающий мимо, хлестнет лошадь, — и совсем по-летнему затрещат по мостовой колеса...

— Идите сюда! — раздается чей-то крик сверху. И, переглянувшись, мы устремляемся к гнилой и крутой лестнице во второй ярус, более узкий и как будто более зыбкий, чем первый, и снова попадаем в полутемные недра колокольни, разделенные бревенчатыми потолками. Опять грубый и беспорядочный вид балок и лестниц, мешающихся в сумраке; опять холодок и запах кирпичных стен... Всюду запустение старой башни, все велико, покрыто пылью и птичьим пометом... Лестницы, под которыми валялись кирпичи и бревна, были шатки, колени у нас дрожали, сердце учащенно билось; но в узкие окошечки возле лестницы мы видели лазурь, высоту, к которой стремились. На подоконниках, на лестницах и балках сидели сытые голуби, сизые и «жаркие», и так как мы уже чувствовали себя в одном мире с ними, то нам было очень жаль, что они так поспешно, пугая и се-

бя и нас, рассыпались куда попало при нашем приближении, торопливо хлопая свистящими крыльями. Это, впрочем, не мешало им тотчас же опускаться на другие лестницы и снова начинать гулкое, сердито-ласковое воркованье, топчась на одном месте с раздувающимися зобами. А в одном углу сидела на яйцах белая голубка — и с каким любопытством мы смотрели на нее сверху! Тут было совсем почти темно, только в длинное и узкое окошечко голубой лентой сияло небо...

— Васька идет! — радостно говорил кто-нибудь из нас, заглянул в это окошечко и увидав под колокольней звонаря Ваську. И тогда мы еще более ускоряли шаги, чтобы поспеть к звону. Ощущение высоты было уже очень сильно, когда мы выскакивали во второй пролет. Но нужно было сделать еще шагов тридцать, к колоколам, в третий ярус. Мельком мы заглядывали вниз — и не узнавали березы у ограды: так мала и низка стала она! Теперь даже огромный купол церкви был наравне с нами, а под ним разноцветные крыши города, сбегającego к реке, улицы и переулки меж ними, грязные дворы, сады и пустоши... Вон

во дворе чиновника баба развешивает белье по веревке; вон мещанин, в жилетке и ситцевой рубаше, выходит из тесового, похожего на собачий, домика воле сарая; рядом, на почтовом дворе, лениво бродят с хомутами в руках ямщики, запрягая двух одров в тележку; а вон скучные каменные дома купца-богача близ базарной площади, на скате которой, над мелкой рекой, стоит старый, приземистый собор с синим куполом в белых звездах... Улицы пусты, — все эти мещане, купцы, старухи и молодые кружевницы сидят по своим домишкам и, должно быть, не знают, какой простор зеленых полей развертывается вокруг города; а мы вот знаем и побежим еще выше, где уже совсем жутко, особенно когда подумаешь, что приближаешься к самому шпицу колокольни, сияющей над городом своим золотым крестом...

Теперь детство кажется мне далеким сном, но до сих пор мне приятно думать, что хоть иногда поднимались мы над мещанским захолустьем, которое угнетало нас длинными днями и вечерами, хождением в училище, где ггло наше детство, полное мечтами о путе-

шествиях, о героизме, о самоотверженной дружбе, о птицах, растениях и животных, о заветных книгах! Птицы любят высоту, — и мы стремились к ней. Матери говорили, что мы растем, когда видим во сне, что летаем, — и на колокольне мы росли, чувствовали за своими плечами крылья... Когда мы, запыхавшись, одолевали наконец последний ярус колокольни, мы видели вокруг себя только лазурь да волнистую степь. Город, как пестрый план, лежал далеко под нами, маленький и скученный, а в сердцах у нас было то, что должны испытывать на полете ласточки. В ожидании Васьки затевали мы драки, бегали друг за другом, стуча сапогами под медными шлемами колоколов, и громко кричали в них, возбуждая в меди эхо. Пробираясь по лесенке среди веревок, привязанных за колокольные языки, к главному колоколу, украшенному барельефами херувимов и надписью, какой купец отливал его, мы по очереди ударяли в края колокола: ударишь и слушаешь — и кажется, что где-то далеко идет певучий благовест к ранней обедне! И однажды, поднявшись на верхнюю ступеньку, вдруг увидел я

на колоколе барельефный лик строгого и прекрасного Ангела Великого Совета и прочитал сильное и краткое веление: "Благовестуй земле радость велию..."

Как поразила меня даже в то время эта надпись! Благовестовать взбирался на колокольню дурачок Васька; но даже эта жалкая фигура не мешает мне вспоминать предвечернее время весеннего дня, ясное небо в арках колокольни и ту могучую дрожь, которой гудела вершина колокольни вместе со всеми нами, когда, после долгих раскачиваний бил, Васька оглушал нас первым ударом, спугивал голубей со всех карнизов и уже весь отдавался любимому делу, утопая в звонком и непрерывном гудении меди. От этого гудения у нас верезжало в ушах, во всем теле; казалось, что вся колокольня с вершины до основания полна голосов, гула и пения. Не спуская глаз с мотающихся рук Васьки, стояли мы, охваченные восторгом перед гигантской силой звуков, замирая от захватывающей дух гордости, точно сами мы были участниками в возвышенном назначении колокола благовестовать радость. Затерявшиеся в звуках,

мы как будто сами носились по воздуху вместе с их разливающимися волнами и ждали только одного — чтобы поскорее ответил своим низким басом соборный колокол и чтобы Васька, в волнении соревнования, поднялся с лестницы во весь рост и уже изо всех сил ударил звонилом. Боже, какой трезвон начинался тогда над нашим убогим местечком и как мечтал я хоть когда-нибудь побыть на месте Васьки!

Странное желание это и теперь иногда посещает меня. Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость — нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю зачинающийся в разных концах города, перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов, и этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Товарищи моих детских дней, те, которым детство сулило так много, — где они? А матери и отцы их, уже сторбленные и пригнутые к земле страданиями и близостью смерти, плетутся с желтыми восковыми свечами в руках пред алтарь бога, который все-

гда казался им жестоким и карающим, требующим вечных покаянных слез и вздохов... И мне вспоминается далекое время, когда Васька так звучно и тяжело ударял в большой колокол. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что "бог не есть бог мертвых, но живых"!

*1900*

# Сосны

## I

Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи...

Утром у нас в Платоновке умер сотский Митрофан, а в сумерках у меня сидел священник, опоздавший причастить Митрофана, пил чай и долго рассказывал о том, как много народу померзло в нынешнем году...

«Чем не сказочный бор?» — думаю я, прислушиваясь к шуму леса за окнами и к высоким жалобным нотам ветра, налетающего вместе с снежными вихрями на крышу. И мне представляется путник, который кружится в наших дебрях и чувствует, что не найти ему теперь выхода вовеки.

— Есть ли жив-человек в этих хижинах? — говорит он, с трудом различая в белой крутящейся мгле Платоновку.

Но морозный ветер захватывает ему дыхание, слепит снегом, и мгновенно пропадает огонек, который, казалось, мелькнул сквозь вьюгу. Да и человечьи ли это хижины? Не в такой ли же черной сторожке жила Баба-Яга?

«Избушка, избушка, стань к лесу задом, а ко мне передом! Приюти странника в ночь!..»

Лежа весь вечер, я представляю себе, как пугливо и зыбко мерцают мои освещенные окошечки, такие одинокие среди бушующего леса, с головы до ног поседевшего от вьюги! Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях проносится под лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке делается страшно. Снег при этом бешено и беспорядочно мчится по лесу, непритворенная дверь в сенцах с необыкновенной силой бьет в стену, а собаки, которые лежат в них, утопая в снегу, как в пуховых постелях, жалобно взвизгивают сквозь сон, дрожа крупной дрожью... И мне опять вспоминается Митрофан, который ждет могилы в такую мрачную ночь.

В комнате тепло и тихо. Стекла холодно играют разноцветными огоньками, точно мелкими драгоценными камнями. Лежанка на топлене жарко, и к шуму и стуку я так привык, что могу не замечать их. Лампа на столе:

горит ровным сонным светом. Ровно, чуть внятно звенит в ней выгорающий керосин, монотонно и неясно, точно под землей, баюкает кто-то ребенка за стеною в кухне, — не то сама Федосья, не то ее Анютка, которая с малолетства во всем подражает своим вечно вздыхающим теткам, матери. И, прислушиваясь к этому знакомому с детства напеву, к этим шумам и стукам, весь отдаешься во власть долгого вечера.

*Ходит сон по сеням,  
А дрема по дверям, —*

поет в душе жалобная песня, а вечер реет над головою неслышною тенью, завораживает сонным звоном в лампе, похожим на замирающее нытье комара, и таинственно дрожит и убегает на одном месте темным волнистым кругом, кинутым на потолок лампой.

Но вот в сенцах слышен певучий визг шагов по сухому бархатистому снегу. Хлопают двери в прихожей, и кто-то топает в пол валенками. Слышу, как чья-то рука шарит по двери, ищет скобку, а затем чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный,

как запах разрезанного арбуза.

— Спите? — спрашивает Федосья осторожным шепотом.

— Нет... А что? Это ты, Федосья?

— Я-с, — отвечает Федосья, меняя голос на громкий и естественный. — Ай я вас разбудила?

— Нет... Ты что?

Вместо ответа Федосья оборачивается к двери, — хорошо ли притворила? — и, улыбнувшись, становится к печке. Ей просто хотелось проведать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба в полушубке; голова у нее закутана шалью и похожа на совиную, не полушубке и на шали тает снег.

— Там пыль! — говорит она с удовольствием и, ежась, прижимается к печке. — Что, давно вечер-то по часам?

— Половина десятого.

Федосья кивает головою и задумывается. За день она переделала сотни мелких дел. Теперь она в тумане отдыха. Глядя на снег совершенно бессмысленными, удивленными глазами, она с наслаждением затягивается долгим и глубоким зевком и, зевая, бормочет:

— Ах, господи, что ж это зевается, куда это девается! Вот жалко Митрофана-то! Целый день с ума не идет, а тут еще наши: выехали, нет ли? Поедут-замерзнут!

И вдруг быстро прибавляет:

— Постойте — в каком ухе звенит?

— В правом, — отвечаю я. — Нынче они не поедут...

— Вот и не угадали! А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о вьюге, Федосья начинает:

— Так-то на сороки было, на сорок мучеников. Вот, расскажу вам, страсть-то была! Вы-то, известное дело, не помните, вам тогда небось пяти годочков не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось...

Я не слушаю, я наизусть знаю рассказы о всех метелях, которые помнит Федосья. Я машинально ловлю ее слова, и они странно переплетаются с тем, что я слышу внутри себя. «Не в том царстве, не в том государстве, — певуче и глухо говорит во мне голос старика-пастуха, который часто рассказывает мне

сказки, — не в том царстве, не в том государстве, а у самом у том, у каком мы живем, жил, стало быть, молодой вьюноша...»

Лес гудит, точно ветер дует в тысячу золотых арф, заглушённых степами и вьюгой. «Ходит сон по сням, а дрема по дверям», и, намаившись за день, поевши «соснового» хлебушка с болотной водицей, спят теперь по Платоновкам наши былинные люди, смысл жизни и смерти которых ты, господи, веши!

Вдруг ветер со всего размаху хлопает сенной дверью в стену и, как огромное стадо птиц, с шумом и свистом проносится по крыше.

— Ох, господи! — говорит Федосья, вздрагивая и хмурясь. — Хоть бы уж спать скорей в страсть такую! Ужинать-то будете? — прибавляет она, делая над собой усилие, чтобы взяться за скобку.

— Рано еще...

— А мой сгад — нечего третьих петухов ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себе!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане.

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зимой и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зимой и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха.

— Хорошо у нас! — говорил он мне часто. — Главное дело — лесу много. Правда, хлебужка, случается, не хватает али чего прочего, да ведь на бога жаловаться некуда: есть,

лес — в лесу зарабатывай. Мне, может, еще трудней другого, у меня одних детей сколько, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормят. Сколько годов я тут прожил и все не нажил-ся... Я и не помню ничего, что было. Был будто один-два дня летом али, скажем, весной — и больше ничего. Зимних дён больше вспоминается, а все тоже похожи друг на дружку. И ничего не скуплю, а хорошо. Идешь по лесу — лес из леса выходит, синеет, а там прогалина, крест из села виден... Придешь, за-снешь — глядь, уж опять утро и опять пошел на работу... была бы шея — хомут найдется! Говорят — живете вы, мол, в лесу, пням молитесь, а спроси его, как надо жить — не знает. Видно, живи как батрак: исполняй, что приказано — и шабаш.

И Митрофан действительно прожил всю свою жизнь так, как будто был в батраках у жизни. Нужно было пройти всю ее тяжелую лесную дорогу — Митрофан шел беспреко-словно... И разладила его путь только бо-лезнь, когда пришлось пролежать больше ме-сяца в темноте избы, — перед смертью.

— За траву не удержишься! — говорил он

мне, снисходительно улыбаясь, когда я советовал ему съездить в больницу.

И кто знает, — не прав ли был он?

«Умер, погиб, не выдержал, — значит, так надо!» думою я и поднимаюсь, чтобы пойти на воздух. Надев шубу и шапку, подхожу к лампе. На мгновение шум метели за окном смущает меня, но затем я решительно дую на свет.

В темных пустых комнатах, через которые я прохожу, мутно сереют окна. От налетающих вихрей они то светлеют, то темнеют, — совсем как в корабельной каюте в качку. В прихожей холодно, как в сенцах, и пахнет сырой, промерзлой корой дров, заготовленных на топку. Громадная старинная икона божией матери с мертвым Иисусом на коленях чернеет в углу...

На дворе ветер рвет с меня шапку и с головы до ног осыпает меня морозным снегом. Но, ох, как хорошо поглубже вдохнуть холодным воздухом и почувствовать, как легка и тонка стала шуба, насквозь пронизанная ветром! На мгновение я останавливаюсь и делаю усилие взглянуть... Новый порыв ветра прямо в лицо

перехватывает мне дыхание, и я успеваю разглядеть только два-три вихря, промчавшихся по просеке в поле. Гул леса вырывается из шума вьюги, как гул органа. Я крепко нагибаю голову, погружаюсь почти по пояс в сугроб и долго иду, сам не зная куда...

Ни деревни, ни леса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что в конце ее, у плоского болотного озера, теперь занесенного снегом, — изба Митрофана. И я иду, — долго, упорно и мучительно, — и вдруг в двух шагах от меня вспыхивает сквозь дым вьюги огонек. Кто-то бросается ко мне на грудь и чуть не сбивает меня с ног. Наклоняюсь, — собака, которую я подарил Митрофану. Она отскакивает при моем движении с жалобно-радостным визгом назад и бросается к избе, точно хочет показать, что там делается. А у избы, около окошечка, светлым облаком кружится снежная пыль. Огонек освещает ее снизу, из сугроба. Утопая в снегу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю в него. Там, внизу, в слабо освещенной избе, лежит у окна что-то длинное, белое. Племянник Митрофана стоит, наклонившись над столом, и читает псал-

тырь. В глубине избы, на нарах, видны в полумраке фигуры спящих баб и детей...

## II

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запущенный морозом, и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, синее, огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши они сегодня, над свежим снегом и зеленым бором. Солнце еще за лесом, просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и четким полукругом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый солнечный свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

Приехали братья из города. Они привезли с собой много бодрости морозного утра. Пока в прихожей обметали вениками валенки, обивали от снега тяжелые воротники шуб и вносили покупки в рогожных кульках, пересыпанных сухой снежной пылью, как мукою,

в комнатах нахолодилось и металлически запахло морозным воздухом.

— Градусов сорок будет! — с трудом выговаривает кучер, входя с новым кульком. Лицо у него багровое — по голосу чувствуется, что оно задеревенело от морозу, — усы, борода и углы воротника на тулупе смерзлись в ледяные сосульки...

— Митрофанов брат пришел, — докладывает Федосья, просовывая голову в дверь, — тесу на гроб просит.

Я выхожу к Антону, и он спокойно рассказывает о смерти Митрофана и деловито переводит разговор на тес. Равнодушие это или сила?.. Скрипя сапогами по замерзшему снегу на крыльце, мы выходим из дому и, переговариваясь, идем к сараю. Воздух крепко сжат утренним морозом, голоса паши раздаются как-то странно, пар от дыхания вьется при каждом слове, точно мы курим. Тонкий остистый иней садится на ресницы.

— Ну, и денек господь послал! — говорит Антон, останавливаясь у сарая, где уже пригревает, и, щурясь от солнца, глядит на густую зеленую стену хвои вдоль просеки и глу-

бокое: ясное небо над нею, — Эх, кабы и завтра так же! Ладно бы похоронили!

Потом мы отворяем скрипучие ворота насквозь промерзшего сарая. Антон долго гремит досками и наконец взваливает на плечо длинную сосновую тесину. Сильным движением подкинув и поправив ее на плече, он говорит: «Ну, покорнейше благодарим вас!» — и осторожно выходит из сарая. Следы лаптей похожи на медвежьи, а сам Антон идет приседам, принаравливаясь к колебаниям доски, и тяжелая зыбкая доска, перегнувшись через его плечо, мерно покачивается в лад с его движениями. Когда же он, утонув почти по пояс в сугроб, скрывается за воротами, я слышу замирающий скрип его шагов. Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг другу. Одна из них с разлету опустилась на самую верхнюю веточку к густо-зеленой, стройной ели, закачалась, едва не потеряв равновесия, — и густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла... Солнце поднимается, и все тише становится в просеке...

После обеда все ходят смотреть Митрофана. Деревня тонет в снегу. Снежные, белые избушки расположились вокруг ровной белой поляны, и на этой ярко сверкающей под солнцем поляне очень уютно и пригревает. Домовито пахнет дымком, печеным хлебом. Мальчишки возят друг друга на ледяшках, собаки сидят на крышах изб... Совсем дикарская деревушка! Вон молодая плечистая баба в замашной рубахе любопытно выглянула из сенец... Вон худой, похожий на старичка-карлика, дурачок Пашка в дедовской шапке идет за водовозкой. В обмерзлой кадучке тяжело плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжат, как поросенок... Но вот и изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая, и как все буднично вокруг нее! Лыжи стоят у дверей в сенцы. В сенцах дремлет и жует жвачку корова, Стена избы, выходящая в сенцы, сильно подалась от них, и поэтому дверь надо отворять с большими усилиями. Она отлипает наконец, и в лицо пахнуло теплым избяным запахом. В полумраке стоят несколько баб у печки и, пристально глядя на покойника, ше-

потом переговариваются. А покойник под коленкором лежит в этой напряженной тишине и слушает, как плаксиво и жалостно читает псалтырь Тимошка.

— Совсем талый! — с умилением говорит одна из баб и, приглашая посмотреть покойника, осторожно приподнимает коленкор.

О, какой важный и серьезный стал Митрофан! Голова маленькая, гордая и спокойно-печальная, закрытые глаза глубоко ввалились, большой нос обрезался; большая грудь, приподнятая последним вздохом, точно закамелела, а ниже ее, в глубокой впадине живота, лежат большие восковые руки. Чистая рубаха красиво оттеняет худобу и желтизну. Баба тихо взяла одну руку, — видно, как тяжела эта ледяная рука, — подняла и опять положила. Митрофан остался совершенно равнодушен и продолжал спокойно слушать, что читает Тимошка. Может, он знает даже и то, как ясен и торжественен сегодняшней день, — его последний день в родной деревне?

День этот кажется очень долог в мертвой тишине Солнце медленно проходит свой небесный путь, и вот красноватый, парчовый

луч уже скользнул в полутемную избу и косо озарил лоб покойника, Когда же я выхожу из избы на улицу, солнце прячется между стволами сосен за частый ельник, теряя свой блеск.

Опять я бреду вдоль просеки. Снега на поляне и крыше изб, которые точно облиты сахаром, алеют. В просеке, в тени, чувствую, как резко морозит к ночи. Еще чище и нежней стали краски зеленоватого неба к северу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лес на его фоне. А с востока уже встала большая бледная луна. Гаснет закат, она подымается все выше... Собака, с которой я хожу вдоль просеки, забегает иногда в ельник и, выскочивая, вся в снегу, из его таинственно-светлых и темных дебрей, замирает вместе с своей резкой черной тенью на ярко озаренной дороге. Месяц уже высоко... В деревушке — ни звука, робко краснеет огонек из тихой избы Митрофана... И большая, остро содрогающаяся изумрудом звезда на северо-востоке кажется звездой у божьего трона, с высоты которого господь незримо присутствует над снежной лесной страной...

### III

А на следующий день понесли гроб Митрофана по лесной дороге к селу.

Воздух по-прежнему был резок и морозен, и миллионы мельчайших игл и крестиков тускло поблескивали на солнце, кружась в воздухе. Бор и воздух слегка затуманивались, — только на горизонте к югу ясно и зелено было ледяное небо. Снег пел и визжал под санями, когда я бежал на лыжах в село. Там я долго мерз на паперти, пока наконец увидел среди белой сельской улицы белые зипуны и белый большой гроб из новою тесу. Отворили дверь в церковь, откуда вместе с запахом воска тоже пахнуло холодом: бедная лесная церковка промерзла вся насквозь, весь иконостас и все иконы побелели от густого метеного инея. И когда она наполнилась сдержанным гонором, стуком шагов и паром от дыхания, когда с трудом опустили желый разлтый гроб на пол, торопливым, простуженным голосом заговорил и запел священник. Жидкие синеватые струйки дыма вились над гробом, из которого страшно выглядывал острый коричневый нос и лоб в

венчике. Кадило в руках священника было почти пусто, дешевый ладан, брошенный в еловые уголья, издавал запах лучины, а сам священник, повязанный по ушам платком, был в больших валенках и в старом мужицком полушубке, поверх которого торчала старая риза. Он, наперебой с дьячком, в полчаса справил службу и только «со святыми упокой» пропел не спеша и стараясь придать своему голосу трогательные оттенки, — печаль обреченности всего земного и радость за брата, отошедшего, после земного подвига, в лоно бесконечной жизни, «иде же праведные упокоеваются». Напутствуемый протяжным пением, гроб с мерзлым покойником вынесли из церкви, пронесли его по улице и за селом, на пригорке, опустили в неглубокую яму, которую и закидали мерзлой глинистой землей и снегом. В снег воткнули елочку и, покряхтывая от мороза, торопливо разошлись и разъехались.

Глубокая тишина царила теперь на лесной полянке, по которой торчало из сугробов несколько низких деревянных крестов. Беззвучно кружились в воздухе бесчисленные

морозные остинки, где-то высоко над головой тянул сдержанный, глухой и глубокий гул: так шумит под вечер в отдалении море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшие на своих глинисто-красноватых голых стволах зеленые кроны, тесной дружиной окружали с трех сторон пригорок. Под ним широко синела еловыми лесами низменность.

Длинный земляной бугор могилы, пересыпанный снегом, лежал на скате у моих ног. Он казался то совсем обыкновенной кучей земли, то значительным — думающим и чувствующим. И, глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знает только один бог, — тайну ненужности и в то же время значительности всего земного. Потом я крепко двинул лыжи под гору. Облако холодной снежной пыли взвилось мне навстречу, и по всему девственно-белому, пушистому косогору правильно и красиво прорезались два параллельных следа. Не удержавшись, я упал под горой в густой и необыкновенно зеленый ельник, набил в рукава снегу. Задев за ельник, я быстро пошел зигзагами между его ку-

стами. Траурные сороки с резким стрекотанием, игриво качаясь в воздухе, перелетали над ними. Минуты текли за минутами — я все так же равномерно и ловко совал ногами по снегу. И уже ни о чем не хотелось думать. Тонко пахло свежим снегом и хвоей, славно было чувствовать себя близким этому снегу, лесу, зайцам, которые любят объедать молодые побеги елочек... Небо мягко затуманивалось чем-то белым и обещало долгую тихую погоду... Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и немолчно говорил и говорил о какой-то вечной, величавой жизни...

*1901*

# Новая дорога

## I

— Напрасно уезжаете! — говорят мне знакомые, поздним вечером прощаясь со мной на вокзале. — Добрые люди только съезжаются в Петербург. Чего вы там не видали? Лесов, сугробов? А потом еще эта новая дорога, на которой дня не проходит без крушений!

— Бог милостив! — отвечаю я.

Провожающие пожимают плечами. Наступают те неприятные минуты разлуки, когда сказать уже нечего, улыбки делаются фальшивыми, а время начинает идти страшно медленно.

Наконец раздается второй звонок. Махая шляпами, провожающие уходят и, оборачиваясь, кланяются уже с искренней приветливостью.

— Готово! — кричит кто-то около паровоза, и паровоз тяжело стучается буферами в вагоны. Слышно, как он сдержанно сипит горячим паром, изредка кидая клубы дыма, и платформа пустеет. Остаются только высокий красивый офицер с продолговатым, нагло-се-

рьезным лицом в полубачках и дама в трауре. Дама кутается в ротонду и тоскливо смотрит на офицера заплаканными черными глазами. Потом с неловкой поспешностью очень сытого человека проходит большой рыжеусый помещик с ружьем в чехле и в оленьей дохе поверх серого охотничьего костюма, а за ним приземистый, но очень широкий в плечах генерал. Потом из конторы быстро выходит начальник станции. Он только что вел с кем-то неприязненный спор и поэтому, резко скандовав: «Третий», так далеко швыряет папиросу, что она долго прыгает по платформе, рассыпая по ветру красные искры. И тотчас же на всю платформу звонит гулкий вокзальный колокол, раздаются гремучие свистки оберкондуктора, мощные взреывания паровоза — и мы плавно трогаемся.

Офицер идет по платформе, раскланиваясь, ускоряя шаги и все более отставая от вагонов; паровоз отрывистее и резче кидает изпод цилиндров горячим паром... Но вот мелькнул последний фонарь платформы, офицера точно сдернуло — и поезд очутился в темноте. Она сразу развернулась, усеянная

тысячами золотых огней в предместьях, а поезд уверенно несется в нее мимо товарных складов и вагонов, грозно предупреждая кого-то дрожащим ревом. Светлые отражения окон все быстрее бегут по рельсам и шпалам, ускользящим в разные стороны, потом по снегу. Скоро в вагоне станет тепло и уютно, и, беспорядочно громоздя вещи по диванам, пассажиры начнут располагаться на ночь. Седой, строгий, но очень вежливый старичок-кондуктор в пенсне на кончике носа не спеша проходит среди этой тесноты и пунктуально переписывает билеты, наклоняясь к фонарику своего помощника.

Воздух в полях, после города, кажется необыкновенным, — и, как всегда, я до поздней ночи стою в сенях вагона, отворив боковую дверь, и напряженно гляжу против ветра в темные снежные поля. Вагон дрожит и дребезжит от быстрого бега, ветер сыплет в лицо снежной пылью, свет фонаря в сенях прыгает, мешаясь с тенями. И, качаясь, я хожу от двери к двери по холодным сеням, уже побелевшим от снега... Прежде в пути всегда хотелось петь, кричать под грохочущий марш поезда.

Теперь не то. Плывут, бегут смутные силуэты холмов и кустарников, с мгновенным глухим ропотом проносятся под колесами чугунные мостики, в далеких, чуть белеющих полях мелькают огоньки глухих деревушек. И, щурясь от ветра, я с грустью гляжу в эту темную даль, где забытая жизнь родины мерцает такими бледными тихими огоньками...

Возвратясь в вагон, вижу в полусумраке фигуры лежащих; тесно от шуб и поднятых спинок диванов, пахнет табаком и апельсинами... Согреваясь после холодного ветра, долго смотрю полузакрытыми глазами, как покачивается меховое пальто, повешенное у двери, и думаю о чем-то неясном, что сливается с дрожащим сумраком вагона и незаметно убаюкивает. Славная вещь — этот сон в пути! Сквозь дремоту чувствуешь иногда, что поезд затихает. Тогда слышатся громкие голоса под окнами, шарканье ног по каменной платформе, а в вагоне — ровное дыхание и храп спящих. Что-то беспокоит глаза... Это тусклый и лучистый, желтоватый блеск замерзшего окна, за которым вокзальный фонарь. Он мутно и неприятно озаряет сумрак

вагона.

— Не знаете, какая станция? — спрашивает кто-то странным испуганным голосом...

Потом звонок бьет где-то далеко-далеко, усыпительно, хлопают двери вагонов, и доносится жалобный гул паровоза, напоминающий о бесконечной дали и ночи. Что-то начинает вздрагивать и поталкивать под бок; металлически-лучистый блеск фонарей проходит по стеклам и гаснет; пружины дивана покачиваются все ровнее и ровнее, и наконец непрерывно возрастающий бег поезда снова погружает в дремоту...

Внезапное прикосновение чьей-то руки извещает перед утром о пересадке. Испуганно вскакиваю, торопливо забираю вещи и через большую, но сонную и тускло освещенную станцию иду на какую-то длинную платформу, занесенную свежим глубоким снегом, к маленькому поезду, составленному из самых разнокалиберных вагонов... Новая дорога! Тишина, маленькие вагоны, душистый дым березовых дров, запах хвои... Славно!

В полудремоте попадаю в вагон-микст, тесный, с квадратными окнами, и тотчас же сно-

ва крепко засыпаю. И к утру оказываюсь уже далеко от Петербурга. И начинается настоящий русский зимний путь, один из тех, о которых совсем забыли в Петербурге...

## II

Будит меня чей-то мучительный кашель. Открываю глаза: вижу станового, старого служаку в рыжей енотовой шубе поверх серой полицейской шинели. От натуги глаза у него вытаращены и полны слез, обветренное лицо красно, седые усы взъерошены. Он необыкновенно жарко раскурил огромнейшую папиросу из дешевого крепкого табаку, а в старом вагончике и без того сумрачно, потому что окна полузанесены снегом. Поезд трясет и гремит, как телега.

— Вот так кашель! — говорит становой, отдуваясь, так просто и добродушно, точно мы росли вместе. — Только и полегчает, когда немножко покуришь!

«Ну, значит, Петербург далеко!» — думаю я и заглядываю в окна. О, какой белый, чистый снег! Белое безжизненное небо и белое бесконечное поле с кустарниками и перелесками. Проволоки телеграфных столбов лениво плывут

вут за окнами, точно им скучно подыматься, опускаться и вытягиваться вслед за поездом, а столбам надоело бежать за ними. Поезд на подъемах скрипит и качается, а под уклоны бежит, как старик, пустившийся догонять кого-нибудь. Однообразно белеют поля, машет вдали крыльями птица, чернеют кустарники и деревушки — и все это кругами уходит назад. Ветер лениво развеивает дым паровоза, и кустарники, по которым расстилается этот дым, будто курятся и плавают по снежному полю...

Пассажиров, кроме меня и станowego, который, впрочем, скоро слезет на разъезде, всего-навсего один: бородатый коренастый старик — железнодорожный артельщик с сумкой через плечо, похожий на уездного лавочника. Он усердно занимается насыпкой папирос и чаепитием, все утро слышно, как он с наслаждением схлебывает с блюдечка горячую жидкость.

— Не угодно ли-с? — говорит он, указывая глазами на жестяной чайник. — А то что ж на вокзалах-то платить по гривеннику за стаканчик!

Около двери, где я помещаюсь, по ногам несет холодом; сажу, закутавши колени, и смотрю то на свежие выемки около линии, то на новенькие тесовые станции и разъезды, то на белое поле с перелесками, и кажется, что стволы деревьев трепещут и сливаются, а весь перелесок идет кругом: ближние деревья, трепещущая, бегут назад, а дальние постепенно заходят вперед... Потом мы с артельщиком пьем чай, потом я отправляюсь бродить по вагонам и площадкам... Необыкновенно приятно смотреть на мелькающий в воздухе снег: настоящей Русью пахнет!

Станции и разъезды часты, но они теряются среди окружающего их пустынного и огромного пейзажа зимних полей. Еще не завладела новая дорога краем и не вызвала к себе его обитателей. Постоит поезд на пустой станции и опять бежит среди перелесков... Едем все же с опозданием: стояли в поле, и никто не знал почему, и все сидели в томительном ожидании, слушая, как уныло шумит ветер за стенами неподвижных вагонов и как жалобно кричит бочкообразный паровоз, имеющий манеру трогать с места так, что

пассажиры падают с диванов. Качаясь на неровном бегу поезда, я хожу из вагона в вагон и везде вижу обычную жизнь русского захолустного поезда. В первом и втором классе пусто, а в третьем — мешки, полушубки, сундуки, на полу сор и подсолнухи, почти все спят, лежа в самых тяжелых и безобразных позах. Неспящие сидят и до одурения накуриваются; жаркий воздух синеет от едкого и сладковатого дыма махорки. Один лотерейщик, молодой вор с бегающими глазами, не дремлет. Он собирает в кучку мужиков и полупьяных рабочих, и они, пробуя свое счастье, изредка, точно на смех, выигрывают то карандаш в две копейки, то какой-нибудь бокал из дутого стекла. Слышится спор и говор, неистово кричит ребенок, поезд стучит и громыхает, а солдат, в новой ситцевой рубахе и в черном галстуке, сидит над спящими на своем сундучке и, поставив ногу на противоположную лавочку, с бессмысленными глазами и вытянутой верхней губой, рычит на тульской гармонике: «Чудный месяц плывет над рекою»...

— Станция Белый Бор, остановки восемь

минут!.. — кричит кондуктор, рослый мужик в тяжелой длинной шинели, и, проходя по нашему вагону, с такой силой хлопает дверями, точно хочет заколотить их навек.

Это значит, что начинаются леса. После Белого Бора через две станции — уездный город, по имени которого и называются эти леса, смешанное чернолесье и красноелесье. Проходит еще час, полтора — и вдали, из-за леса, показываются главы и кресты монастыря, которым далеко известен этот город. Бор вокруг него вырубает нещадно, новая дорога идет как завоеватель, решивший во что бы то ни стало расчистить лесные чащи, скрывающие жизнь в своей вековой тишине. И долгий свисток, который дает поезд, проходя перед городом по мосту над лесной речкой, как бы извещает обитателей этих мест об этом шествии.

На несколько минут вокруг нас закипает суматоха. За деревянным, кирпичного цвета вокзалом видны тройки, громыхают бубенчики, кричат наперебой извозчики; зимний день сер и тепел, и похоже на масленицу. По платформе гуляют барышни и молодые люди, среди которых дает тон высокий телеграфист,

местный красавец, фронт в дымчатом пенсне и кавказской папахе. Двери в вагоне поминутно растворяются, со двора несет холодом, пахнет снегом и хвойным лесом. Статный лакей в одном фраке и без шапки носит жареные пирожки, и странно видеть среди леса его крахмальную рубашку и белый галстук. В наш вагон набирается много барышень, которые кого-то провожают и шепчутся, играя глазами; купец с подушкой ломится к своему месту, давя на пути все встречное, а худой и очень высокий священник, запыхавшись и сдвинув с потного лба на затылок бобровую шапку, вбегает в вагон и убегает, униженно прося носильщика о помощи. Он укладывает бесчисленное количество узлов и кулечков на диваны и под диваны, извиняется пред всеми за беспокойство и притворно-весело бормочет:

— Ну, теперь так! Вот это сюда... А вот это, я думаю, и под лавочку можно... Я не потревожу вас? Ну, и чудесно, покорнейше благодарю!

В толпе ковыляет хромой разносчик с корзиной лимонов, монашенки с убитыми лица-

ми жалобно просят на обитель... Вагон везут назад и опять останавливают. Долго слышится, как кондуктора переругиваются и гремят по окнам сигнальной веревкой, протягивая ее от паровоза по поезду... Наконец поезд трогается.

И опять перед окнами мелькают березы и сосны в снегу, поля и деревушки, а над ними — серое небо...

### III

Эти березы и сосны становятся все неприветливей; они хмурятся, собираясь толпами все плотнее и плотнее. Идет молодой легкий снежок, но от сплошных чащей в вагонах темнеет, и кажется, что хмурится и погода. Омрачается и радость возвращения к тихому лесному дню... Новая дорога все дальше уводит в новый, еще неизвестный мне край России, и от этого я еще живее чувствую то, что так полно чувствовалось в юности: всю красоту и всю глубокую печаль русского пейзажа, так нераздельно связанного с русской жизнью. Новую дорогу мрачно обступили леса и как бы говорят ей:

— Иди, иди, мы расступаемся перед тобою.

Но неужели ты снова только и сделаешь, что к нищете людей прибавишь нищету природы?

Зимний день в лесах очень короток, и вот уже синеют за окнами сумерки, и мало-помалу заползает в сердце беспричинная, смутная, настоящая русская тоска. Петербург представляется далеким оазисом на окраине огромной снежной пустыни, которая обступила меня со всех сторон на тысячи верст. Вагон опять пустеет. Опять со мною только артельщик и двое спящих — кавалерист и помощник начальника станции. Кавалерист, молодой человек в крепко натянутых рейтузах, спит как убитый, богатырски растянувшись на спине; помощник лежит вниз лицом, слабо покачиваясь, точно приноравливаясь к толчкам бегущего поезда. И тяжело смотреть на его старое пальто и старые калоши, свесившиеся с дивана.

Все сгущается сумрак в холодном, дребезжащем, неуклюжем вагоне. Мелькают стволы высоких сосен в сугробах, толпами теснятся на пригорках монахини-елочки в своих черных бархатных одеждах... Порою чаща рас-

ступается, и далеко разворачивается унылая болотная низменность, угрюмо синее амфитеатр лесов за нею, и полосой дыма висит молочно-свинцовый туман над лесами. А потом снова около самых окон зачатят сосны и ели в снегу, глухими чащами надвинется черное лесье, потемнеет в вагоне... Стекла в окнах дребезжат и перезванивают, плавно ходит на петлях не притворенная в другое отделение дверь, а колеса, перебивая друг друга, словно под землей, ведут свой торопливый и невнятный разговор.

— Болтайте, болтайте! — важно и задумчиво говорят им угрюмые и высокие чащи сосен. — Мы расступаемся, но что-то несете вы в наш тихий край?

Огоньки робко, но весело светят в маленьких новых домиках лесных станций. Новая жизнь чувствуется в каждом из них. Но в двух шагах от этого казенного домика начинается совсем другой мир. Там чернеют затерянные среди лесов редкие поселки темного и унылого лесного народа. На платформах стоят люди из этих деревушек — несколько нищих в рваных полушубках, лохматых, с

простуженными горлами, но таких смиренных и с такими чистыми, почти детскими глазами. Опустив кнуты, они выглядывают пассажира почти безнадежно, потому что на несколько человек из них редко приходится даже один пассажир. И, тупо глядя на поезд, они тоже как бы говорят ему своими взглядами:

— Делайте, как знаете, — нам податься некуда. А что из этого выйдет, мы не знаем.

Гляжу и я на этот молодой, замученный народ... На великую пустыню России медленно сходит долгая и молчаливая ночь...

Ночь эта будет теплая, с мягко падающим, ласковым снежком. На минуту поезд останавливается перед длинным и низким строением на разъезде. Освященные окошечки его, как живые глаза, выглядывают из векового соснового леса, занесенного снегами. Паровоз, лязгая колесами по рельсам, плавно прокатывает мимо поезда, приводит к нему десяток товарных вагонов и двумя жалобными криками объявляет, что он готов. Крики гремучими переливами далеко бегут по лесной округе, перекликаясь друг с другом...

— Сейчас нехорошее место будет! — со вздохом говорит стоящий за мной на площадке вагона мещанин. — Тут сейчас подъем версты в три, а потом насыпь. Смотреть жутко! Тут дня не проходит без беды...

Я смотрю, как уходят от нас и скрываются в лесу огоньки станции. «Какой стране принадлежу я, одиноко скитающийся? — думается мне. — Что общего осталось у нас с этой лесной глушью? Она бесконечно велика, и мне ли разобраться в ее печалях, мне ли помочь им? Как прекрасна, как девственно богата эта страна! Какие величавые и мощные чащи стоят вокруг, тихо задремывая в эту теплую январскую ночь, полную нежного и чистого запаха молодого снега и зеленой хвои! И какая жуткая даль!»

Я гляжу вперед, на этот новый путь, который с каждым часом все неприветливее встречают угрюмые леса. Стиснутая черными чащами и освещенная впереди паровозом, дорога похожа на бесконечный туннель. Столетние сосны замыкают ее и, кажется, не хотят пускать вперед поезд. Но поезд борется: равномерно отбивая такт тяжелым, отрывистым

дыханием, он, как гигантский дракон, вползает по уклону, и голова его изрыгает вдали красное пламя, которое ярко дрожит под колесами паровоза на рельсах и, дрожа, злобно озаряет угрюмую аллею неподвижных и безмолвных сосен. Аллея замыкается мраком, но поезд упорно подвигается вперед. И дым, как хвост кометы, плывет над ним длинною белеюю грядою, полной огненных искр и окрашенной из-под низу кровавым отражением пламени.

*1901*

# Костер

У поворота с большой дороги, у столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика, дышал свежестью степной осенней ночи. Костер горел ярко, и, чем ближе я подъезжал к нему, тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака. А вскоре стало можно различить и самый столб, озаренный из-под низу, и черные фигуры людей, сидевших на земле. Казалось, что они сидят в каком-то хмуром подземелье и что темные своды этого подземелья дрожат от переплетающихся языков пламени.

Когда его отблеск коснулся голов тройки, люди, сидевшие у костра, повернулись. Позы у них были внимательные, лица красные. Собака вдруг вырезалась на огне и залаяла. Потом поднялся с земли один из сидевших. В низком пространстве, озаренном костром, он был огромен.

— Гирла-а! — гортанно и глухо крикнул он на собаку.

Остановив лошадей, я попросил спичек:

— Добрый вечер! Нельзя ли закурить у вас?

За лаем собаки человек, который выжидал, встал передо мною, крепкий, широкогрудый старик в бараньей шапке и накинутом на плечи кожухе, не расслышал, злобно топнул ногой.

— Ат, каторжна! — крикнул он на овчарку и, не спуская с меня подозрительного взгляда, громко прибавил гортанным цыганским говором: — Добрий вечір, пану! А що милості його завгодно буде?

Ноздри у него были вырезаны резко, борода доходила до самых глаз. И в этих черных глазах, в черных жестких волосах, густо вьющихся из-под шапки, в жесткой, кудрявой бороде — во всем чувствовалась дикость и внимательность степного человека.

— Да вот, закурить нечем, — повторил я. — Дайте, пожалуйста, пару спичек.

— А хіба жість спички у циган? — спросил старик. — Може, пан от костра запалить?

Он отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на ладонь руки раскаленный уголь.

Я поспешил приставить к нему папиросу и кинул два-три быстрых взгляда на маленький табор. Один из сидевших был рыжий оборванный мужик, видно, бродяга-рабочий с низов, другой — молодой цыган. Он сидел, горделиво откинув голову назад, и, охватив руками поднятые колени, искоса смотрел на меня. Синевато-смуглое лицо его было тонко и очень красиво. Белки глаз выделялись на этом лице — и глаза казались изумленными. Одет он был щеголем: тонкие сапоги, новый картуз, городской пиджак, шелковая лиловая рубаха.

— Може, пан блукає? — спросил старик, кидая уголь.

— Нет, — сказал я и еще раз глянул на костер, который слепил меня своим ярким мерцанием. И тогда из темноты выделились серые полы большого разлатого шатра, брошенная дуга и оглобли телеги, а возле них — самовар, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка в лохмотьях, кормившая грудью полугололого ребенка. Надо всем же этим стояла девочка лет пятнадцати и задумчиво смотрела на меня печально-при-

звивными глазами необыкновенной красоты.

— Може, проводить пана? — повторил старик живо.

— Нет, спасибо, — поспешил я ответить и откинулся в задок тарантаса.

— Пошел!

Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчик так и залился жалобным стоном, перебивая лай бросившейся за нами собаки...

Не было больше тепла и запаха горящего бурьяна, в лицо веяло свежестью ночи, и опять, темнея в сумраке, бежали навстречу мне поля. Черная дуга высоко вырезывалась в небе и, качаясь, задевала звезды. Но еще ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы, нежно-страстные глаза, старое серебряное монисто на шее... И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика, в звездах и в небе было уже новое чувство — томящее, непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере...

1902–1932

# В августе

Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и так как мне шел тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один во всем свете. Был конец августа; в малорусском городе, где я жил, стояло знойное затишье. И когда однажды в субботу я вышел после работы от бондаря, на улицах было так пусто, что, не заходя домой, я побрел куда глаза глядят за город. Шел я по тротуарам мимо закрытых еврейских магазинов и старых торговых рядов; в соборе звонили к вечерне, от домов ложились длинные тени, но было еще так жарко, как бывает в южных городах в конце августа, когда даже в садах, жарившихся на солнце целое лето, все покрыто пылью. Мне было тоскливо, несказанно тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастья, — в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске.

На пыльной площади у водопровода стояла красивая большая хохлушка в расшитой белой сорочке и черной плахте, плотно обтя-

гивавшей ей бедра, в башмаках с подковками на босую ногу. Было в ней что-то общее с Венерой Милосской, если только можно вообразить себе Венеру загорелой, с карими веселыми глазами и с такой ясностью чела, которая бывает, кажется, только у хохлушек и полек. Наполнив ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстречу мне, — стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станом и постукивая башмаками по деревянному тротуару... И помню, как почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и как долго смотрел за нею! А в улицу, которая шла с площади под гору, на Подол, видна была огромная, мягко синеющая долина реки, луга, леса, смуглые золотистые пески за ними и даль, нежная южная даль...

Кажется, никогда не любил я так Малороссию, как в ту пору, никогда не хотел так жить, как в ту осень, а между тем толковал я тогда только о борьбе с жизнью, учился только бондарному ремеслу. И теперь, постояв на площади, я решил отправиться в гости к толстовцам, за город. Спускаясь под гору на Подол, я

встретил много парных извозчиков, которые шибко везли пассажиров с пятичасового поезда из Крыма. Огромные ломовые лошади медленно тащили в гору гремящие телеги с ящиками и тюками, и запах москательных товаров, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ехали откуда-то, где должно быть хорошо, — все опять заставило мое сердце сжаться от каких-то мучительно-тоскливых и сладких стремлений. Я свернул в тесный переулочек между садами и долго шел по предместью. «Панычи „этого предместья, мастеровые и мещане, дико и чудесно „гукали“ в летние ночи по долине да пели хорами на церковный лад красивые и печальные казачьих песни. Теперь «панычи» молотили. На окраине, там, где голубые и белые мазанки стояли уже на леваде, при начале долины, мелькали на токах цепи. Но в затишье долины было жарко так же, как в городе, и я поспешил взобраться на гору, в открытую, ровную степь.

Тихо, покойно и просторно было там. Вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого и высокого жнивья. На широком, бес-

конечном шляхе лежала глубокая пыль: казалось, что идешь в бархатных башмаках. И все вокруг — и жнивья, и дорога, и воздух — сияло от низкого вечернего солнца. Прошел черный от загара, пожилой хохол в тяжелых сапогах, в бараньей шапке и толстой свитке цвета ржаного хлеба, и палка, которой он попирался, блестела на солнце, как стеклянная. Крылья грачей, перелетавших над жнивьями, тоже блестели и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы от этого блеска и зноя. Далеко, почти на горизонте, можно было различить телегу и пару волов, которые медленно влекли ее, да шалаш сторожа на бахчах... Ах, славно было среди этой тишины и простора! Но всю душу мою тянуло к югу, за долину, в ту сторону, куда уехала она...

В полуверсте от дороги, над долиной, краснела черепичная кровля маленького хутора, — поместье толстовцев, братьев Павла и Виктора Тимченков. И я пошел туда по сухому, колкому жнивью. Вокруг хаты было пусто. Я заглянул в окошечко — там гудели одни мухи, гудели целыми роями: на стеклах, под

потолком, в горшках, стоявших на лавках. К хате был пристроен скотник; и там не оказалось никого. Ворота были открыты, и солнце сушило двор, заваленный навозом...

— Вы куда? — внезапно окликнул меня женский голос.

Я обернулся: на обрыве над долиной, на меже бахчи, сидела жена старшего Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая, она подала мне руку, и я сел с ней рядом.

— Скучно? — спросил я, помолчав и глядя ей прямо в лицо.

Она опустила глаза на свои босые ноги. Маленькая, загорелая, в грязной рубаше и старенькой плахте, она была похожа на девочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгий солнечный день. И лицом она была похожа на девочку-подростка из русского села. Однако я никак не мог привыкнуть к ее одежде, к тому, что она босыми ногами ходит по навозу и колкому жнивью, даже стыдился смотреть на эти ноги. Да она и сама все поджимала их и часто искоса поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькие и красивые.

— Муж ушел на леваду молотить, — сказала она, — а Виктор Николаевич уехал... Павловского опять арестовали за отказ от солдатчины. Вы помните Павловского?

— Помню, — сказал я машинально.

И мы смолкли и долго смотрели на синеву долины, на леса, пески и меланхолично зовущую даль. Солнце еще грело нас; круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинных пожелтевших плетей, перепутанных, как змеи, и тоже грелись.

— Отчего вы не откровенны со мной? — начал я. — Зачем вы насилуете себя? Вы любите меня.

Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потом сдунула волос, упавший на щеку, и с решительной улыбкой сказала:

— Дайте мне папироску.

Я дал. Она затянулась раза два, закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.

— Я с самого утра так сижу, — сказала она. — Куры приходят с самой левады расклевывать арбузы... И не знаю, почему вам кажется здесь скучно. Мне очень нравится здесь, очень...

Над долиной, верстах в двух от хутора, куда я приехал на закате, я сел, снял шляпу... Сквозь слезы я смотрел вдаль, и где-то далеко мне грезились южные знойные города, синий степной вечер и образ какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополнял ее своею таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой женщины на баштанах...

*1901*

# Осенью

## I

В гостинной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

— Ну, мне пора, — сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, — то, что она знала, что я выйду с нею.

— Вы тоже? — полуутвердительно спросила она. — Значит, вы проводите меня, — прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже,

казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах — во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко хлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.

— Вы хорошо видите? — спросила она, глядя под ноги.

И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость.

Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и искусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.

За решетчатыми воротами светился фонарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от пер-

чатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел и я рядом с нею...

## II

Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос, — не холодно ли ей, — она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко.

Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-нибудь сторбленная фигура вырастала вместе с своею шаткою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь

за нами — и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее...

Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулась, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания, — легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке, — и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам...

### III

В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги, — наконец

пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил ветренный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали, — они были рассыпаны точно где-то в темном море, — а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдаванская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

— Куда мы едем? — спросила она, сдерживая дрожь в голосе.

Но глаза ее блестели, — наклонившись к ней, я различал их в темноте, — и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение.

Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас.

Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное, — и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.

— Море? — спросила она.

— Море, — сказал я. — Это уже последние дачи.

А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, вырастали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Промелькнуло несколько наглухо забитых домов, смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми... Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью — тем ветром, который прилета-

ет к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.

Лошади остановились.

И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.

#### IV

Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выраставшего на скалистом побережье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. Влажный ветер

валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Высились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство.

— И мы одни! — сказала она, закрывая глаза.

## V

Мы были одни. Я целовал ее губы, упива-

ась их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный радостью.

— А завтра? — говорила она над моей головою.

И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи...

— Что завтра? — повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. — Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

— Да! — сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо. — Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действи-

тельность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно... Я люблю тебя, — говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.

*1901*

# НОВЫЙ ГОД

Послушай, скачала жена, — мне жутко.

Была лунная зимняя полночь, мы ночевали на хуторе в Тамбовской губернии, по пути в Петербург с юга, и спали в детской, единственной теплой комнате во всем доме. Открыв глаза, я увидел легкий сумрак, наполненный голубоватым светом, пол, покрытый попонами, и белую лежанку. Над квадратным окном, в которое виднелся светлый снежный двор, торчала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеем. Было так тихо, как может быть только в поле в зимние ночи.

— Ты спишь, — сказала жена недовольно, — а я задремала давеча в возке и теперь не могу...

Она полулежала на большой старинной кровати у противоположной стены. Когда я подошел к ней, она заговорила веселым шепотом:

— Слушай, ты не сердись, что я разбудила тебя? Мне, правда, стало жутко немного и как-то очень хорошо. Я почувствовала, что мы с тобой, совсем одни тут, и на меня напал

чисто детский страх...

Она подняла голову и прислушалась.

— Слышишь, как тихо? — спросила она чуть слышно. Мысленно я далеко оглянул снежные поля вокруг нас, — всюду было мертвое молчание русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался Новый год... Так давно не ночевал я в деревне, и так давно не говорили мы с женой мирно! Я несколько раз поцеловал ее в глаза и волосы с той спокойной любовью, которая бывает только в редкие минуты, и она внезапно ответила мне порывистыми поцелуями влюбленной девушки. Потом долго прижимала мою руку к своей загоревшейся щеке.

— Как хорошо! — проговорила она со вздохом и убежденно. И, помолчав, прибавила: — Да, все-таки ты единственный близкий мне человек! Ты чувствуешь, что я люблю тебя?

Я пожал ее руку.

— Как это случилось? — спросила она, открывая глаза. — Выходила я не любя, живем мы с тобой дурно, ты говоришь, что из-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существование... И однако все чаще мы чувствуем, что

мы нужны друг другу. Откуда это приходит и почему только в некоторые минуты? С Новым годом, Костя! — сказала она, стараясь улыбнуться, и несколько теплых слез упало на мою руку.

Положив голову на подушку, она заплакала, и, верно, слезы были приятны ей, потому что изредка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и целовала мою руку, стараясь продлить их нежностью. Я гладил ее волосы, давая понять, что я ценю и понимаю эти слезы. Я вспомнил прошлый Новый год, который мы, по обыкновению, встречали в Петербурге в кружке моих сослуживцев, хотел вспомнить позапрошлый — и не мог, и опять подумал то, что часто приходит мне в голову: годы сливаются в один, беспорядочный и однообразный, полный серых служебных дней, умственные и душевные способности слабеют, и все более неосуществимыми кажутся надежды иметь свой угол, поселиться где-нибудь в деревне или на юге, копать с женой и детьми в виноградниках, ловить в море летом рыбу... Я вспомнил, как ровно год тому назад жена с притворной любезностью забо-

тилась и хлопотала о каждом, кто, считаясь нашим другом, встречал с нами новогоднюю ночь, как она улыбалась некоторым из молодых гостей и предлагала загадочно-меланхолические тосты и как чужда и неприятна была мне она в тесной петербургской квартирке...

— Ну, полно, Оля! — сказал я.

— Дай мне платок, — тихо ответила она и по-детски, прерывисто вздохнула. — Я уже не плачу больше.

Лунный свет воздушно-серебристой полою падал на лежанку и озарял ее странную, яркой бледностью. Все остальное было в сумраке, и в нем медленно плавал дым моей папиросы. И от попон на полу, от теплой, озаренной лежанки — ото всего веяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома...

— Ты рада, что мы заехали сюда? — спросил я.

— Ужасно, Костя, рада, ужасно! — ответила жена с порывистой искренностью. — Я думала об этом, когда ты уснул. По-моему, — сказала она уже с улыбкой, — венчаться надо бы

два раза. Серьезно, какое это счастье — стать под венец сознательно, поживши, пострадавши с человеком! И непременно жить дома, в своем углу, где-нибудь подальше ото всех... «Родиться, жить и умереть в родном доме» — как говорит Мопассан!

Она задумалась и опять положила голову на подушку.

— Это сказал Сент-Бёв, — поправил я.

— Все равно, Костя. Я, может быть, и глупая, как ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя... Хочешь, пойдём гулять?

— Гулять? Куда?

— По двору. Я надена валенки, твой полубубочек... Разве ты уснешь сейчас?

Через полчаса мы оделись и, улыбаясь, остановились у двери.

— Ты не сердись? — спросила жена, взяв мою руку.

Она ласково заглядывала мне в глаза, и лицо ее было необыкновенно мило в эту минуту, и вся она казалась такой женственной в серой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и в мягких валенках, делавших ее ниже ростом.

Из детской мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе, и в темноте добрались до прихожей. Потом заглянули в залу и гостиную... Скрип двери, ведущей в залу, раздался по всему дому, а из сумрака большой, пустой комнаты, как два огромных глаза, глянули на нас два высоких окна в сад. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.

— Ау! — крикнула жена на пороге.

— Не надо, — сказал я, — лучше посмотри, как там хорошо.

Она притихла, и мы несмело вошли в комнату. Очень редкий и низенький сад, вернее, кустарник, раскиданный но широкой снежной поляне, был виден из окон, и одна половина его была в тени, далеко лежавшей от дома, а другая, освещенная, четко и нежно белела под звездным небом тихой зимней ночи. Кошка, неизвестно как попавшая сюда, вдруг прыгнула с мягким стуком с подоконника и мелькнула у нас под ногами, блеснув золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнул, и жена тревожным шепотом спросила меня:

— Ты боялся бы здесь один?

Прижимаясь друг к другу, мы прошли по залу в гостиную, к двойным стеклянным дверям на балкон. Тут еще до сих пор стояла огромная кушетка, на которой я спал, приезжая в деревню студентом. Казалось, что еще вчера были эти летние дни, когда мы всей семьей обедали на балконе... Теперь в гостиной пахло плесенью и зимней сыростью, тяжелые, промерзлые обои кусками висели со стен... Было больно и не хотелось думать о прошлом, особенно перед лицом этой прекрасной зимней ночи. Из гостиной виден был весь сад и белоснежная равнина под звездным небом, — каждый сугроб чистого, девственного снега, каждая елочка среди его близны.

— Там утонешь без лыж, — сказал я в ответ на просьбу жены пройти через сад на гумно. — А бывало, я по целым ночам сидел зимой на гумнах, в овсяных ометах... Теперь зайцы, небось, приходят к самому балкону.

Оторвав большой, неуклюжий кусок обоев, висевший у двери, я бросил его в угол, и мы вернулись в прихожую и через большие бревенчатые сени вышли на морозный воздух.

Там я сел на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снегу, сбежала на сугробы и подняла лицо к бледному месяцу, уже низко стоявшему над черной длинной избой, в которой спали сторож усадьбы и наш ямщик со станции.

— Месяц, месяц, тебе золотые рога, а мне золотая казна! — заговорила она, кружась, как девочка, по широкому белому двору.

Голос ее звонко раздался в воздухе и был так странен в тишине этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ямщицкой кибитки, черневшей в тени перед избой, и было слышно, как она бормотала на ходу:

*Татьяна на широкий двор  
В открытом платье выходит,  
На месяц зеркало наводит,  
Но в темном зеркале одна  
Дрожит печальная луна...*

— Никогда я уж не буду гадать о суженом! — сказала она, возвращаясь к крыльцу, запыхавшись и весело дыша морозной свежестью, и села на ступени возле меня. — Ты не уснул, Костя? Можно с тобой сесть рядом, миленький, золотой мой?

Большая рыжая собака медленно подошла к нам из-за крыльца, с ласковой снисходительностью виляя пушистым хвостом, и она обняла ее за широкую шею в густом меху, а собака глядела через ее голову умными вопросительными глазами и все так же равнодушно-ласково, вероятно, сама того не замечая, махала хвостом. Я тоже гладил этот густой, холодный и глянцеви́тый мех, глядел на бледное человеческое лицо месяца, на длинную черную избу, на сияющий снегом двор, и думал, подбадривая себя:

«В самом деле, неужели уже все потеряно? Кто знает, что принесет мне этот Новый год?»

— А что теперь в Петербурге? — сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку. — О чем ты думаешь, Костя? — спросила она, приближая ко мне помолодевшее на морозе лицо. — Я думаю о том, что вот мужики никогда не встречают Нового года, и во всей России теперь все давным-давно спят...

Но говорить не хотелось. Было уже холодно, в одежду пробирался мороз. Вправо от нас видно было в ворота блестящее, как золотая слюда, поле, и голая лозинка с тонкими обле-

деневшими ветвями, стоявшая далеко в поле, казалась сказочным стеклянным деревом. Днем я видел там остов дохлой коровы, и теперь собака вдруг насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюде побежало от лозинки что-то маленькое и темное, — может быть, лисица, — и в чуткой тишине долго замирало чуть уловимое, таинственное потрескивание наста.

Прислушиваясь, жена спросила:

— А если бы мы остались здесь?

Я подумал и ответил:

— А ты бы не соскучилась?

И как только я сказал, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здесь и года. Уйти от людей, никогда не видать ничего, кроме этого снежного поля! Положим, можно заняться хозяйством... Но какое хозяйство можно завести в этих жалких остатках усадьбы, на сотне десятин земли? И теперь всюду, такие усадьбы, — на сто верст в окружности нет ни одного дома, где бы чувствовалось что-нибудь живое! А в деревнях — голод...

Заснули мы крепко, а утром, прямо с постели, нужно было собираться в дорогу. Когда

за стеною заскрипели полозья и около самого окна прошли по высоким сугробам лошади, запряженные гусем, жена, полусонная, грустно улыбнулась, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату...

«Вот и Новый год! — думал я, поглядывая из скрипучей, опущенной инеем кибитки в серое поле. — Как-то мы проживем эти новые триста шестьдесят пять дней?»

Но мелкий лепет бубенчиков спутывал мысли, думать о будущем было неприятно. Выглядывая из кибитки, я уже едва различал мутный серо-сизый пейзаж усадьбы, все более уменьшающийся в ровной снежной степи и постепенно сливающийся с туманной далью морозного туманного дня. Покрикивая на заиндедевших лошадей, ямщик стоял и, видимо, был совершенно равнодушен и к Новому году, и к пустому полю, и к своей и к нашей участи. С трудом добравшись под тяжелым армяком и полушубком до кармана, он вытащил трубку, и скоро в зимнем воздухе запахло серой и душистой махоркой. Запах был родной, приятный, и меня трогали и вос-

поминание о хуторе, и наше временное примирение с женою, которая дремала, прижавшись в угол возка и закрыв большие, серые от инея ресницы. Но, повинувшись внутреннему желанию поскорее забыться в мелкой суете и привычной обстановке, я деланно-весело покрикивал:

— Погоняй, Степан, потрогивай! Опоздаем! А далеко впереди уже бежали туманные силуэты телеграфных столбов, и мелкий лепет бубенчиков так шел к моим думам о бессвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...

*1901*

# Заря всю ночь

## I

На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и раздражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блеянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чащу... Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался.

Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимна-

зии. Брат Паша учился в корпусе, Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске; мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто.

Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к варку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людской. На минуту я заглянула и туда, — работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при

моем появлении встали, а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала:

— А папа где? Он был в поле?

— Они были не надолго и уехали, — ответило мне несколько голосов сразу.

— На чем? — спросила я.

— На дрожках, с барчуком Сиверсом.

— Разве он приехал? — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла.

Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем, как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами и, как все вольноопределяющиеся, с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый — резко белела у него только верхняя половина лба, — он был очень мил мне.

«Значит, он взял отпуск», — взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но, когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучовый пиджак закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы.

— Что ж ты в темноте? — спросила я.

— Да я, Тата, — ответил он, называя меня, как в детстве, — сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря, — заря зарю встречает, как говорят мужики. — Разве молока, — прибавил он рассеянно.

Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками неясных и красивых очертаний. Все было неопределен-

но и на земле, и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но, когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею.

— Зачем? — пробормотала я.

— Свататься за тебя, — ответил отец с принужденной улыбкой. — Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин... Мы уж пропили тебя.

— Не говори так, папочка, — сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы.

Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета.

— Утро вечера мудренее, — прибавил он с усмешкой.

## II

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать...

«Утро вечера мудренее», — пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стадо легко и как-то счастливо-грустно.

Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловьев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей.

Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить, потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал надо мной: «Сиверс!» — я, вздрогнув, очнулась, и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом, холодом пробежала по всему моему телу...

Я лежала долго, без мыслей, точно в забытьи. Потом мне стало представляться, что я

одна во всей усадьбе, уже замужня, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто, а я предупрежу его — и тоже неслышно появлюсь на пороге спальни... Как радостно поднимет он меня на руки! И мне уже стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало; мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно; я лежала и все более теряла чувство действительности. «Что ж, красивый, умный...» И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица...

А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома, — подумала я про свою горничную, — я пошла бы сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета... Но нет, — опять подумала я, — одной лучше... Я возьму ее к себе, когда выйду замуж...»

Что-то робко треснуло в зале. Я насторожилась, открыла глаза. В зале стало темнее, все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром. Соловьи умолкли, — медленно щелкал только один, живший в эту весну у балкона, маятник в зале тикал осторожно и размеренно-точно, а тишина в доме стала как бы напряженной. И, прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной... А что, если он не шутил? Что, если он медленно и неслышно подойдет к балкону?

Облокотившись на подушку, я пристально смотрела в зыбкий сумрак и переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю и позволяя увести себя

по сырому песку аллеи в глубину мокрого сада...

### III

Я обулась, накинула шаль на плечи и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эхо, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи.

По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конец сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой, только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, сердце у меня поминутно замирало, и, когда я наконец вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была

почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко обнимет меня.

Никого, однако, не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий, сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью... Я еще чего-то ждала, порою быстро взглядывала в сумрак рассвета... И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня, — то страшное и большое, что в тот или иной момент встретит всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня — и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали наконец на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев и была счастлива своими беззвучными слезами...

Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заалело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело, я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался

все больше и глубже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде... Но вот послышался резкий визг водовозки — мимо сада, на речку... Потом на дворе кто-то крикнул сильным, утренним голосом... Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни...

Сиверс утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сиверс подошел к моим дверям и крикнул мне:

— Наталья Алексеевна! Стыдно! Заспались!

А мне и правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему, — теперь я знала это уже твердо, — и, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикну-

ла в ответ, но так слабо, что он, верно, не слышал.

*1902–1926*

# СНЫ

В поле было холодно, туманно и ветрено, смеркалось рано. Еле светили подкрученные фитили ламп, и резко воняло керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции, на буфетной стойке в третьем классе спал под тулупом станционный сторож. Я прошел в комнату для господ — там медленно постукивали в полумраке стенные часы, на столе желтела прошлогодняя вода в графине... Я лег на вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, утомленный тяжелой дорогой под дождем и снегом. Спал я, как мне казалось, долго, но, открыв глаза, с тоской увидел, что на часах всего половина седьмого.

«И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей», — вспомнилась мне печальная строка из какой-то старой русской книги.

По-прежнему было холодно и тихо, по-прежнему чернела за окнами тьма...

Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно заныл звонок. Выйдя в третий класс, я увидел

мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье.

— Это поезд вышел? — спросил я.

Мещанин встрепнулся и взглянул на меня испуганно. Потом что-то пробормотал и, нахмурившись, быстро пошел к дверям на платформу.

— У него жена в родах помирает, — сказал проснувшийся сторож, сидя на буфетной стойке и вертя сигарку из газетной бумаги. — У всякого, значит, свое горе, — прибавил он рассеянно и вдруг сладко зевнул, оживленно, с непонятным злорадством заговорил:

— Вот тебе и женился на богатой! Второй день мучается, царския врата в церкви отворили — ничего не помогает. Теперь в город за доктором скачет, а к чему, спрашивается?

— Думаешь, не успеет?

— Никак! — ответил сторож. — Вернется он завтра вблизи вечера, а она к тому времени помрет. Беспременно помрет, — прибавил он убежденно. — Три раза, говорит, на оракул кидал, — кто, мол, раньше помрет, я али жена, и три раза выходило одно и то же. Перва...

как это? «Нечего тебе простирать в даль свои намерения», а потом и того хуже: «Молись Богу, не пей вина и пива и готовься в монастырь». А вчерась, говорит, во сне видел: будто обрили его догола и все зубы вынули...

Он, верно, говорил бы еще долго, но тут тяжело зашумел подходящий товарный поезд. Снова завизжала и заныла входная дверь, показался кондуктор в тяжелой мокрой шинели с оторванным на спине хлястиком, за ним смазчик с тусклым фонарем в руке... Я вышел на платформу.

Там я долго ходил в темноте ветреной, сырой ночи. Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане своими огромными красными глазами пассажирский паровоз. Я поднялся в полутемный, теплый и вонючий вагон, переполненный спящим народом, и уже на ходу поезда нашел свободную скамейку в углу около двери в другое отделение. В зыбком сумраке вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках и на поднятых спинках лавок, под полом гудели колеса, и, закрывая глаза, я все терял представление, в какую сторону идет поезд. Но прошел истоп-

ник с кочергой, похожий на негра, и не затворил возле меня двери. Послышался говор, потянуло махоркой... Мещанин, ехавший в город за доктором, сидел и курил с угрюмым, сосредоточенным выражением лица, на краю четвертой от двери лавки у чьих-то ног, а за растворенной дверью возле меня, в дымном сумраке под фонарем, тесной кучкой курили мужики и слушали кого-то, сидевшего против них.

— Да-а, братцы мои, — слышался сквозь гул бегущего вагона чей-то голос. — Да-а. И попадись в это самое разнесчастное село старичок-священник из Епифани. Перевели его, значит, из города в самый что ни на есть бедный приход, а за что перевели — пил дюже... значит, и перевели вроде как бы в наказание. А старичок пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо... «Сколько, мол, отец Петр, за кстины аль за похороны берете?» — «Не я, свет, беру, а нуждишка! Сколько силы твоей есть...» И вот так-то всегда. Перевели его, значит, весной, пробыл он честь-честью лето, а осенью и захворай. Года, что ли, такие, или простудился он, — лето-то, сами знаете,

какое было, — только, видимое дело, слабеть стал. И вот, братцы мои, почувявши такую историю, вышел он на Покров после обедни к народу, — и простился со всеми: «Должно, говорит, скоро я преставлюсь к Господу Богу, миряне, — простите, ежели согрешил что...» И, сказавши таким манером, поклонился народу и ушел в алтарь. А пришедши домой, сел было обедать, есть не наел, только ложкой помутил, встал и говорит сторожу, что при ем вместо служки был: «Что-то, говорит, мне холодно, свет, и так-то скушно, — просто мочи нет. Все дочка-покойница вспоминается, все будто ждет она меня к себе... Убирай, мол, со стола — не идет мне еда на ум». — «Напрасно вы такие речи говорите, папаша, — это сторож-то ему, — напрасно, мол, так случилось. Какие такие ваши года?» — «Нет, говорит, помру! Только дюже, говорит, везде горя много, и ужли никакой тому перемены не буде?» А на дворе не хуже теперешнего льет, невзгода, и уж вечер заходит. Поглядел этак старичок в окошечко, махнул ручкой и ушел к себе в горницу. А в горнице оправил лампадку да и прилег на часок. То ли он спал, то ли так, в за-

быть лежал, только уж ночь на дворе, а он все лежит да лежит...

— Вот она, дело-то какая! — сказал кто-то с глубоким вздохом. — На Покров, говоришь, вышло-то все это?

— Да ведь сказали, на Покров! — сумрачно перебил сильным голосом большой рыжий мужик с злыми глазами в рваном полушубке, сидевший на краю лавки против рассказчика.

— На Покров, на Покров, — подтвердил рассказчик. — Вечером. Ушел, говорю, к себе в горницу и лег... Да-а... Ушел и лежит и так будто угрелся на лежаночке, супротив лампадки, что никак не может подняться, помолиться да лечь как следует. Лежу, говорит, гляжу на лампадку и вдруг вижу: отворяется тихенько-тихенько этак дверь и входит ко мне дочь-покойница. «Что такое, думаю, что за притча такая, Господи?» А она проходит прямо ко мне и кладет мне руку на руку. Сама вся в черном, а лицо белая, белая да красивая! И этак вполголоса: «Встань, говорит, батюшка, иди поскорее — в церковь». Я р-раз с постели, а ей уже нету! Посидел я, посидел, и,

что больше сижую, все чудней и страшней мне становится. Вскочил, наконец того, на ноги, захватил ключи от церкви, накиннул шубенку, выбрался в сенцы... Темь, жуть, сенцы так и гудут от бури, — нет, думаю, надо итить! Спешу на гору, дохожу до церкви, — глядь, а там огонек теплится, ровно бы покойник на ночь поставлен. Оробел я опять, одначе перекрестился — и на паперть. Насилу ключом в замок попал. Отворяю дверь — нет тебе никакого покойника, а только горит свечечка над царскими вратами. Кто ж это, думаю, ее зажег, что такое буде? Стою ни жив ни мертв, вдруг р-раз! — отдернулась занавесь на царских вратах, растворяются этак широко и тихо двери, и выходит из темени, из самого, значит, алтаря, огромный красный кочет. Вышел, остановился, затрепыхал крыльями и как закричит на всю церкву: ку-ка-ре-ку! Пропел до трех раз и пропал. И только, значит, пропал, выходит из алтаря другой, белый, как кипень, и запел еще громче прежнего. И опять до трех раз... У меня, рассказывал священник поутру, руки, ноги отнялись, а я все стою и жду, что будет дальше, а дальше выхо-

дит и третий: черный, как головешка, только гребешок светится, и запел он, братцы, мои, таково жутко и строго, что опустился я на колени и говорю этак внятно и отдельно на всю церкву: «Да воскреснет Бог и расточатся враги его!» И только, это, сказал я, — нет тебе никаких кочетов, а стоит передо мною седенький-седенький монашек и говорит мне тихим голосом: «Не пужайся, служитель Божий, а объяви всему народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела!»

— Вот за это-то за самое и называют вашего брата храпоидолами, чертями, — громко сказал мещанин, открывая глаза и угрожающе нахмуриваясь. — Ночь, скука, а он ишь какие суеверия сидит разводит! Ты к чему все это гнешь-то, а?

— Да ведь я ничего плохого, — несмело пробормотал рассказчик.

— Позволь, — ты откуда взял-то все это?

— Как откуда? Сам священник, говорят, рассказывал.

— Священник энтот помер, — перебил мещанин.

— Это верно, верно... помер... вскорости и помер...

— Ну, значит, и брешут на него, что в голову влезет. Ведь это сновидение. Дубина!

— Да я-то про что ж! Известно, сновидение.

— Ну и молчи, — опять перебил мещанин. — Да и курить-то давно пора бросить, надымили — овин чистый!

— В первый класс иди, коли не ндравится, — сипло и зло сказал рыжий мужик.

— Побреши еще!

— Брешут собаки да твои свояки!

— Буде, буде, ребята! — закричали мужики, заволновавшись.

Бранившиеся смолкли, и в вагоне на время наступила тишина. Потом мещанин вздохнул.

— Ну и стерва, прости ты меня, Господи! — задумчиво и серьезно сказал он таким тоном, точно был в вагоне один.

И опять наступила тишина с глухим говором колес, храпом и дыханием спящих.

— А за что ругаться-то? — спросил рассказчик, когда бранившиеся угрюмо успокоились. — Кто первый начал-то? Ведь ты! Мы

балакали промеж себе...

— Чо-орт! — ответил мещанин поспешно, и голос его страдальчески дрогнул. — Ведь ночь, скука, а у меня, может, жена и дите помирают. Пойми!

— Горя-то и у других не мене твоего, — ответил рыжий мужик.

— Не мене! — передразнил мещанин. — Я, может быть, тысячи не пожалел бы теперь на доктора, а он за сто верст, а дорога — ни проходу, ни проезду! Вчерась измаялся, ткнулся в чем был на постель и вижу — будто обрили меня догола и все зубы вынули! Пойми — сладко?

— Ага! — сказал рыжий мужик. — Покаялся? А то — сновиде-ение!

— До Туровки кто имеет билеты? — прокричал кондуктор, проходя по вагону.

И, осветив фонарем чьи-то ноги, крепко хлопнул возле меня дверью в соседнее отделение.

Поднявшись с места, я снова отворил ее и стал на пороге. Мещанин сидел, спал, согнувшись, а рыжий мужик говорил со сдвинутыми бровями тому, который рассказывал:

— Ну, ну, доказывай дальше.

Несколько полушубков стеснилось вокруг рассказчика, несколько серьезных глаз блесло в дымном сумраке глухо гудящего и бегущего вагона. Рассказчик вздохнул и уже хотел было начать говорить, но тут рыжий поднял на меня глаза и сипло сказал.

— А тебе, господин, что надо?

— Послушать хотел, — ответил я.

— Не господское это дело мужицкие побаски слушать.

— Да-а, братцы мои, — снова заговорил рассказчик прежним тоном, как только я отошел, — и стоит, значит, перед ним седенький, седенький монашек и говорит ему тихим голосом: «Не пужайся, мол, служитель Божий, а слушай и объяви народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела...»

Но, начав громко, рассказчик мало-помалу стал понижать голос. Тщетно я вслушивался — все тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих. Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза, возвещавший о станции, с лавки возле меня

поспешно вскочил юнкер в очках, оглянулся вокруг себя странными глазами и, опять быстро опустившись на скамью и облокотившись на свой сундучок, тотчас же опять заснул. Какая-то пожилая женщина в темном ситцевом платье поднялась, болезненно морщась, и поплелась в сени. Лежащие, мешки, сундуки и полушубки составляли грубую и печальную картину, которая раскачивалась передо мною. Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперед к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил, но, когда я насторожился, чтобы расслышать, что он говорит, из дымного сумрака против меня ничего не было слышно, только блестели серьезные и злые глаза.

*1903*

# Далекое

Иле девять лет. На нем гимназический картуз, шелковая коричневая косоворотка, козловые сапожки с сафьяновым ободком на голенищах. Он сидит сзади отца на беговых дрожках, дрожки шибко катятся большой дорогой, а вокруг — поле, летнее жаркое утро...

Старую донскую кобылу подали к крыльцу чуть не на рассвете. Но, боже, сколько раз заглядывал Иля в кабинет отца, в тщетной надежде, что разговор со старостой кончен! Уже и росистая трава в тени от амбаров успела высохнуть, и запахло в саду оцепеневшей на солнечном припеке черемухой... Даже кобыла и та стала задремывать от скуки: осела на левую заднюю ногу, прижала одно ухо, прикрыла глаза...

Но всему бывает конец, кончилась и пытка ожидания. Держится Иля за кожаную подушку сиденья, задрав ноги на заднюю ось и почти касаясь лбом ружейных стволов на спине отца, поглядывает, как трепещут сверкающие на солнце спицы, как бежит по пыли возле них белая, с подпалинами, Джальма,

близко видит загорелую шею и широкий затылок под белым картузом... Солнце стоит высоко и сильно припекает, кожа на дрожках стала горячая, — приятно пахнет нагретой кожей и колесной мазью. Душная, густая пыль облаком встает из-под колес, парусиновый пиджак на плечах отца темнеет. Но вот и проселок полевой рубеж, длинным, узким коридором теряющийся меж степами высокой серо-зеленой ржи. Отец сдерживает лошадь и закуривает, пуская через плечо клуб душистого дыма...

Ах, эти проселки! Весело ехать по глубоким колеям, заросшим муравой, повиликой, какими-то белыми и желтыми цветами на длинных стеблях. Ничего невидно ни впереди, ни по сторонам — только бесконечный, суживающийся вдаль пролет меж стенами колосистой гущи да небо, а высоко на небе — жаркое солнце. Синие васильки, лиловый куколь и желтая сурепка цветут во ржи. Дрожки задевают колосья, растущие кое-где по дороге, и они однообразно клонятся под колесами и выходят из-под них черными, испачканными колесной мазью. Мелкие кузнечики су-

хим дождем непрерывно сыплются из подорожника... Неожиданно потянуло откуда-то легким ветерком, солнечной теплотой... Отец подбирает вожжи... И опять заиграли спицы, закружились перед глазами пестрые венки навертевшихся на втулки цветов, запрыгали дрожки по выбоинам... Тут надо держаться покрепче, но, ухватившись за сиденье обеими руками, все-таки пристально следишь за тем, как навстречу, лоснясь, бегут серо-зеленые волны, как тень от облачка то там, то здесь на мгновение затушевывает их, как носится, хлопая ушами, за перепелами и жаворонками Джальма: иногда совершенно пропадает во ржи, — только по волнистой линии, струящейся за нею, видно, где она, — а иногда высоко выпрыгивает из колосьев, удивленно озираясь по сторонам...

Порою встречалась телега, в ней — баба с белоголовым мальчиком на коленях, которая неумело держит веревочные вожжи, неумело сворачивает, заезжая в рожь, а бокастая лошаденка с жадностью хватает губами колосья... Встретился однажды мужик: он без шапки сидел на грядке телеги, возле длинного уз-

кого гробика из золотистого теса, и веселое лучистое солнце жарко пекло его лохматую голову... Встречался урядник верхом на худой, длинношеей кляче или бородатый, могучий о. Алексей в широкополой шляпе, высоко восседавший на своей тележке, за которой бежал жеребенок мышиноного цвета, на длинных, тонких ножках... А не то вдали показывался тарантас, а в тарантасе — загорелый помещик в крылатке, в дворянском картузе, с изумленно выкаченными белками. Увидав соседа, он изумлялся еще более, радостно таратил глаза и разводил руками, меж тем как кучер в плиссовой безрукавке и круглой шапочке с павлиньими перьями останавливал тройку. Останавливал лошадь и отец, слезал с дрожек навстречу вылезавшему из тарантаса толстяку — и начинались бесконечные разговоры. Помещик говорит страшно громко, размахивает руками и все кого-то бранит... Потом над чем-то долго, с мучительным наслаждением хохочет, сотрясаясь всем телом... Отец тоже кричит и тоже хохочет.

— Ну, до свиданья, до свиданья! — наконец говорит он, нахохотавшись.

— До свиданья, батюшка, очень рад был встретиться!

— Мой поклон вашему семейству!

— И вашим также передайте мой сердечный привет!

— Восемнадцатого будете?

— Обязательно, обязательно!

Помещик становится на подножку тарантаса, накренивая его, с трудом усаживается... Но не проходит и минуты, как сзади опять раздается крик:

— Сосед! На минуточку!

И опять стоянка, опять разговоры...

Утомленная, но счастливая своими хлопотами Джальма сидит у колес и жарко дышит, изредка, с коротким стуком, ловя зубами мух. В небе блестят и кудрявятся белые облака, всюду столько света и радости, как бывает лишь в июне, и все неподвижнее становится воздух к полудню. Два желтых мотылька, как два лепестка розы, беззвучно и однообразно играют над склонившимися в оцепенении колосьями, над цветами и травами, нагретыми зноем. Сладко пахнет васильками. И, щурясь от солнца, Иля в забытьи следит за облаком,

похожим на пуделя, которое, медленно тая, плывет по светозарной сини неба, прислушивается, как сипят в траве кузнечики, а над головою на тысячу ладов сонно звенит жалобными дискантами воздушная музыка насекомых, неумолчно воспевающих дали, млеющие в мареве зноя, радость и свет солнца, беспричинную, божественную радость жизни...

Наговорившись, отец гонит лошадь шибко, и дрожки прыгают и несутся под изволок, к какому-то широкому логу среди степных косягов.

За этим логом следует подъем на покатуую гору, залитую зелеными овсами, а с горы открывается видна новый, еще более широкий и разлтый лог. Тут были заливные болотистые лужки, и мелкая степная речка, извивавшаяся под ним, делала много широких затонов, густо заросших зелеными щетками куги. Оттого, что горизонт был со всех сторон замкнут этими похожими на ржаные хлеба косягами, глухо было тут на редкость, но какая милая, своеобразная жизнь, жизнь куличков, бекасов и диких чирков, чувствовалась в тишине и глуши этих мелких затонов!

— Держись! — кричит отец сквозь дребезжание бегущих под гору дрожек.

И вдруг дребезжание сразу обрывается.

Под горою ветерок спадает. Солнце печет, колеса шуршат в густой, насыщенной водой траве. Пресно пахнет теплым илом, разогретой кугою; белая, как снег, рыбалка неожиданно вырывается из кочкарников и сверкает в воздухе острыми крыльями... А вот и болото — серебристо-зеркальные затоны с островками тонколистой осоки...

Не спуская с них глаз, отец передает Иле вожжи, осторожно слезает с дрожек и, скинув ружье, торопливо, но бесшумно направляется к ним.

— Джальма! — строго, отрывисто и негромко говорит он каким-то особым, условным тоном Джальме, которая перепрыгивает с кочки на кочку с высунутым языком. Длинные сапоги его тонут в мягких кочкарниках, серебристые пузыри болотного газа остаются в его следах, отпечатывающихся в бархатистой и влажной траве... От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть...

— Джальма!

И Джальма, быстро оглянувшись, вдруг — бултых в воду и, наслаждаясь прохладой, медленно плывет к затону, к камышам. Из воды видна только ее вытянутая прилизанная голова с опущенными ушами и длинный хвост, который плывет за ней, как чужой, как палка. Потом и голова и хвост заворачивают в камыши, отец входит по колена в воду и тоже скрывается в камышах. Проходит десять, двадцать минут напряженного молчания... Где-то далеко раздается тяжкий, глухой выстрел... Весь встrepенувшись, пристально глядит Иля вперед, но за камышами ничего не видно.

В камышах что-то осторожно попискивает и булькает; по широкой луже недалеко от дрожек, извиваясь, проплывает уж; перламутрово-голубые стрекозы с треском распускают длинные стеклянные крылышки, вылетая из горячей грани, а высоко в небе медленно вырастает и вытягивается большое белоснежное облако... Вот оно приняло образ сказочного исполина, а из затона, в котором, углубляя его, ярко светит отражение этого исполина, что-то глухо, угрюмо и жалобно ухнуло... Ухнуло и выжидательно замолчало...

— Бычки! — вспоминает Иля загадочное слово, оброненное отцом, и весь замирает от сладкого ужаса.

Воображение мгновенно создает образ какого-то фантастического существа, одного из тех страшных подводных жителей, что глубоко скрываются в болотах и только изредка высовывают свои лобастые рогатые головы с выпученными глазами на свет божий. Что, если выглянет такой бычок именно теперь, в этот безмолвный час знойного полдня? И, косясь на затон, Иля не замечает, что картуз его съехал на затылок, что комары облепили ему потную шею и руки и что ослепительно-жаркое солнце бьет прямо в лицо... Вдруг раздаётся кашель. Иля вздрагивает и мгновенно возвращается к действительности. Отец идет, по пояс мокрый, хлопает тяжелыми сапогами, налитыми болотной водой.

— Тут... бычки, — говорит Иля нерешительно.

— Ну и что же?

— Они очень большие?

— Кто? Бычки-то? Да ведь это жучки! Водяные жучки!

— Как жучки? — бормочет Иля, пораженный и разочарованный.

Отец раскраснелся, расстегнул ворот рубашки, лицо у него доброе и оживленное. Подойдя к дрожкам, он бросает Иле убитого чирка, и, мгновенно забыв о бычках, Иля с жадностью ловит его на лету. Чирок еще теплый! Головка с закатившимися глазами, подернутыми белесою пленкой, бессильно падает на радужный зобик, брюшко в запекшейся крови... Но как оно славно пахнет тиной и порохом! И Джальма вылезает из осоки тоже веселая и удовлетворенная. Глаза безумные, с длинного красного языка льет слюна, белая атласная шерсть вся прилизана, уши висят, ноги в иле, — точно в черных чулках...

Мокрые блестящие шины колес снова шуршат по бархатной сочной траве, изредка врезываясь в воду и разбрасывая во все стороны светлые длинные брызги. Лужи, в которых золотыми полосами то там, то здесь резко вспыхивает жаркий солнечный блеск, мелькают перед глазами... Из куги то и дело с жалобными стонами вырываются кулички... Потом мягкий кочкарник сразу обрывает-

ся, — дрожки снова трещат по дороге, убегающей в гору...

Ах, когда Иля вырастет, он будет самым счастливым человеком в мире! Он поселится на хуторе, будет жить только охотой, будет каждый день чистить кирпичом и промывать свое ружье, будет варить себе кулеш, спать возле порога дома на войлоке, а просыпаться еще в ту пору, когда едва-едва брезжит зелено-серебристый рассвет...

Но и теперь чудесно. Дышит Иля чистым полевым ветром, слушает хохлатых жаворонков, распевающих над полями, в облаках, в бесконечном просторе... Степь вокруг, куда ни кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в степи, ни кустика, ни деревца, — только далеко впереди машет, как утопающий руками, чья-то мельница.

*1903–1926*

# Цифры

## I

**М**ой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, — это было после одной из наших ссор с тобой, — и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?

Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую

способно только детство!

Но это была слишком крупная ссора.

Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?

— Покойной ночи, дядечка, — тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.

Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это — и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:

— Покойной ночи.

Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобой, ты забыл и свою обиду, и свое самолю-

бие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:

— Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!

Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя...



Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.

Только что открылись для тебя еще не изведенные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши — непременно цветные! — и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

— Но сегодня царский день, все заперто, —

соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.

Но ты замотал головою.

— Нет, нет, не царский! — закричал ты тонким голоском, поднимая брови. — Вовсе не царский, — я знаю.

— Да уверяю тебя, царский! — сказал я.

— А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуй-ста!

— Если ты будешь приставать, — сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, — если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.

Ты задумался.

— Ну, что ж делать! — сказал ты со вздохом. — Ну, царский так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, — сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, — ведь можно же в царский день показывать цифры?

— Нет, нельзя, — поспешно сказала бабушка. — Придет полицейский и арестует... И не приставай к дяде.

— Ну, это-то уж лишнее, — ответил я ба-

бушке. — А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером — покажу.

— Нет, ты сейчас покажи!

— Сейчас не хочу. Сказал, — завтра.

— Ну, во-от, — протянул ты. — Теперь говоришь — завтра, а потом скажешь — еще завтра. Нет, покажи сейчас!

Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех — лишаю тебя счастья, радости... Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.

И я твердо отрезал:

— Завтра. Раз сказано — завтра, значит, так и надо сделать.

— Ну, хорошо же, дядька! — пригрозил ты дерзко и весело. — Помни ты это себе!

И стал поспешно одеваться.

И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси...» — и проглотил чашку молока, — вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики...

И весь день нельзя было унять тебя. И обе-

дал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.

— Покажешь? — спрашивал ты иногда. — Непременно покажешь?

— Завтра непременно покажу, — отвечал я.

— Ах, как хорошо! — вскрикивал ты. — Дай бог поскорее, поскорее завтра!

Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы — бабушка, мама и я — сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.

### III

Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

— Перестань, Женя, — сказала мама.

В ответ на это ты — трах ногами в пол!

— Перестань же, деточка, когда мама просит, — сказала бабушка.

Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься. Трах ногами в пол!

— Да перестань, — сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.

— Сам перестань! — звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.

Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.

Но вот тут-то и начинается история.

Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.

Но и этим дело не кончилось.

Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, — крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.

— Перестань! — рывкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.

Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!

— А! — звонко и растерянно крикнул ты еще раз.

И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.

А я — я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.

Вот тебе и цифры!

## IV

От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в

мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуха еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...

Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, — вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям — крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.

— О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!

— Небось не умрешь, — холодно сказал я. — Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.

Но ты не смолкал.

Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажег папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.

— Ужасно испорченный ребенок! — сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. — Ужасно избалован!

— Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! — вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу — к бабушке.

И бабушка едва сидела на месте.

Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.

Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.

Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!

Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с досто-

инством справедливого, хотя и строгого дяди?  
Наконец ты затих...

## V

— И мы тотчас помирились? — спрашиваешь ты.

Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.

Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками — пустыми коробочками от спичек, — расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.

Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!

Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел

подоконники, столы... Где это мой портсигар?... И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:

— Теперь я никогда больше не буду любить тебя.

Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:

— И никогда ничего не куплю тебе.

— Пожалуйста! — небрежно ответил я, пожимая плечом. — Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.

— Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! — крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.

— А вот это уж и совсем нехорошо! — ответил я. — Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.

Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно... по делу... Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо,

когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.

— А то дядя рассердится и уедет в Москву, — говорила бабушка грустным тоном. — И никогда больше не приедет к нам.

— И пускай не приедет! — отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.

— Ну, я умру, — говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.

— И умирай, — отвечал ты сумрачным шепотом.

— Хорош! — сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. — Хорош! — повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.

И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она — вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:

— Вот так мальчик!

— Да не обращай на него внимания, — ска-

зала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. — Охота тебе разговаривать с такой злючкой!

И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.

## VI

В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.

Но тут послышался шепот бабушки.

— Бесстыдник, бесстыдник! — зашептала она укоризненно. — Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы...

Я громко прервал:

— Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.

Но бабушка знала, что делает.

— Как же не в гостинцах? — ответила она. — Не дорог гостинец, а дорога память.

И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:

— А кто же купит ему теперь пенал, бума-

ги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал — туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги, впрочем, — прибавила она, — делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.

И вышла из детской.

Кончено, самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.

Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.

С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?

Счастье, счастье!

Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!

Но жизнь ответила:

— Потерпи.

— Ну пожалуйста! — воскликнул ты

страстно.

— Замолчи, иначе ничего не получишь!

— Ну погоди же! — крикнул ты злобно. И на время смолк.

Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды... Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.

Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни... Смирись, смирись!

И ты смирился.

## VII

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?

— Дядечка! — сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. — Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.

Но жизнь обидчива.

Она сделала притворно печальное лицо.

— Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но

ты не любишь дядю, огорчаешь его...

— Да нет, неправда, — люблю, очень люблю! — горячо воскликнул ты.

И жизнь наконец смиростивилась.

— Ну уж бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу...

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!

Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, — совсем как маленькие птички.

— Один... Два... Пять... — говорил ты, с трудом водя по бумаге.

— Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

— Сейчас, сейчас, — говорил ты поспеш-

но. — Я сначала: один, два...

И смущенно глядел на меня.

— Ну, три...

— Да, да, три! — подхватывал ты радостно. — Я знаю.

И выводил три, как большую прописную букву Е.

*1906*

# У истока дней

## I

**В** тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто.

Я вижу большую комнату в бревенчатом доме на хуторе средней России.

Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в вишневый сад.

В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет.

Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым.

На дворе сухо, — погожий конец степного августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, почти до того места, где сидит на полу ребенок.

А он открыл дверцу в тумбе туалета, обоняет кисленький запах старинных духов и тщательно укладывает на полированную полочку синие гербовые бумаги.

Нужды нет, что эти бумаги покрыты строками крупных непонятных завитушек и что

не приказано ни рвать, ни пачкать их: радостно уже одно и то, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет твоею.

Так было и сказано:

— Вот эта тумбочка с нынешнего дня — твоя.

А для того, чтобы было что укладывать, подарили большую кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненых пузырьков, стоящих на туалете. И все это будет спрятано сюда же.

Но на свете, как известно, все кончается: бумаги уже несколько раз укладывались на полочке и так и этак, порядок, в котором они должны быть, строго обдуман, — остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности — и заняться чем-нибудь другим.

Чем же?

Ребенок стоит возле туалета и осматривается.

Увы, в простой деревенской комнате с голыми бревенчатыми стенами совсем почти

пусто: только стулья, да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашенный пол.

Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и, прижавшись лицом к стеклу, расплющить нос... Очень заманчива и паутина — легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна... Но, во-первых, до нее не дотянешься, если даже приставить к окну стул, а во-вторых, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук.

И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запинкой, по-крестьянски — пуак — и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха.

Сладко следить тогда за ее гибелью!

Жалобно и долго, долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь... Но помощи нет, и время течет среди ее однотонного плача в полной неизвестности, что будет дальше... И вдруг он, этот темно-серый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бе-

жит по паутине... схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и наконец уже, слабую, затихающую, тянет ее в свое жилище...

Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин, чем занят он?

Нечаянно взгляд ребенка падает в эту минуту на зеркало.

## II

Я хорошо помню, как поразило оно меня.

С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Точно в сновидениях живу я в них. И вот оно, первое сновидение у истока дней моих.

Ранее нет ничего: пустота, несуществование.

Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую невыразимую радость, которую они дали мне, — и зеркало.

Между колонками туалета, в тяжелой прихотливой раме, висело что-то светлое, блестящее, красивое — и непонятное. Я видал его и

ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило — приобрело свой собственный лик, полный непонятного.

Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидел там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только более заманчивую, более красивую, увидел самого себя — и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.

Я восторженно оглянулся... Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня — и стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты... Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга! И вот один из нас вдруг закрыл глаза — и все исчезло: остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте... Потом снова открыл их — и снова увидел все то, что уже видел... Не странно ли только, что комна-

та в зеркале падает, валится на меня?

Робко приблизился я к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее.

Зеркало блеснуло, стукнулось о стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня, падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья... Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне — и потянул раму к себе. Зеркало блеснуло, завалилось назад — и все исчезло... И как раз в эту минуту кто-то хлопнул дверью, и я вздрогнул и громко крикнул от страха.

### III

Что было дальше?

Много раз пытался я вспомнить еще хоть что-нибудь; но это никогда не удавалось.

Вспоминая, я быстро переходил к выдумке, к творчеству, ибо и воспоминания — то мои об этом дне не более реальны, чем творчество.

Твердо помню только одно: зеркало поразило меня именно в этот день. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало.

Но как?

О, много было лукавств и ухищрений!

Они, эти ухищрения, кончались всегда неудачей. И пережив неудачу, я, конечно, забывал о зеркале. Но вот я опять оставался наедине с ним — и опять испытывал его власть над собою.

Я любил угловую комнату, когда она была пуста. Я входил, затворял за собой двери — и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейственную жизнь.

Так тихо, так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче замирающей в паутине мухи!

И я затаивал дыхание, и казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною.

Мальчик, стоящий предо мною в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительнее, смелее, чем тот, что стоял в ней в светлый августовский день несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива... стократ заманчивее той, в которой был я! И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтою побывать, пожить в этой отраженной

комнате!

Только существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее?

Чтобы узнать все это, нужно прежде всего обмануть кого-то.

И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна — и вдруг быстро оборачивался к туалету...

Нет, все по-прежнему!

Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала? Закрывать глаза и притворяться спящим... А затем сразу открыть их...

Увы, снова хитрость моя рассыпается прахом!

Оставалось еще одно: приоткрыть ресницы — так мало, так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты...

Но как это трудно!

Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же: или совсем ничего не видно, или хоть слабо, но видно все!

И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между

ними и стеною. Но и там, именно там, где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме бревен с одной стороны и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой!

— Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками?

Говорят, что за этими дощечками только стекло, намазанное ртутью. Да, но что такое ртуть? Ртуть тоже нечто чудесное. Положил кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы — и вдруг хлебы запрыгали по печке! А главное: почему поспешили закутать это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, в черный коленкор, как только умерла Надя?

В эту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной суматохой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери, — зеркало завесили черным коленкором.

Я, спавший в угловой комнате на широкой постели, и диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная

нянька и накинула на зеркало кусок черной материи.

И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя — тайна!

#### IV

Ночи предшествовали тяжелые, печальные дни.

Стоял февраль, наполнявший комнаты скудным полусветом.

А девочка была больна уже давно, и казалось, что конца не будет этим дням, этому скудному полусвету и тишине, воцарившейся с тех пор, как в детской, пропитанной сладковатым запахом лекарств, затворили двери и завесили окна темными шторами.

В глуши, на хуторе, заброшенные, забытые, жили мы тогда: мать, Надя, нянька Дарья, большая властная старуха, я и мой воспитатель, — если только можно было назвать так этого странного человека, похожего на Данте, — человека без роду, племени, уже много лет скитавшегося по мелким помещикам, обучавшего их детей и нигде не уживав-

шегося.

Я медленно, с трудом читал, а он, этот Данте, в стареньком узеньком кургузом сюртучке и коротких панталонах, из-под которых торчали грубые рыжие сапоги, ходил по комнате из угла в угол и думал, думал, бормоча свои думы себе под нос и порою с злорадным наслаждением похохатывая.

А смерть уже незримо реяла среди нас, и печальную тишину дома нарушали только шаги моего воспитателя и мое однотоное чтение. И читал я как раз о ней: читал песнь о старом нормандском бароне, умиравшем в отдаленном покое замка в бурную и темную ночь рождества Христова. И когда она появилась наконец — столь грозная, что даже собаки на дворе завыли, услыхав вопли в доме, — тотчас же было брошено черное покрывало и на то, что каким-то образом было причастно ее тайне!

## V

Я уснул, чувствуя томительную тоску. За окнами чернела ночь, комната была слабо озарена стоявшей на полу возле кровати свечой.

Обычно со мной спала мать. Но с тех пор, как заболела девочка, на ночь стала приходить ко мне нянька. А в эту ночь даже и няньки не было. Она только изредка входила, вынимала что-то из ящиков туалета, шепотом говорила мне: «Спи, спи, я сейчас приду», — и снова уходила. И я пытался уснуть.

Но тоска, предчувствие чего-то, что вот-вот должно совершиться, будили меня, едва только я начинал забываться. Задремлю — и вдруг вскочу с бьющимся сердцем и страстным желанием закричать о помощи.

Но даже крикнуть я не смел — так тихо было в доме и так странно блестело зеркало, наклонно висевшее между колонок туалета и отражавшее покаты́й пол и дрожащий длинный огонь свечи, стоявшей возле кровати. И вот...

Поднялась какая-то возня, слышались испуганные, торопливые голоса, стук дверей, а вслед за ними сдавленный, ужасный крик... Пораженный им до глубины сердца, я вскочил, сел на колени и замер, уже готовый ответить на этот крик криком еще более ужасным, как растворилась дверь, и по комнате,

сотрясая пол своею тяжестью, пробежали нянька с черным куском коленкора в руках...

Потом меня, дрожащего от ужаса и изумления, зачем-то одели, и воспитатель мой повел меня в ту, слабо освещенную синей лампадкой комнату, где на ломберном столе, покрытом простынею, лежала кукла в розовом платье...

Помню, как мы остановились на пороге этой комнаты и, перекрестившись, поклонились в угол, лампадке и этой кукле...

Помню даже, что набожное смирение, с которым медленно перекрестился и поклонился мой воспитатель, показалось мне неестественным...

Мне показалось, что он пьян: это с ним случалось нередко... И от этого мне сделалось еще страшнее.

А он, с истовостью пьяного человека, жалящего показать, что он несколько не пьян, а, напротив, сознательно, серьезно и спокойно делает все то, что полагается в таких случаях, подвел меня к столу, приподнял за плечи — и я увидел бледное, безжизненное личико и тусклый блеск мертвых, слизистых глаз

под неплотно смежившимися черными ресницами, четко выделявшимся среди бледности... В этом было что-то безобразное!

Безобразно-ужасен был и сон, которым я забылся после того.

Я до сих пор чувствую всю нескладную, горячечную суматоху всех этих людей, наполнивших дом и начавших торопливо переносить и передвигать из комнаты в комнату столы, стулья, кровати и зеркала, как только я закрыл глаза.

Девочка мгновенно ожила, хотя и осталась все такой же загадочной и безмолвной, какой она была на столе, и поспешила вмешаться в суматоху, бегая из комнаты в комнату под ногами мужиков, торопливо носивших на руках стулья и зеркала, покрытые черным коленкором.

Как это она могла ожить и остаться в то же время мертвой?

Как это она могла бегать и не упасть, когда лицо ее было столь же слепо и безжизненно, как тусклая полоска ее глаз, блестевшая в прорезе неплотно прикрытых ресниц?

Наконец настало утро.

## VI

Ах, как хорошо сделал господь бог, создавши свет! Сколько раз в жизни говорил я эти слова, открывая глаза после тяжких ночных сновидений! Как этот свет успокаивает, как укрощает и душу нашу, и все окружающее нас!

Белый, спокойный и простой день был в мире, когда я проснулся.

Но, проснувшись, я тотчас взглянул на зеркало... О, каким печальным показалось оно мне!

Да и не одно оно. Все в доме было печально: и заплаканная, похудевшая, с блестящими глазами, мать, и серьезный воспитатель, и притихшая, уже далеко не столь властная, как прежде, старуха-нянька, и разговоры вполголоса, и эта кукольная девочка с восковым личиком, лиловатым виском, неживыми локонами и полуприкрытыми ресницами, изпод которых еще тусклее, чем вчера, блестела полоска стеклянных глаз...

А потом, в солнечный морозный день с метелью, приехали на трех розвальнях попы, нанесли в дом холоду, запаха снега и ладана

и стали с грустными причитаниями и пением ходить вокруг лежащей на столе куклы, кланяться ей и дымить на нее из кадила...

И с какой изысканной деликатностью, с какой кокетливой печалью заливался в этот день высокий горловой тенор всегда смелого и даже наглого о. Федора!

Как он легко, точно в кадрили, то приближался к столу, то пятился назад и своей ловкой рукой — далее не рукой, а только одной кистью — высоко взвивал пылающее кадило и потоплял в синих клубах церковного благоухания неподвижно лежащую куклу!

И как чувствовал я в этот день всю сладость страстных рыданий матери, когда заливающийся тенор грустно утешал ее неизреченной красотой небесных обителей. И какой болью сжалось мое сердце в тот момент, когда гробик, наскоро сбитый из пахучего соснового теса, навсегда закрыли крышкой и понесли, среди пения, в розвальни, возле которых, в солнечной морозной метели, ветер, развевал волосы на обнаженных головах мужиков!

Надолго застыл после того в тишине и грусти наш бревенчатый флигель.

Весеннее солнце по целым дням наполняло радостным блеском детскую, — теперь нашу классную, — но померкли все мои радости!

Что это случилось с милой веселой девочкой, которая так звонко выкрикивала когда-то свое имя, а теперь лежит в селе на погосте, в могиле?

Откуда пришла она? Зачем росла, прыгала, радовалась вплоть до того рокового вечера, в который точно какой-то злой дух дохнул на нее своим пламенным дыханием?

С разгоревшимся личиком, с сияющими глазками, она была особенно оживлена в тот вечер — и вдруг поникла на плечо матери.

— Мама, бай!

И тотчас же ее унесли в детскую, и это был последний час, в который я видел ее: живой из детской она не вернулась.

Вот идут дни за днями, а ее все нет — и никогда не будет...

Даже и люльку ее снесли в чердак...

Вот вынимают зимние рамы, и наша

классная наполняется душистой свежестью и теплом яркого солнца... А ее нет — и никогда не будет!

Говорят, что она на погосте, в Знаменском. Но вся ли? То живое, прекрасное, что было в ней, не там, а где-то далеко... в раю, в небе.

В тихие апрельские сумерки, когда я сидел с нянькой у раскрытого окна, выходящего в темный и свежий сад, я подолгу смотрел на меркнувший нежно-алый закат, по которому громоздились синие тучки, похожие на саркофаги. И когда над ними в зеленоватом небе вспыхивало серебристое зерно первой звезды, нянька говорила мне:

— Вон душенька нашей барышни.

Но и в этих словах... Нет, это было слишком просто! Это было так же просто, так же ничего не объясняло, как и то, что зеркало есть стекло, намазанное ртутью.

## VIII

И велико было мое недоумение, когда я убедился в этом!

Не раз отодвигал я зеркало от стены и не раз убеждался, что ничего-то нет за ним, кроме бревен, паутины и шершавых дощечек!

Однако нужно было заглянуть и под эти дощечки!

И однажды, когда в доме все спали, я отодвинул, замирая от страха быть пойманным, зеркало от стены — и кухонным ножом приподнял одну из дощечек...

Да, меня не обманывали!

Под дощечкой ничего не было, кроме стекла, намазанного красно-коричневой краской.

Но, может быть, есть что-нибудь между этой краской и стеклом?

Нет, и там ничего нет: я слегка поцарапал концом ножа в уголке зеркала — и увидел... стекло!

Но не стала ли таинственная ртуть еще более таинственной после того?

Несомненно. Ибо разве не чудесно было и то, что сделал я? Я соскоблил ножом каплю красной краски и увидел, что чудесное стекло стало стеклом самым обыкновенным: прильнувши к тому месту, где я скоблил, можно было сквозь стекло видеть комнату...

Где я был до той поры, в которой блеснул первый луч моего сознания, пробужденного светлым стеклом, висевшим в тяжелой раме

между колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тихое младенчество?

— Нигде, — отвечаю я себе.

Но, в таком случае, я, значит, не существовал до этой поры?

— Нет, не существовал.

Но тут вмешивается сердце:

— Нет. Я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи: не знаю. И незнание твое — тоже тайна.

Моя память так бессильна, что я почти ничего не помню не только о своем младенчестве, но даже о детстве, отрочестве. А ведь существовал же я! И не только существовал, — думал, чувствовал, и так полно, так жадно, как никогда потом. Где же все это?

Это тоже тайна. И всюду она, эта всепроникающая власть тайны, власть, чаще всего злая, враждебная нам.

Чем только ни мучила она меня в пору моего младенчества!

Три свечи в комнате — к чьей-нибудь смерти.

Вой собаки ночью — к смерти.

Ворон, пролетевший со свистом крыльев низко над домом, — к смерти.

Разбитое нечаянно зеркало — к смерти.

Черный коленкор, накинутый на него, — символ смерти.

А что творится ночью на чердаках, в поле, на кладбище! Что отражается по ночам перед бедою в зеркалах!

— Вошла я это, матушка-барыня, ночи за две перед тем, как барышне умереть, глянула на туалет, а в зеркале стоит кто-то белый-белый, как мел, да длинный-предлинный!

— Да небось платье твое отразилось.

— И, бог знает что! Разве я не помню, в чем была? То-то и дело, что в юбке в одной бумажной да в темной кофточке!

И я порою думал: уж не права ли ты, моя старая наставница?

На зеркале и до сих пор видна царапина, сделанная моей рукой много лет тому назад, — в ту минуту, когда я пытался хоть глазком заглянуть в неведомое и непонятное, сопутствующее мне от истока дней моих до грядущей могилы.

Я видел себя в этом зеркале ребенком — и вот уже не представляю себе этого ребенка: он исчез навсегда и без возврата.

Я видел себя в зеркале отроком, но теперь не помню и его.

Видел юношей — и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало.

Но разве мое — это ясное, живое и слегка надменное лицо? Это лицо моего младшего, давно умершего брата. Я и гляжу на него, как старший: с ласковой улыбкой снисхождения к его молодости. А в зеркале отражается печальное и, увы, уже спокойное лицо!

Настанет день — и навсегда исчезнет из мира и оно.

И от попыток моих разгадать жизнь останется один след: царапина на стекле, намазанном ртутью.

1906

# Белая лошадь

Пошевеливая вожжами, землемер рассеянно слушал ладный топот копыт по гладкой августовской дороге.

Еще светло было, и дорога, убежавшая на восток, казалась фиолетовой.

Землемер смотрел вдаль, где поля замыкались линией чугунки, курил и приятно пьянел от несвязных певучих мыслей.

Уже по-осеннему пусто и сиротливо было в полях. Сиротливо дремали на кочках кроткие хохлатые жаворонки. Вяло и терпко пахло картофельной ботвой, горько тянуло откуда-то дымком... И землемер с певучей грустью смотрел на сероватые поля, над которыми уже реял чуть серебристый и, как всегда в засуху, рассеянный лунный свет.

«Любопытно, однако, знать, — подумал он, — что это со мною сегодня? Чего это я так разболтался и болезненно развеселился у Стойкого? Положим, не был дома уже две недели, устал как собака, дел переделал кучу... Может быть, от водки? Но много ли было выпито? Сущий вздор, две-три рюмки... Что

же в таком случае?»

Лошади стали: шлагбаум на переезде через линию был опущен, — нужно было слезать и стучать в будку.

Спокойный, бесцветный свет запада еще отражался в окне будки, и будка показалась землемеру необитаемой, почти страшной с этим тусклым блеском стекол и тишиной вокруг.

«Переезжать ли?» — подумал он.

Можно было переехать тут и держать путь на Егорьево, на Каменку... Можно и возле следующей будки: тогда дорога пойдет по опушке Дубровки, а потом по глухим лугам на Ястребиный Колодец...

И землемер остановился в нерешительности.

Но послышался ровный, медленный скрип телеги. И, взглянув направо, землемер увидел в легком лунном сиянии большую белую лошадь, — старую, седловатую, в гречке, с отвислыми губами. Череп ее был огромен; пук соломы, засунутый под узду, дико торчал возле правого полуприкрытого глаза.

— Куцы прешь! — крикнул землемер, за-

махиваясь кнутовищем.

Но лошадь и ухом не повела. Звонко хрипя от запала, она прошла возле самого его плеча, а за нею показалась скрипучая телега, пахнущая дегтем и рогожей. Лохматый рыжий мужик, в распоясанной красной рубахе, лежал в телеге вниз лицом.

— Эй, дядя! — шутливо крикнул землемер дрогнувшим голосом. — Ай помер?

Но мужик не поднял головы, не отозвался на крик.

И землемер, уже не раздумывая, ударил правой вожжой. Тележка чуть не перевернулась от крутого поворота и шибко покатила возле линии, за которой неясно серебрилось над полями лунное сияние.

По-прежнему на душе было и хорошо, и грустно, и тревожно... Все благополучно, все слава богу, но чего-то недостает... людей, может быть, жилья, приятеля... Хотелось петь, рассказывать свою жизнь... Спросить кого-нибудь: что же, наконец, будет на том свете что-нибудь или нет? Райские яблочки и черти в неугасимом пламени, конечно, вздор... Но ведь вздор и полное исчезновение. Зачем ро-

дился? Зачем рос, любил, страдал, восхищался? Зачем так жадно думал о Боге, о смерти, о жизни?

— Зачем, позвольте вас спросить? — сказал землемер вслух.

Существовать на том свете и в теперешнем виде он, конечно, не будет. Ибо, если он будет существовать, значит, и эти лошади будут существовать... и мириады мириад всех прочих лошадей, зверей, птиц, жучков, несметных мошек... Но и бесследно исчезнуть он не может. Он этому никогда не верил. Истомлен заботами, работой, частыми припадками удушья, а жить, сохранить себя хочет жадно. И поминутно трепещет за свою жизнь, во всем чует тайну, враждебность... Лунный свет в пустынных полях, тишина, темный камень вдали, коренник, который вдруг насторожит уши, — все страшно. Днем, когда вспоминаешь, просто, незначительно, а ночью — страшно...

«Это как васильки, — подумал землемер. — Днем синие, а погляди вечером, при лампе, — лиловые».

— Пи-пи-пи! — тонко и хищно зазвучало

вдруг где-то вверху, в рассеянном дивном свете.

Землемер оглянулся, увидел поле, телеграфные столбы, тусклый блеск, бегущий навстречу ему по рельсам, — и на душе стало еще тревожнее. Этот писк, писк кобчика или совки, затерявшийся в лунном свете, напомнил ему, что безмолвный, мертвый вечер кончился, что в полях начинается таинственная ночная жизнь. Кроткие хохлатые жаворонки, проводящие свои последние дни в осиротевшей степи, теперь спят. Но зато проснулись и всю ночь будут с жалким писком голода гоняться друг за другом все эти мелкие и крупные хищники, дремавшие днем на телеграфных проводах, таившиеся во рвах и на лесных опушках. Позевывая, выползла из своей норы в каменистом овраге лисица, вышла на лунный свет и осторожно потянула по скату, поводя пушистым хвостом... Зеленым фосфором вспыхнули волчьи глаза в дубовом кустарнике... И, представив себе страшную красоту этих глаз, землемер почувствовал приступ жуткого восторга.

Да, как жалко тьякает лисица, если она ху-

да, тоща, выгнана из своей норы более сильным зверем, каким-нибудь когтистым барсуком! Как плаксиво и зло скулит соколок голодный! И как томно потягивается и оскалывается лисица сытая, с густой лоснящейся шкурой! Каким звонким и дерзким смехом заливается этот тонкоголосый соколок, выбивши добычу у другого, слабого! И при мысли обо всем этом землемер содрогнулся от сладострастной жути.

Опять лошади стали перед будкой на переезде через рельсы, и опять загородила дорогу перекладина шлагбаума.

Но на дворе уже ночь, бледная, сухая, лунная, и будка не похожа на первую. Эта, живая, приветливая, манит к себе внутрь, где горит лампа и топится печь: видна яркая пасть печи, пляшущая большими языками красно-оранжевого пламени.

— Эй, хорошие люди! — слабо крикнул землемер, обрадованный жильем.

И тотчас же ожесточенно, захлебываясь, залилась возле лошадей лохматая шавка, и босая девочка скромненько и деловито подошла к шлагбауму. Загремела цепь, и огром-

ный журавль, медленно и плавно вырастая, потянулся головой к небу.

— Ты будочникова, девочка? — спросил землемер ласково.

— Будочникова, — ответила девочка и, наклонив головку и мелко перебирая босыми ножками, пошла поднимать вторую перекладину шлагбаума, за которой лунный свет и пустынное жнивье сливались во что-то легкое, светлое и серебристое, как далекое море.

— А что это у вас печь топится?

— Мать воду греет.

— Ай хлебы ставит?

— Нет, у нас малый помер.

Землемер широко раскрыл глаза.

— Как помер? — сказал он тревожно. — Когда?

— Сейчас только.

— А велик малый-то был?

— Семей месяц пошел.

Землемер облегченно вздохнул.

— Ну, ничего! — сказал он. — Мать еще родит.

— Да нам его не жалко, — просто ответила девочка. — У нас их пятеро. Да еще одного

недавно зарезало.

— Машиной?

— Машиной. Мать валяла пироги, а он выполз из будки и заснул... Нас судили за него, из могилы его откапывали, думали, что мы его нарочно положили.

Землемер засмеялся:

— Ах ты, злодейка этакая! Ну, прощай, спасибо за хлопоты!

— Час добрый, — сдержанно ответила девочка.

И лошади с грохотом понесли тележку по деревянной настилке к тому светлomu и легкому, что было впереди, взяли немного вправо, и опять колеса, сорвавшись с настилки, с мягким шорохом покатались по сухой ровной дороге.

И опять мысли надолго затерялись в однообразно-ладном стуке копыт, который бесстрастно слушало только бледное и все выше поднимавшееся лицо луны...

«Просто все это у меня к перемене погоды», — подумал землемер, подбадривая себя и продолжая думать о причинах своего беспокойства.

Но теперь, когда осталось сзади последнее жилье, бодрые слова уже и совсем не помогали. Глаза жадно всматривались в даль... Что это на том дальнем косогоре, за лощиной, в светлой дымке? Что-то длинное, темное, зубчатое... Стена, остатки жилья? Нет, просто забытая в поле копна... За ней опять косогор и опять лужок, выходящий на голую долину, серебристо-туманную под луной... Но что это там темнеет, двигается? Волк?

Землемер вставил два пальца в рот, резко свистнул и натянул вожжи. Постромки пристяжной обвисли, коренник насторожил уши и пошел тише... Едко и приятно запахло лошадиным потом... Что-то темное, двигавшееся на косогоре, блестящем от озими, подняло голову. Стало страшно...

Но прошло несколько минут — и по чему-то тупому, что было в приближающейся фигуре, землемер узнал, что это теленок... Верно, пегий, с белыми ресницами, глупый...

Есть что-то глухое, дикое в этих осенних беспризорных скитаниях телят. По целым неделям бродят они в полях, дичают, приобщаются к таинственной жизни зверей и хищ-

НЫХ ПТИЦ.

«А свиньи! — подумал землемер. — Черные упрямые борова, с туго завернутыми винтами хвостиков! Те совсем отбиваются осенью от дому, бог знает куда уходят по лугам и косогорам... Роят под кустами по пригоркам, что-то выкапывают, чавкают и прут дальше, повиливая крепкой тушей...»

Мелькала серебристая полынь вдоль дороги, проходили темные равнины пашен, полосы радужно-зеленых озимей, тускло поблескивали подковы пристяжной, женственно отвернувшей голову от коренника... Гордо нес голову сильный коренник, шедший дробной рысью... Землемеру хотелось курить, надоело сидеть... Волнуясь все более при мысли о том сильном, беспощадном, таинственном, что окружало его со всех сторон и точно вызывало на состязание, он все беспокойнее ждал чего-то, а внутренний голос все настойчивее говорил, что ожидания не напрасны. И, как бы подтверждая это, коренник вдруг фыркнул. Землемер вздрогнул и увидел, что он идет с чутко и строго поднятыми ушами, с какою-то преувеличенной бодростью, почти с нагло-

СТЬЮ.

Озноб пошел по всему телу землемера. Чтобы поскорее увидеть то, что должно увидеть, он откинулся влево и пристально взглянул вперед. Впереди то же, что и было: пустое поле и лунное сияние. Но поле это идет слегка под изволок, дальше опять повышается — и замыкается темной, высокой и такой дивной в лунном свете стеной Дубровки.

Вот она приближается, темнеет, и уже хорошо видна огромная тень, падающая от ее стены на поле... Доносится легкая лесная свежесть вместе с сухим и душистым теплом дуба... А вот роцца, и совсем близко — и тень стала резче, лунный свет ярче, роцца под луною чернее, выше, величавее... Еще минута — и тележка уже в тени, катится по гладкой дороге вдоль опушки... И далеко видны светлые поляны среди живописных старых дубов в сказочно прекрасной глубине роцци.

«Ах, хорошо!» — с жутким восхищением хотел сказать землемер — и вдруг замер с широко открытыми глазами.

Из глубины роцци легко и быстро, прямо на него, неслась большая белая лошадь.

«Неужели та самая, что с звонким хрипом прошла давеча возле будки?»

Сладострастный трепет ужаса еще раз колючим холодом прошел от корней волос по всему телу, — и землемер крепко напряг зрение, чтобы получше разглядеть шибко летевшую к нему лошадь.

Но уже ясно было, что не та.

Медленно тащила скрипучую телегу белая кобыла, встретившаяся возле будки. Годы, тяжкая работа, неволя сделали ее страшной, костлявой, тупой, тяжелой. Эта же шла бодро, чисто, едва касаясь земли. И так гордо и грациозно несла свою голову, что сразу было видно, что она молода, сильна, ни одного дня не знала упряжи...

Но в этом-то и был ужас. И ошеломленный землемер с размаху рванул вожжи.

Коренник высоко задрал морду и заплясал, пристяжная со всего разбега осела на задние ноги. Но тут белая лошадь, как перышко, перенеслась через канаву возле опушки и вся выскочила на ее высокий вал. И, увидав ее, коренник дико всхрапнул, пристяжная так шарахнулась к оглобле, что она треснула, — и

тележка вихрем, вприпрыжку понеслась по пашне. Землемер, не помня себя, вскочил на ноги, в два взмаха замотал на руки вожжи и, откинувшись назад, изо всей силы рванул к себе левую вожжу. И коренник, мотая головою от удил, раздиравших ему челюсти, понес обратно на дорогу.

Белая лошадь, выскочившая на вал, казалась литой из серебра. Как только колеса тележки стукнулись об дорогу, она тотчас же спрыгнула с вала, дала тележке мелькнуть мимо себя, — землемер близко видел ее прекрасные блестящие человечьи глаза, — и весело понеслась за ней.

— Грабят! — крикнул землемер альтиком и бросил вожжи.

Точно сорвало последние дубки роци — и опять в глаза грянуло широкое пустое поле и неясный лунный свет над ним. Землемер обернулся и увидел, что и лошадь уже в поле — несется за тележкой по серой дороге. Только побледнела немного, как побледнел в поле и самый лунный свет.

— С нами крестная сила! — пробормотал землемер, с трудом переводя свистящее дыха-

ние, опять натягивая вожжи, и опять оглянулся.

Увы, и белая лошадь пошла тише!

«Ну, притворюсь, что мне все равно», — решил землемер отчаянно и погнал пару под изволок, в бесконечный Ястребиный Луг.

Мелкая безымянная речка поблескивала и бежала по лугу, — настолько мелкая и прозрачная, что можно было считать под водой белые камни днища. Как чешуя рыбы, поблескивала она под луною, и на диво печален и прекрасен был под луной каменистый и пустынный луг. Но любоваться было не время. Нужно было зорко править, чтобы не вылететь на выбоинах спуска, нужно было ловко повернуть на полной рыси вправо, а потом перескочить вброд. Но лошади и сами понимали дело — цепко пронеслась пристяжная по узкой тропке косогора, как раз вовремя вильнул коренник и уверенно кинулся в речку... Колеса с шумом закружились в серебре и алмазах, глухо застучали по размытым белым камням...

«Глянуть ай нет? — подумал землемер. — Нет, не надо!»

И тотчас же оглянулся — и чуть не вскрикнул: белая лошадь опять была в двух шагах от него, над речкой, на самом краю оставшегося сзади берега.

«Пропал я!» — с радостным отчаянием подумал землемер и, закрыв глаза, опять ударил по кореннику вожжами.

И через минуту грохот колес по речным камням сразу оборвался — и, блестя мокрыми шинами, ровно покатались они по мелкому щебню побережья в смутную, слегка сизую даль бесконечного луга. Не выдержав, землемер опять взглянул назад — и, к великому удивлению своему, белой лошади уже не увидел. Глянул влево, глянул вправо, на прозрачную воду, бегущую по белым камням, потом опять назад... Только широкий луг, весь, как светлым дымом, напоенный лунным сиянием! Но зато сзади, на дрогах тележки, скрестив длинные, тонкие ноги в разбитых лаптях и повернув к землемеру беззубое лицо, наполовину освещенное луною, сидит и смотрит круглыми глазами нищенка. И землемер, увидав ее, лякнул зубами и сипло засмеялся бессмысленным смехом.

— Хороша! — сказал он. — Красива! Ты смерть, что ли?

Нищенка молчала.

— Молчишь? — сказал землемер. — Значит, правда? Нищенка молчала и смотрела ему в лицо неподвижными глазами.

— Нашла с кем шутки шутить! — сказал землемер горько. — Или мало тебе, что ты и так всю жизнь издевалась надо мной?

И вдруг почувствовал такую острую боль горя и обиды, что, не помня себя, взмахнул кнутовищем. Сладкие слезы злобы сдавили ему горло, но, как только он взмахнул кнутовищем, старуха точно растаяла в воздухе: только опять зазвенел где-то в небе тонкий, радостно-хищный смех какой-то ночной птицы:

— Пи-пи-пи-пи!

И, замирая, затерялся вдали.

Землемер пришел в себя и медленно перекрестился.

...В Долгое землемер приехал перед рассветом.

Страшное и прекрасное привидение белой лошади исчезло возле подъема на хохлацкие

Выселки. И тотчас же после этого он бессильно опустил вожжи. Рубашка на нем была мокрая, сердце билось. Крестьясь, он снял картуз, вытер рукавом потный лоб и, почувствовав озноб, накинул на плечи чуйку.

— Что за чушь! — сказал он изумленно и посмотрел в луг.

Но в лугу было пусто.

Он посмотрел с горы в поля за лугом, к юго-востоку — и что-то грозное глянуло ему в глаза. А, это поднимается зимнее небо! Уже встают яркие полуночные созвездия: треугольник из алмазов Тельца с рубином Альдебарана посередине, страшное Всевидящее Око...

Он закурил с жадностью, с упоением. Потом почувствовал такую жажду сна, какая бывает только в детстве, после долгого летнего дня.

— Спать, спать! — сказал он, закрывая глаза и опуская голову.

Лошади шли шагом, темные, едко пахнущие потными хомутами и разгоряченным телом. Землемер смотрел на сбитую набок шлею коренника, хотел поправить кнутови-

щем — и не мог.

— Спать, спать! — сумрачно говорил он, закрывая глаза. — Я, кажется, с ума схожу...

И тотчас же начинало казаться, что тележка бежит под гору, и от этого замирало сердце, путались мысли...

Вот, чувствуется, случилось что-то. Он слабо открывает глаза и видит, что тележка стоит — и коренник с шумом делает то, для чего остановился...

Луна поднялась высоко-высоко, светлая, бледная ночь стала еще бледнее, и далеко вокруг расстилается равнина, покрытая бледной пылью... Степь, поздно, тишина, свежесть...

И опять коренник трогает с места, и опять все путается. Кажется, что по земле, по пыли светлой мглой бежит туман, а в тумане — белая легкая лошадь... Землемер открывает глаза — и видит, что коренник опять стоит: большой дымчатый вол лежит посреди глинистой улицы, половина которой покрыта косяй зубчатой тенью, а кругом — хаты, хохлацкие Выселки. Место ровное, голое, улица широкая, а направо и налево бледно-голубые ма-

занки с квадратными глиняными трубами, такие молчаливые и грустные в этот поздний час долгой лунной ночи. Ни души и ни звука. Только осторожно и прерывисто тюкают сверчки в бледно-голубых стенах с темными окошечками, слюдой поблескивающими против луны...

— Ах, дурак, дурак! — с ласковой укоризной говорит землемер кореннику и легонько ударяет его вожжей, объезжая важно дремлющего дымчатого вола с огромными рогами.

А в третий раз он открывает глаза уже в Долгом, упершись оглоблями в ворота своего поместья. Похоже на Выселки — только улица еще шире и длиннее, а хаты тонут в палисадниках. Набежал туман на луну, стало совсем прохладно, за воротами хрипло и бодро кричит басом его любимый красно-золотой петух. Землемер слезает с тележки, расправляет ноги с родственным чувством к своему поместью, с легкой тревогой — благополучно ли в доме? — и чуть слышно стучит кнутовищем в кухню, в крайнее окно длинного кирпичного дома под железной крышей, почти невидного за высокими мальвами.

И через минуту щелкает задвижка, и на крыльце, ежась и зевая, появляется солдатка Василиса, босая, в короткой юбке, вся теплая и томная со сна.

— Здоровы? — спрашивает землемер, отводя глаза от ее голых полных плеч.

— Слава богу, живы, здоровы, — улыбаясь и почесывая под мышками, говорит Василиса.

— Ну, возьми лошадей, вели Кузьке распрячь...

Дома все было благополучно, жизнь текла обычно, и, как всегда по воскресным дням, утром из зала запахло ладаном. Землемер, спавший не раздеваясь, плеснул на лицо водою из умывальника и вышел в зал. В зале было солнечно. На столе, в простенке между окнами, выходящими в палисадник, кипел золотой самовар. Кусочек ладана, брошенный Марьей Яковлевной в его трубу — для праздника, — распространял сладкий церковный запах. Марья Яковлевна, небольшая женщина лет сорока, похожая лицом на Фонвизина, мыла чашки. Землемер поздоровался с ней, поговорил о делах...

Новостей было мало: только ссора с Иваном Павловым, который опять приписал в книжке.

— Такой свинья! — воскликнула Марья Яковлевна. — Да покарал Господь! Помнишь его бланжевого быка? Картошкой подавился!

— Издох? — спросил землемер.

— И часу не прожил! — сказала Марья Яковлевна, раздувая ноздри.

Потом взглянула в открытое окно и взволновалась еще больше.

— Ну вот! Полюбуйтесь! — сказала она. — Боже, какие мои дети пошлые! Опять босиком!

Дети были в палисаднике. Толстый Котик, одетый, как девочка, важно ходил среди мальв, переваливаясь на кривых ножках. Десятилетний Павлик, худенький, хорошенький, с черными и всегда гневными глазками, закатив до самого паха штанишки, целился из лука в воробьев. Таня и Оля, белобрысые и некрасивые, с замиранием сердца следили за ним.

Землемер посмотрел в окно, слабо крикнул:

— Здравствуйте, наследники! — и, улыбаясь, сказал: — При чем же тут пошлость?

— Ну конечно! — воскликнула Марья Яковлевна. — У тебя всё ни при чем! Ты уже привык потакать им!

И, видя, что землемер слушает рассеянно, с изумлением прибавила:

— Да что это ты как блаженный какой?

— Уморился, — сказал землемер и отвел глаза в сторону.

За обедом не хотелось есть и, как среди мух в жаркий день, было томительно сидеть среди густого терпкого запаха картофельного супа с бараниной, среди баловавшихся детей и крика Марьи Яковлевны. «Тоже зал называется!» — думал землемер, с кислой улыбкой оглядывая знакомую комнату, вдруг показавшуюся нестерпимо тесной, и противные украшения на ее стенах: Тамару в гробу, крещение Руси и выцветшие фотографические снимки, на одном из которых был он сам — в солдатской позе, в сюртуке, в белом галстуке, в старомодных штанах с раструбами, — и Марья Яковлевна — в фате, с бессмысленно выпученными глазами. Жадно хотелось пива, и,

когда принесли из лавочки холодную бутылку темного толстого стекла, землемер выпил все почти залпом. Потом вышел за калитку палисадника, на скамейку.

Вечер был ясный, улица, мирная и красивая от белых мазанок и разноцветных мальв, вся розовела против заходящего солнца, блестя стеклами. Стрижи сверлили воздух, кружась над площадью, над куполом деревянной церкви. И, как всегда в хороший вечер, с площади, из окон сидельца винной лавки, неслись резкие, ухабистые басы и альты аристана — звуки краковяка.

Землемер слушал, весь наполняясь этими вызывающими и бьющими по нервам звуками, с болезненным наслаждением вспоминая под краковяк, что белая лошадь была сильна, прекрасна, — и напряженно думал: «Почему дети так любят игру в войну, в охоту и в какие-то далекие поездки?» Потом встал и пошел к хате о. Нифонта, жившего через улицу, напротив.

Загорелый подпасок в старом дворянском картузе гнал по улице кучку темно-лиловых баранов, теснившихся друг на друга, мелко

перебиравших ножками и поднимавших золотисто-розовую пыль. По тропинкам возле палисадников, среди засохшей глинистой грязи, шли бабы с подоткнутыми подолами и с коромыслами на плечах и низко кланялись поповой хате, не глядя на нее и виляя костречами. А поп, тучный, лысый, сидел на лавочке возле палисадника, одной рукой разбирал большую енотовую бороду, а другой гладил ходившего по его плечу тощего котенка мышиного цвета.

— Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Милославский! — благодушно сказал он. — Давненько не были. Небось весь земной шар сместили?

Землемер подсел на лавочку и, принужденно улыбаясь, небрежным тоном рассказал о своем видении — о том, какая «глупейшая» история приключилась с ним в дороге.

Но на о. Нифонта белая лошадь не произвела никакого впечатления.

— Бывает! — сказал он. — То ли еще бывает! Вон мои работники недавно жаловались: как только они в сарай, на боковую, так сейчас же козел за стеной: бя-я! А я и козлов-то

сроду не водил... Слышали, как бычок-то подковал Ивана Павлова?

Землемер вспомнил однообразие зимних и летних дней в Долгом, вспомнил сон после обеда, Марью Яковлевну, выходящую после сна к чаю с желтым, смятым лицом, засиженным мухами... И, раздражаясь, сказал:

— А быка жалко, батюшка! Великолепный был бык! Бывало, бежит — земля дрожит... глаза огненной кровью налиты... Не нам чета...

— То есть как не нам чета? — удивленно спросил о. Нифонт, опуская руку, гладившую головастого котенка.

— А так, — резко сказал землемер и почувствовал, что у него похолодели руки. — Сила! Я вот поехал как-то прошлой осенью в город, а в городе зверинец, а в зверинце — лев. Сижу вечером в номере, а стекла так и заливаются! У меня, понимаете, свечка едва коптит, номеришко вонючий, зеркальце на стене от духоты и самоварного пара побелело, а он — как хватит, хватит! Открыл я окно — темь, дождь, все забились в свои жалкие хибарки, а он так и панует над городом! Ах, отец Нифонт, —

страстно прибавил землемер, начиная дрожать от волнения, — все-таки нет ничего на свете хуже бессилия!

— Ну, это дело другое, — сказал о. Нифонт. — А то я не понял сперва, какую мысль вы хотите провести. Понятно, страшная сила! Пишут, будто лев может хвостом быка убить...

Землемер вдруг ляскнул зубами. Раскрасневшееся солнце только что село за площадью, и все сразу потускнело, поблекло. Неприятный ветер, пыля по площади, добежал до поповой хаты, зашумел в мальвах, и землемер вдруг дернулся и стукнул зубами от холода. Торопливо простившись с о. Нифонтом, он торопливо перешел улицу, торопливо вошел в дом и, не зажигая огня, бросился на постель в своем кабинете — узкой комнате возле зала. В голове, певшей краковяк, вертелась назойливо-мучительная мысль о детской любви к войне, а нывшее тело жадно просило одеял, шуб, полушубков. Перепуганная Марья Яковлевна бегала по темным комнатам, одевала его чем попало, а он видел, что со всех сторон сыплются на него белые лошадиные черепа,

заваливают столы, стулья, — и задышался от духоты, жары под этими черепами... А стекла дрожали от далекого львиного рева... Он вспомнил, однако, что это не рев, а гром, и, открыв глаза, услышал шум ветра за окном, увидел какой-то золотой сполох, озаривший комнату...

— Марья Яковлевна! — крикнул он слабо.

— Лампу заправляю, — откликнулась Марья Яковлевна из зала.

И землемер опять потерял сознание.

Приехавший на другой день к вечеру земский врач, человек с изумленными глазами, в очках, с густой огненной бородой и в парусиновом балахоне, сказал, что у больного воспаление легких.

Через несколько дней, в первый раз придя в сознание, он узнал Марью Яковлевну, понял, что он дома, что на столике возле кровати горит свечка. Но бока были так крепко скованы острыми, нестерпимо режущими при каждом вздохе железными обручами, глазные яблоки так ломило, а дрожащее пламя свечи было окружено таким печальным и большим мутно-радужным шаром, что он по-

спешил повернуть голову к стене, к ковру, на котором был изображен очень прямо сидящий турок в тюрбане, в огромных шароварах и с мундштуком кальяна в руке.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — сдерживая слезы и стараясь говорить ровным голосом, спросила Марья Яковлевна.

Но больной не ответил.

Все было так чуждо ему, так скучно, что ответить не хватило силы. А свет дрожал, краснел, турок в тюрбане рос, расплывался, принимал сказочные очертания...

Второй раз сознание держалось дольше. В комнате было темно, Марья Яковлевна похрапывала в кресле, за окном синела лунная ночь. И землемер вспомнил, как много лет тому назад, когда у него было первое воспаление, он вот так же пришел в себя поздней ночью в темной комнате... И всю душу его охватила невыразимая тоска. Как молод он был тогда, как восхитительна была даже болезнь! Он целый год жил тогда дома, выгнанный за курение из реального училища, готовился в землемерное, пропадал в поле с ружьем и собакой... В жаркий апрельский день он напил-

ся из ледяного хрустального ключа в голом и веселом весеннем лесу — и слег. Болезнь была тяжелая, по ночам жар доходил до сорока, но что за ночи стояли тогда! Голова пылает, по телу идет острый колючий холод, а лунный свет так дерзко и ярко сквозит в щели ставни, и соловьи наполняют весь сад таким ярким ликованием, что весь мир кажется сновидением... И во всем существе была непоколебимая вера в выздоровление.

Уверенность эта была, впрочем, и теперь. И так оно и случилось. На седьмой день больной уже ел бульон, пил чай и просто, спокойно разговаривал.

Был он желт, слаб, голова и борода у него сильно поседели, — не сдались только одни густые строгие брови, — но это очень шло к нему. Лицо его стало чище, красивее. Марья Яковлевна с радостью рассказывала, как он бредил, какую чепуху он говорил иногда, про какую-то белую лошадь, и землемер улыбался с ласковой снисходительностью к самому себе.

И с такой же улыбкой, с грустным и приятным сознанием своей слабости, вышел он в

первый раз после болезни в зал. Казалось, что уже много лет не видал он знакомых комнат.

Глаза у него стали темнее, больше и смотрели на все удивленно, внимательно. На ногах были мягкие туфли, под пиджаком и рубашкой ласково грел тело лифчик из лисьей шкурки. Никуда не нужно спешить, ни о чем не нужно заботиться, — давно не бывало у него таких отрадных дней! Но он уже твердо знал: это его последняя осень.

В кабинете он снял с полки Библию и развернул книгу Иова. На столе лежали какие-то гвозди, старые планы, рассыпанные патроны папирос... Он прилачился с краю и зачитался.

Потом положил локти на книгу и загляделся на кривую лесовку, росшую на пустыре за окном.

Да, вот был человек непорочный, справедливый, богобоязненный. Был он богат, здоров, счастлив. Но истребил сатана, с изволения Господня, все его имущество, истребил всех чад его и поразил его проказою от подошвы по самое темя. И взял человек черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел на пепел вне селения. И открыл уста свои и страстно проклял

день свой. «Погибни, — сказал он, — день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! Дыхание мое ослабело; дни мои прошли; думы мои — достояние сердца моего — разбиты; ночью ноют во мне кости мои: ибо летам моим приходит конец, и отхожу я в путь невозвратный. Скажу Богу: за что ты со мною борешься? За что гонишься за мною, как лев, и нападаешь на меня, и чудным являешься во сне? Но не ответит мне Бог!»

Было в простоте этих слов, в образе безумно-вдохновенного прокаженного, сидящего в пустыне за селением, скребущего черепком гнойные раны свои и проклинаяющего жизнь от колыбели до гроба, что-то столь древнее и в то же время столь близкое во все времена каждому человеческому сердцу, что прежде землемер был не в силах читать этих слов. Но теперь он прочел их спокойно и медленно, чувствуя себя почти равным Иову в безнадежности. Потом остановился на словах Сафара:

«Можешь ли ты постигнуть вседержителя? Он превыше небес: что можешь сделать?»

Глубже преисподней: что можешь узнать? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку...»

«Вот и ответ дикому осленку!» — подумал землемер, глядя в сумерки.

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей! — вслух сказал он, и брови у него страдальчески сморщились и задрожали.

Он представил себе свое детство, младенчество, — и почувствовал невыразимую жалость к этому бедному маленькому «осленку», неизвестно зачем пришедшему в мир и осмелившемуся мудрствовать. Что ответит ему Бог «в шуме бури»? Он только напомним безумцу его ничтожество, напомним, что пути Творца неисповедимы, грозны, радостны, и развернет бездну величия своего, скажет только одно: «Я — Сила и Беспощадность». И ужаснет великой красотой проявления этой силы на земле, где от века идет кровавое соствязание за каждый глоток воздуха и где беспомощней и несчастней всех — человек.

«Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла свои, как муж: я буду спрашивать, а ты отвечай

мне...»

— О, какая красота! — сказал землемер, и горячие слезы потекли из-под его ресниц.

«Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах? Они изгибаются, рождая детей своих, а дети их приходят в силу, растут в поле и не возвращаются к ним. Знаешь ли ты, кто разрешил узы онагру, которому степь назначил домом, а солончаки жилищем? Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Ты ли дал перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на песке и забывает, что полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим...»

— Все сила, сила! — воскликнул землемер, мысленно видя перед собой белую лошадь, с ее дико-веселым, вызывающим и беспощадным взглядом.

«Храпение ноздрей ее — ужас, — с безумным восторгом вспомнил он стихи о лошади в книге Иова. — Роет ночью землю и восхищается силою. В порыве ярости глотает землю и не может устоять при звуке трубы. При звуке трубы издает голос: „Гу! Гу!“ — и изда-

лека чувствует битву, громкие голоса вождей и крик...»

— А верх путей его! — дерзко и громко, точно в бреду, сказал землемер. — Верх путей его — бык Ивана Павлова... бегемот... левиафан...

«Сила в чреслах бегемота и крепость в мускулах его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это — верх путей Божиих...»

Но тут из прихожей слышались голоса вернувшихся из школы детей, потом чьи-то тяжелые шаги, и в комнату быстро вошла взволнованная, вся пахнувшая осенней свежестью Марья Яковлевна.

— Полюбуйтесь! — воскликнула она. — Иван Павлов капусту прислал! Ну, пря-ямо смотреть не на что! Кочерыжки одни!

Землемер сморгнул слезы, нежно и жалко улыбнулся и отвернулся к окну...

# Маленький роман

## I

**В** этот вечер мы встретились на станции. Она кого-то ждала и была рассеянна.

Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было.

Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках — всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было.

Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полосы дождевой воды, голубой от неба.

Платформа была в тени, — солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос,

заливался граммофон; где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики... Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного», — и я пошел.

За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптаным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвила себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.

— О чем вы думаете? — спросила она раз, не оборачиваясь.

— О ваших ботинках, — сказал я. — О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.

— А мне верите?

— Верю...

Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она

остановилась и обернулась.

— Какой вы милый! — сказала она. — Идет себе и молчит... У меня неожиданный прилив нежности к вам.

Я ответил сдержанно:

— Спасибо. Это в горе бывает.

Она широко раскрыла глаза.

— В горе? В каком горе?

— Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас.

— Угадали. Хотите?

Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.

— Нет, — пробормотала она. — Нет... Ради бога...

И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.

Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди — широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но, подпустив меня на шаг, прыгнула через ка-

наву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею — и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.

— Дождь! — звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу.

Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети, — редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли... Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть — и шорох сразу замер.

Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.

— Попробуйте, как бьется сердце, — сказала она, взяв мою руку.

Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась.

Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассе-

янно смотрела вдаль.

— Это первый и последний раз, — сказала она. — Хорошо?

— Хорошо, — ответил я.

Она пристально посмотрела на меня.

— А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому... То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам... Ну да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-Маммуна... Почему? Не знаю... Просто потому, что я его боюсь...

Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.

— А теперь пойдем, — сказала она.

— Куда?

— Еще немного по лугу...

Я поднял ее — и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга... В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя, высоко в небе

плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями...

А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня.

Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча.

В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, наполненный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков... Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому

песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас — я даже успел разглядеть ее серые штаники — и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.

— Не к добру, — сказала она, покачав головой.

Я улыбнулся.

— Уверяю вас, не к добру, — повторила она просто и настойчиво.

— Что же будет?

— Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощанье...

Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой... И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к

чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил как из ведра.

Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:

— Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.

— Да? — живо спросил он. — Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна...

Мне отыскивали старый огромный зонт, давали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму.

Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:

— Прощайте.

И это было последнее слово, слышанное мною от нее.

«Дорогой мой, — писала она мне через четыре месяца после этого, — не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и *маленький роман*, только и всего. Но все равно: клянусь вам, — если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас...

Что такое эта мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю...

Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А

пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору — я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь он покорен мне.

Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.

А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности...

Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле... Я бы полжизни отдала, чтобы вы были

здесь со мной...

Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупно ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Остановившись, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали — тихо, тихо...

Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осен-

него снега.

Тут он остановился и предложил вернуть-ся.

Я, назло ему, отказалась.

— Не остроумно, — сказал он и, подумав, опять пошел.

Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем... Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны.

Раз он окликнул меня, — он все сзади шел, — и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку.

— Будь ласкова, — несмело сказал он, — заберись мне в рукав и вытяни фуфайку.

И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил:

— И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие.

— Разойтись нам надо, — ответила я.

Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови:

— Трудно это...

— Тогда я возьму на себя этот труд, — сказала я. — Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви.

— Я все смею, — сказал он, в упор глядя на меня. — Мне терять нечего.

Я отвернулась и пошла.

Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать, их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек, — кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было

на дорогу — и тихо перелетел к обрывам на-  
лево, в туман...

Представляете себе этот вечер? Мглистые  
стены бора, мокрый, бледный снег вдоль до-  
роги, дымные пропасти, где висит густая ас-  
пидная мгла... А королек спокоен. Его не пуга-  
ет зимняя горная ночь. Он проведет ее где  
придется — предоставив себя чьей-то высшей  
защите. А вот у меня нет веры в эту защиту.

Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном  
номере, пахнущем сосною, и, когда потушу  
огонь, буду думать о том, что я за облаками, в  
настоящем царстве смерти. Он лежит в сосед-  
нем номере и глухо кашляет. Это не человек,  
а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу  
его всей душой!

Если встретимся и я буду свободна, поце-  
лую ваши руки от радости — делайте тогда со  
мною, что хотите. Нет — так тому и быть...»



Но и это письмо дошло до меня бог знает  
когда. Из Москвы переслали его в деревню.  
Там оно провалялось чуть не три месяца, по-  
том колесило по югу. И получил я его уже в  
начале марта, перед отъездом из Крыма.

Тронуло оно меня, взволновало — ужасно. Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно, прости меня, Боже:

«Поеду-ка и я через горы на лошадях».

На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было двадцать восемь лет...

На Ляй-лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы... Я вынул письмо, перечитал его — и у меня забилось сердце.

«Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?»

В корчме не сиделось. Я вышел на воздух...

Туман розовел, таял. В мглистой вышине светлело, теплело. В небесах, в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежное... Оно росло, ширилось — и внезапно засияло лазурью...

Надо написать, — непременно!

Но что? Куда?

Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго

курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море.

Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина ступившихся облаков — целая страна белых рыхлых холмов — развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо побережий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость — печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости — все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море...

Колокольчик однообразным дорожным

напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди — новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе... Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезающихся на сини пустого неба... А тройка, под заливающимся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже, в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо.

Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.

Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной...

И казалось мне тогда, что ничего не нужно

в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.

А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил — почтой, через Москву — телеграмму из Женевы:

«Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».

*1909–1926*

# Птицы небесные

С горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.

Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.

Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.

Казалось, что стоявший возле моста любит.

Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз

порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.

— Держись, срежу! — крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо.

Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ... И, махнув рукой, закашлялся.

Студент сбежал к мосту, — он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, по тому, как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный. Но, должно быть, притворный: верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и, верно, он заметил барина.

Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо, под самодельную шапку с наушниками и назатыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились...

Нет, не дурачок. Просто нищий и больной. Необычна была только аккуратность, с

которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатаанный. И уже совсем необычно было лицо — лицо подростка лет под сорок: бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело — щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами.

— Застыл, старик? — крикнул студент с деланой бодростью.

Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.

— Нет, — ответил он неожиданно просто и даже как будто весело. — Застыть не застыл...

И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:

— Застыть не застыл. А вот здоровье...

Он приподнял грудь:

— А вот здоровье все хужеет!

И легонько двинулся вперед.

Студент осмотрел его лапти, онучи: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики... И как это он ухитряется ходить по такому морозу?

— Уж очень у тебя, дядя, обужа-одежа плоха! — сказал студент.

— Обужа, верно, плоха, — согласился нищий. — А вот одежда... Нет, одежда ничего. У меня под ней кофта ватная.

— Все-таки студишься небось без валенок-то?

— Студишься... Бока колет... Закашляешься — прямо смерть.

Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.

— Дальний?

— Дальний... Из-под Ливен.

— Давно удушье-то?

— Удушье-то? Давно...

— Селитру не жег? Очень помогает.

— Нет. Перец... пил.

Студент покачал головою.

— Глупо, — сказал он. — Я вот на доктора учусь, доктором, значит, буду... Понимаешь?

— Дело хорошее... Как не понимать...

— Ну, так и послушайся меня: перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь — полегчает.

И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:

— Это можно. Деньги не велики.

— А ночевать-то где ноне будешь?

— Ночевать-то? Ночевать везде можно... В Знаменском ночую...

— Как в Знаменском? — сказал студент. — Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь!

— Мне спешить некуда, — ответил нищий и так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил:

— Побор в мешках-то?

— Ну, побор! Добришко... Рубахи, портки. Порток у меня много... Трое...

За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.

— Слушай, — сказал студент, — пойдём к нам. Я бы тебе деньжонок дал...

Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона... И не спеша ответил:

— Беден только бес, на нем креста нет. А мне они, почесть, без надобности. А коли хочется, дай.

— Ну вот, и пойдём.

— А пойтить... не пойду. Ночую в Знаменском, ежели... дойду...

И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.

Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.

— На-ка вот тебе полтинничек, — слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился. — Да скажи, как поминать тебя, — прибавил он шутливо.

Нищий усмехнулся.

— А мне теперь ничего, полегчало, — ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы.

Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:

— Вот за это спасибо... А поминать меня, бог даст, не придется... Дойду.

— Серьезно, как звать-то тебя и что ты за чудак такой? — спросил студент.

— Звать-то? Звали Лукой... А уж чем чуден я — не знаю.

— Да ведь замерзнешь!

— И замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат, она как солнце, глазами на нее не глянешь. А найдет — везде. Да и помирать-то не

десять раз, а всего один.

— В рай, значит, спешишь попасть? — сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра.

— Зачем в рай? Это еще дело темное — не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо.

Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, знобил, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:

— Это тебе-то не плохо?

Нищий тоже взглянул ему в глаза.

— А что ж мне? — спросил он. — Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе.

— Живешь, как птицы небесные?

— А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не боятся.

— А ты что? Философ? Атеист?

— Не понимаю я этих слов.

— Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в Бога-то ты веришь?

Нищий подумал.

— В Бога нет того создания, чтоб не вери-

ло, — твердо сказал он.

Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:

— Ну с богом!

— Стало быть, прощайте, — отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой. — Спаси Христос...

И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сторбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы...

Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу, перед иконой — лампадка: когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее, — чтобы Бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы, — был уже девятый, а матери все не было.

— Дикарь! — говорил он иногда вслух, вспоминая нищего.

Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга

и часов в десять, в валенках и башлыке, вышел взглянуть на восход Близнецов. И на пороге сеней оторопел: показалось, что свету божьего не видно, — так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле: темь, смутно волнующееся белесое море — и над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две ярких, широко расставленных звезды...

Второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном, нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели — два других, еще шире раскинутых, кровавых глаза: Арктур и Марс. Остро блещут зерна Волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой...

«Замерзнет, черт!» — с сердцем подумал

студент про нищего.

И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся... Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услышал отдаленную сонно-певучую переключку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая

тройка — вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми ресницами...

Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.

*1909*

# Первая любовь

## Из воспоминаний детства

*Все это было бы смешно,  
Когда бы не было так грустно...*

— **М**итя! — Митька!

— Дмитрий Алексеевич!

— Бледнолицая собака!

— Да вставай же ты, наконец!

Я уже проснулся, но старался показать, что страшно разоспался и не понимаю, в чем дело. Натягивая всеми силами на голову одеяло, которое тащили с меня Петя и Лева, я только мычал и брыкал ногами. Но они не унимались и, спрыгнув с подоконника, на котором сидели (влезли они из сада в окно), остановились около кровати.

— Вот какой ты! — пробормотал в нерешительности Петя. — Что с ним делать? Мы пропустим зарю...

— Уйдем, — своим обыкновенным, резким и отрывистым, тоном сказал Лева. — Он не товарищ, а баба, старый колелый лось! Вле-

пим по кулаку, и уйдем!

— Я, брат, так влеплю, что ты... умрешь! — неожиданно крикнул я, приподнимаясь и взмахивая кулаком так, как будто в нем что-нибудь было. В эту минуту мне казалось, что я необыкновенно грозен и дик.

Но Петя и Лева, к удивлению моему, разразились самым добродушнейшим хохотом и протянули мне руки.

Я, немного сконфуженный, пожал их, хмуро и нехотя, и опять упал на подушку.

— Ну, идем же, идем! — сказал Петя. — Мы в самом деле пропустим зарю.

Это было сказано так искренне-серьезно, что я сам испугался мысли пропустить зарю. На что нам была эта заря, для чего мы друг другу давали слово стеречь ее — я, право, теперь хорошо не объясню. Но тогда я думал, что это необходимо. Нам ужасно нравилось выходить из дому чем свет, когда еще и деревья, и темные поля, и далекий густой лес объаты мертвым сном и только на востоке небо покрывается серебряными, светлыми полосами. Тогда нам казалось, что мы совершенно одни и в свежем полутемном лесу дей-

ствительно все таинственно и первобытно. Мы, как настоящие индейцы, забирались в самую чащу сада и, дожидаясь восхода солнца, садились в кружок и курили «трубку мира», или, иными словами, трубку, утащенную у моего дяди. И хотя я был уже лет двенадцати и отлично понимал, что все это игра, и даже совсем детская игра, но мне она так нравилась, что я не мог не наслаждаться ею.

Поэтому я сейчас же вскочил и стал натягивать чулки.

— Солнце ведь еще не взошло? — спросил я торопливо.

— Ты бы дрыхнул до обеда, — ответил Лева, — да потом бы и спрашивал.

«Пугает! Не так уж и поздно», — подумал я, подходя к умывальнику и ежась от утренней свежести, которая плыла в открытое окно.

Холодная струя воды заставила меня еще больше вздрогнуть и окончательно проснуться. Торопливо умывшись, я был уже готов к походу. Мы должны были отправиться нынче в дальний путь, в самый конец большого луга, который был у нас за садом. Там начинался лес, и широкий луг переходил в узкие овра-

ги, каменистые и изрытые весеннею водою. Сегодня мы намеревались выкурить там последнюю «трубку мира», чтобы распрощаться до лета. Был последний день пасхальных каникул, и дня через два я должен был ехать в Орел, в гимназию.

— Берите же, — скомандовал Лева, — поскорее луки.

Мы сейчас же надели луки и вылезли в окно на росистую траву сада.

Солнце еще только всходило. На траве лежало холодное матовое серебро росы, но по дорожкам земля уже отсырела и почернела. Светлый, зеркальный пруд слабо дымился. Но отражения высоких, стройных осин были еще неподвижны и ясны; соловей особенно звучно щелкал в молодой зелени. Утро только начиналось.

Мы шли вниз, к пруду, по широкой береговой аллее. Лева был предводителем. Он всегда любил быть первым, любил командовать нами, хотя и был моложе меня и Пети года на два. Выглядывал он еще совсем мальчиком; коротко остриженные белые волосы торчали на макушке; сложение было еще совсем дет-

ское. Но, несмотря на это, он постоянно старался казаться большим, вечно сдвигал брови над бегающими и дикими, как у зверька, глазками и хвалился, или, точнее сказать, не хвалился, а искренне воображал, что он необыкновенно силен. Брови он сдвигал главным образом для того, чтобы казаться грозным; при игре в индейцы, когда мы назначали, кому кем или чем быть, Лева выбирал себе всегда роль какого-нибудь особенно кровожадного краснокожего; называл он себя постоянно «Черной пантерой», смеялся и дразнил Петю, когда тот, в какой-нибудь стычке с мальчишками, раненный, садился и горько плакал и т. д. Но в душе Лева был все-таки очень добрый и чуткий мальчик; по уму — очень сообразительный и бойкий. Петя, напротив, был мальчик, которых можно встретить на каждом шагу.

Мы шли мимо пруда. Лева уже несколько раз сбегал к воде и изо всей силы бил палкою лягушек. Он уже вспотел, покраснелся и измазал грязью, по своему обыкновению, руки, сапоги и штаны. Петя больше любовался природою.

— Что же, ты приедешь на лето сюда, к дяде, или уедешь к отцу? — спросил он меня.

— Непременно приеду сюда, — ответил я.

Лева обернулся в эту минуту и вдруг разразился самым веселым смехом.

— Чего ты? — в один голос спросили мы.

Лева продолжал хохотать.

— Я, брат, все знаю, — проговорил он наконец.

— Что ты знаешь? — удивился я.

— Про Сашу-то!

Я почувствовал, что моментально покраснел до самой шеи. Лева попал в самое больное место: я был в это время «страшно», как мне тогда казалось, влюблен в Сашу, его двоюродную сестру. Она обыкновенно проводила каникулы у отца Левы, так что, мечтая приехать на лето, я имел в виду единственно ее.

— Какую Сашу? — не зная, что сказать, спросил я и сам почувствовал, что сказал страшную глупость.

— Зачем ты лжешь, как старая баба? — вдруг строго перебил меня Лева. Глаза у него засветились, как у зверька, брови сдвинулись.

— Что я лгу? — спросил я тоже строго.

— Ты лжешь, что ты не знаешь, про какую Сашу я говорю, — отчеканил Лева, — а сам влюблен в нее...

Я моментально схватил лук с плеч и трясушимися руками наложил стрелу.

— Нет, ты лжешь! — закричал я, уже совсем растерявшись. — Я вот тебя сейчас...

Но Лева перебил меня:

— Я давно знал. Я не хотел говорить Пете... А вот теперь скажу... Только она уже вчера вечером уехала... Выкуси... А если хочешь выходить на бой — становись.

Лева тоже разозлился. Глаза бегали, щеки покраснелись.

— Не хочу я с тобою драться, — сказал я, всеми силами стараясь казаться спокойным. — А только ты сам дурак! И я не хочу больше с тобою идти.

С этими словами я повернулся и пошел опять в сад.

— Да на меня-то за что ж? — жалобно закричал Петя.

Но мне показалось, что они оба заодно хотели меня огорчить и сконфузить. «Брат-

цы», — подумал я и потом, не оборачиваясь, крикнул:

— Подите вы к черту!

Итак, обстоятельства сложились весьма плохо: вместо мирной прощальной экспедиции вышла ссора, вместо окончательного свидания с Сашей — весть о ее отъезде, или, иными словами, — о разлуке с нею до самого лета. Я говорю «окончательного» потому, что думал перед отъездом улучшить минутку, чтобы объяснить с нею. Правда, уже раз я с нею объяснился, но тогда это как-то не вышло. Мы встретились у них в сенях; я покраснел, почувствовал, как будто кто-то провел мне по волосам ледяною щеткою, ероша волосы; я даже не сказал «здравствуйте». Несмотря на то, что Саша была старше меня года на два, я постоянно ее конфузился. Она сама протянула мне руку.

— Что это вас давно не видно? — спросила она.

— Нет, я был недавно, — сказал я, — вы меня не видали.

— Вы, должно быть, были в саду?

— Нет, я и в доме был.

Саша засмеялась вдруг так звонко и мило, что я сразу ободрился, хотя и не понял, чему она смеется.

— Вы, должно быть, в шапке-невидимке были?

— Нет, в своем картузе, — сострил я и окончательно смешался.

— Ну как же я вас не видела? — добивалась Саша.

— Да вы всегда не хотите меня видеть.

— Как это не хочу?

Но я уже не слушал ее и, чувствуя, что мне становится все жарче и жарче, продолжал:

— Я не знаю, за что вы меня так не любите? Мне кажется...

— Вам бог знает что кажется, — перебила вдруг Саша, краснея, тихим и ласковым голосом. — Я, напротив... я даже во сне вас почти каждый день вижу...

Но в эту минуту загремели чьи-то дрожки, и Саша, быстро дотронувшись губками до моей щеки и моментально вспыхнув, исчезла за дверью.

Не успел я еще прийти в себя (у меня даже дух захватило от радости), как уж кто-то за-

стучал по лестнице. Я нахлобучил картуз и, засвистав, что обыкновенно делал, чтобы скрыть неловкость, быстро сошел с лестницы, встретившись с приехавшим приказчиком, и через сад убежал домой.

Припоминая все это с особенной грустью и нежностью, я сидел один-одинешенек в гостиной. День был теплый, солнечный. В пустом доме (дядя с утра уезжал в поле, прислуга была на кухне) было всюду безмолвно и светло. На балконе дверь была отворена, и из сада иногда залетали пчелы и бабочки. Ветерок осторожно колебал молодую зелень березок. В саду кричали петухи, и как-то особенно весело, по-весеннему, раздавался их крик в этот апрельский солнечный день.

В раздумье я иногда вставал и подходил к отворенной двери балкона. Прислонившись к притолоке, я глядел вдоль по березовой аллее, где из свежей рыхлой земли и из-под прошлогодних листьев торчала ярко-зеленая травка; я чувствовал какой-то неясный садовый аромат, слушал музыкальное жужжание пчел, гулкие удары валька на пруде, — и все нежнее и поэтичнее становилась моя тоска. Мне

казалось, что я еще никогда не был таким молодым и прекрасным и вместе с тем таким одиноким и печальным. Я глядел в далекие поля, которые открывались с правой стороны сада, и невольно повторял с поэтом:

*Что звенит там вдали, и звенит  
и поет?  
И зачем эта даль неотступно зо-  
вет,  
И зачем та река широко разли-  
лась,  
Оттого ль разлилась, что весна  
началась?*

«Что звенит там вдали, и звенит и поет?» — спрашивал я себя с особенною грустью. В ответ на это на глазах выступали слезы, и, стараясь скрыть их, я опять шел бродить по освещенному солнцем безлюдному дому.

— Что это ты сидишь, как шалелый? — спросил меня за обедом дядя.

Я едва мог ответить: моя нежность и поэтичность была оскорблена самым грубым образом.

К вечеру мне стало еще грустнее. Я ушел в

поле, дошел до леса и лег на опушке. Лежа на своей шинели, я долго мечтал, до тех пор пока над стемневшими полями не засветилась серебряная звездочка — Венера.

Возвращаясь, я решил непременно съездить на другой день в город. Лева и Петя уже теперь там (они уехали перед вечером), и можно выдумать, что я к ним за книгами — за латинской грамматикой, например. А между тем можно увидеть Сашу, хоть еще раз поговорить, просить писать и т. д.

Подумав это, я почти повеселел и заснул спокойно. Но судьбе было угодно, как говорится, распорядиться иначе.

Дядя у меня был совсем старик — лет под шестьдесят. Человек он был очень странный и в высшей степени серьезный, по-солдатски исполнительный, аккуратный и строгий. Причиной этого была, главным образом, его долголетняя военная служба где-то в гарнизоне. Образования он не получил почти никакого и по выходе из военной службы поселился навсегда в деревне одиноким холостяком. Имение у него было небольшое, но средства прекрасные: он вел спартанскую жизнь и был

неутомимый хозяин; в прежнее время он даже косил сам. Я у него любил гостить, разумеется, единственно из-за того, что в той же деревне на каникулах жила Саша.

Рано утром (дядя вставал до зари) я заявил ему о своем намерении.

— Что ж, поезжай, — сказал он.

— Только на какой же? — спросил я.

— Этого я уж не знаю.

Я запнулся. Дядя всегда любил такую манеру разговаривать.

— Я на чалой поеду, — наконец выговорил я.

— На чалой я поеду, — ответил дядя.

— Значит, на «лысой кобыле»?

— Я поеду парой, а ты знаешь, что разъездных лошадей весной у меня только две.

— Ну как же быть-то?

Дядя улыбнулся.

— Ну как же быть-то? — повторил и он. — Значит, надо ехать со мной.

«Ехать с дядей!» — уж одно это огорчило меня. Но делать было нечего. Я поскорее собрался, потому что дядя не стал бы ждать ни минуты, и через полчаса мы уже ехали в го-

род, сидя вдвоем на телеге, высоко наваленной соломой.

Не стану подробно описывать наше путешествие, жаркое, знойное утро, облака густой пыли на большой дороге и несносно медленное движение за обозом, который мы нагнали. Обоз был очень длинный, и дядя, любивший всегда медленную езду, не стал объезжать его. Пахнущие дегтем телеги были тяжело навалены кулями муки и запряжены седловатыми, огромными, но ленивыми меринами. Возчики, сидя на грядках, дремали, и казалось, что им совершенно безразлично, когда они доберутся до города. Только на одной телеге сидел мещанин, похожий на борзую собаку, и всю дорогу ругался со стариком, ехавшим сзади. Но старик, сутуловатый, толстый, с маленькими глазками и громадной рыжею бородой, по-видимому, ругаться умел очень плохо, и брань выходила вялая, так что не разгоняла скуки.

— Посмотрим, долго ли ты продержишься у самого-то, — говорил мещанин, выплевывая подсолнухи и болтая ногами. — Посмотрим!

— Небось! — отвечал старик злобно и

хрипло. — Небось! Уж если тебя, мошенника, держат...

— Меня-то будут держать! — перебивал мещанин.

— Все этаких чертей держат, — возражал старик.

— «Чертей», — передразнивал мещанин гнусливо, — «чертей»! Слезь, дьявол, высморкайся! Загундосил.

— Сам высморкайся! — повторял старик.

— Енот, дьявол! — не унимался мещанин.

Старик страшно обижался, вскакивал и кричал:

— Я не енот, а крещеный человек! Ты сам енот!

Но мещанин опять перебивал его...

Часов в десять утра (до города было верст двенадцать) мы, наконец, добрались и остановились на постоялом дворе.

Дорога, впрочем, не произвела на меня особенно неприятного впечатления. Думая, что часа через два я буду видеть Сашу, грациозную, веселенькую Сашу, я мало обращал внимания на все неудобства и на неприятности дороги. Но на постоялом дворе дело

пошло хуже. Еще въезжая в ворота, дядя заметил, что под навесом на телеге лежит прекрасно отпоенный теленок, и сейчас же закричал его хозяину, сидевшему тут же:

— Дядя, что это привез продавать — бычка или телушку?

— Да, — флегматично ответил мужик.

Дядя после этого замолчал и, когда мы слезли с телеги, неизвестно куда скрылся. Я уже успел надеть воротнички (прифрантился) — его все нет. Я бросился, наконец, искать. Забежал в комнаты, где несносно заливалась канарейка, посмотрел еще кое-где — нету. Иду к телеге — навстречу мне дядя, а за ним мужик тащит к нам теленка.

— Купил теленка, — сказал мне дядя. — Ты тут посиди около него, а я схожу кое-что купить.

Меня даже в жар бросило.

— Как? Теленка караулить? — чуть не со слезами возопил я. — Что ж это такое?

— Что ж тут такого? — перебил дядя строго. — Конечно, караулить, — утащить могут. А сходить ты еще успеешь, я сейчас приду. Значит, посидеть можно. Если же неприятно —

не ехал бы. Да и не поедешь уж отсюда — пешком, брат, попрешь, если не посидишь. Понял?

Что тут было делать? Тогда мне казалось, что дядя так строг, что легко может исполнить подобное обещание. Чуть не со слезами уселся я около проклятого теленка.

Жду... Проходит час — дяди нет. Телег наехало видимо-невидимо. Под навесом пахнет навозом, жара, духота. Просто смерть моя! Теленок лежит как околелый: глаза дурацкие, стеклянные, связанные задние ноги вытянуты, бока вздулись.

«Хоть бы околел, анафема!» — думаю я с тоскою, поколачивая его кулаками в бок. А обида, тоска все разрастаются.

Опять жду. Проходит еще час. В злобе, со слезами на глазах я, наконец, вскакиваю с твердым намерением уйти и бросить теленка. В это время показывается дядя. Сзади него мужик тащит новое колесо, мешок мелу, несколько «подвой» (железные прутья для сохи) и еще что-то в кулечке.

Я бросился к дяде:

— Что же это, дядя, ты до сих пор?

— Заговорился с знакомым мещанином, — спокойно ответил дядя, — да вот и опоздал. Нам пора бы теперь в дороге быть. Поскорей запрягать надо.

— Как — запрягать? — едва мог я выговорить. — А я-то?

— У меня дела посерьезней твоих, — отрезал дядя. — Не забивай глупостями мне голову. Я все равно сейчас поеду, а за книгами к Пете мы можем заехать.

Я прикусил губы чуть не до крови и побрел к калитке.

— Хорошо же! — вскрикнул я в порыве злобы и отчаяния. — Хорошо же! Уйду, непременно уйду! — И, прислонившись к калитке, я заплакал. Поплакав, я несколько успокоился! Я поглядел красными глазами по пыльной улице и вдруг почувствовал, что мне уже несколько не хочется видеть Сашу. Теперь все равно свидание с нею не могло быть таким светлым моментом. Мне казалось, что в душе у меня не осталось уже ни капли любви.

Я махнул рукой и, хмурясь, влез на телегу. Но, влезая, я подумал, что все-таки не худо бы хотя на минутку поглядеть на Сашу, хоть по-

просить бы писать мне... Мы тронулись.

— Я забегу хоть в женскую гимназию, — начал я, — и скажу Саше, чтобы она передала Пете о грамматике. А он теперь еще в классах.

— Так мы поедем туда, — сказал дядя.

— Да нет, мужская гимназия на другом конце города, далеко.

— Ну все равно, — согласился дядя. Видимо, на него нашел «добрый стих».

Доехав до угла, за которым была женская гимназия, я попросил дядю остановиться и с бьющимся сердцем, одергивая блузу и поправляя воротнички, побежал к гимназии.

В швейцарской я погляделся в зеркало и нашел себя хорошеньким: должно быть, от слез и волнения лицо стало нежного цвета, на щеках играл румянец, глаза светились темным блеском.

— Можно видеть, — робко спросил я у швейцара, — ученицу третьего класса, Александру Брянцеву?

— Подождите пять минут, — сказал швейцар.

Я стал ждать. Мне стало снова весело и легко на душе. Про то, что дядя ждал меня на уг-

лу, я и забыл думать.

Резкий звонок заставил меня вздрогнуть, и сейчас же вслед за ним наверху и внизу коридоры зашумели и загудели молодежью. Саша сбежала ко мне еще более милая и изящная в своем простеньком платице.

Смущенно и радостно улыбаясь, я подал ей руку. Около нас толпилось человек пятнадцать ее подруг, и потому мы отошли к самым выходным стеклянным дверям.

— Когда же вы едете? — спросила Саша.

— Завтра, — сказал я, то расстегивая, то застегивая пряжку пояса. — Зашел проститься... Вам хоть немного будет меня жалко?...

Саша покраснела и хотела что-то ответить... Но вдруг стеклянные двери открылись и вошел... дядя! Я обмер.

— Что же ты тут, ночевать, что ли, остался? — сказал он сердито, стоя передо мною с кнутом в руке. («Как мужик!» — мелькнуло у меня в голове). — Ждал, ждал тебя! Наконец решился подъехать сам.

— Как подъехать? — возопил я и глянул через стеклянные двери... О ужас! Перед самым подъездом стояла наша телега с колесом

в задке и с теленком посредине! Не помню, как я пробормотал что-то Саше о каких-то книгах, как вышел из гимназии и влез на телегу. От стыда я не знал куда деваться. На подъезд выбежала целая толпа гимназисток.

Саша хохотала, глядя, как я, с трудом оттолкнув теленка, уселся на грядке телеги, свесив ноги.

— Я тебя в другой раз выпорю, если ты будешь так же лгать, — бормотал дядя, усаживаясь на телегу.

И, как на позорной колеснице, потащил меня со двора гимназии. Теленок, перепугавшись, бился и мычал. Гимназистки хохотали. Я сидел как во сне, как в чаду...

Вечером того же дня я ехал на вокзал. В детской измученной душе было как-то пусто. Я уже, конечно, и не думал когда-либо быть у дяди и видеть Сашу... Молча я лежал на телеге. А вечерняя заря была так поэтична и задумчива... Мы ехали прямо на запад. Вдалеке передо мною медленно меркнул свет заката. В теплом стемневшем воздухе уже чуялась душистая свежесть росистых степных трав и цветов. Изредка доносился откуда-нибудь из

«ночного» звук колокольчиков на жеребятках, и опять все смолкало. Все более и более погружались в какие-то тихие думы и придорожные хлеба, и вся молчаливая степь, по мере того как темнела весенняя полевая ночь...

*1890*

# Подторжье

Конец мая, и в поле еще прохладно, дует ветер, то и дело прячется в облака солнце, идут тени и свет.

Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот наконец открылась в широкой дали картина города, забелела полоса шоссе, бегущего к нему, — и веселее шевельнули вожжами, покатали вдоль него рысью, обгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца.

И воздух стал меняться. Он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах коров тоже блестит низкое солнце, коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Молодые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, шарахаются. И пахнет и конским навозом, и коровами, и дегтем, и сеном, кото-

рым набиты тележные задки, больше же всего — городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую руку походные печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоблями, расставленных, однако, еще довольно просторно...

Через несколько минут тележка, с непривычной для деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой. Город!

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямиком вводит в город между острогом и монастырем.

На большой двор подворья едва въехали — так тесно. Все заняли цыгане, которые навели целый табун лошадей: и донских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами. Посреди двора — огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драконами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле необъятная постель, — навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмо-

тъями ситцевых одеял, и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мертвый, спит мальчик лет пятнадцати, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты. У ног его густо и пахуче дымит самовар и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На шее сургучные нити кораллов, навешаны старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку и сплевывает.

Зато в горницах ни души. «Да и ночуете одни, все при лошадях, на дворе», — сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. «А это и того лучше, — ответили ей. — Распорядитесь-ка, матушка, насчет самоварчика да позвольте руки немножко помыть».

К чаю купили калачей, колбасы. Потом сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят:

— Что Господь даст! Что Господь даст! Он цены строит...

Вечером из-за крыш города — золотой свет большой низкой луны. Свет и тени лежат во дворе, который кажется красивым, а от фурго-

на, от палатки даже несколько сказочным. Как тепло, что значит город! И оттого, что по этой прямой и широкой Острожной улице все едут и едут, скрипя телегами, а по выбитому тротуару идут и переговариваются, ночь весела, празднична.

Утром говорливая толпа идет, валит в другую сторону, — вон из города, по направлению к монастырю. Туда же несутся, ныряя по пыльным ухабам, извозчики.

Ветрено, но солнечно. И все время праздничный кавардак колоколов, не смолкающий ни на минуту, не дающий говорить и слушать.

Какое многолюдство и как все растет оно!

Густая толпа теснится возле ворот монастыря, — бородатые, волосатые и загорелые мужики, все чужие, новые для глаза, из дальних, задонских деревень, и великая пестрота нарядных баб и девок, тоже чужих, кажущихся красивее, чем свои. Ворота монастыря, по бокам которых во весь рост написаны два длиннобородых старца в зеленых рясах и черных епитрахелях, с развернутыми хартиями в руках, широко раскрыты, и из них выезжа-

ют купеческие коляски.

Против монастыря — большой желтый острог, и из всех решетчатых окон его смотрят, прильнув к решеткам, широкие бледные лица под серыми бескозырками. У ворот острога тоже толпа, — сердобольные души принесли острожникам праздничного калачика.

В канаве возле шоссе спит молодой босяк с маленькой стриженной головой. Какое-то своеобразное изящество, какое-то щегольство есть во всей его легкой, не деревенской фигуре, в его короткой ситцевой рубаше и рваных дырявых брючках. Проходящие смеются, острят:

— Кто праздничку рад, тот до свету пьян!

А на шоссе одиноко стоит распряженная телега, а на телеге, на возу, сидит пожилая девица в драповом дипломате. На крыльях носа пыль. Дует жаркий ветерок, несет шум и гомон ярмарки, и лицо у девицы отупело от сиденья, от обиды, что ее посадили и ушли, что все идут и смотрят на нее.

А вот уже и пыльная, истоптанная трава выгона. Тут, на отлете, на самом ходу, при-

строился со своим столиком квасник. Толпа валит и валит мимо, многие на ходу пьют у него. И он потен, красен, с расстегнутым воротом, с картузом на затылок, радостно замучен своим призывным криком и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, он то и дело с треском раскупоривает бутылки, озабоченно отсчитывает сдачу медяками, а сам бьет сапогом двух красных петухов, сцепившихся под его столиком.

И с каждым шагом вперед все растет теснота — от народа, от телег, от скотины: поминутно спотыкаешься на связанных овец, лежащих на земле среди пыли и навоза, опасно пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возле лошадиных задов.

Вот даже и совсем надо остановиться, — ходу дальше нет: в расступившемся кругу тесной толпы идет бешеный торг. Торгуют всего-навсего мужицкую лошаденку с легким дрожащим хвостом. Но какая горячка, сколько крику! Как яростно носится, держа эту лошаденку за повод и поминутно с диким и вызывающим видом оборачиваясь на зрителей, цыган со смольной бородкой, с черно-золоты-

ми глазами!

Он в расстегнутой жилетке поверх лиловой рубахи, в плисовых шароварах, одна штанина выпала из-за голенища.

— По душам сказал — бери! — кричит он.

На него смотрят: пузатый седой барышник с серебряными брелоками на часах, затягивающийся из серебряного мундштука, и мелкопоместный барин в белом картузе, в черной поддевке и серых штанах навывпуск.

— По душам сказал, душевно говорю! — сипло кричит цыган, круто заворачивая и осаживая сразу на все ноги лошаденку. — По душам сказал — бери! Ну, сто монет — и пойдем жижку пить! Зимой приеду, угощать станешь, хлеб-соль дашь!

— Вот что, — кричит барышник, — по-божьему, по-хорошему, по-любовному, с веселым сердцем: шесть красных — и кончайте! Лошадь работница! Не сопата, не горбата, животом не надорвата!

— Я лошадь не корю, — кричит барин. — Я лошадь принимаю!

— Лошадь дурить нельзя! — подхватывают в толпе.

— Дай бог дитё такое! — кричит цыган.

— Ну, и молитесь! Его святая селя!

— Ну, была б жива-здорова!

— Господи благослови! Кончайте!

Крестятся, яростно бьют по рукам, но барин кричит:

— Пять красных и магарыч мой!

И цыган бешено плюет:

— Тьфу! Сахаром тебе в уста, огнем из заду, этот магарыч твой! Что с тобой говорить, только кровь гадить!

Спешно подходит с высокой палкой в руке старый цыган, лицо которого точно со старой медной медали.

— Стой! Что за шум, а драки нету? — кричит он. — Стой, я вас помирю!

И торг начинается опять сначала, закипает с новым ожесточением.

*Васильевское. 1909*

# Деревня

## I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: "Ату его!" Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: "торговля мелочного товару чаю сахару табаку сигар и протчего".

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок.

Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой, — "не плохо, ничего не разбершет!" — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взял приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именье: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрился он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Ча-

сто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать — нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь, — от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками, — желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь ноги-то расставил, — эмирский бухар какой!

Осенью возле постоянного двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку, — темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в

кабаке:

— У-ух! И здорова же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхальным табаком?

— Вот и вышел дураком! А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нынешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почему?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почему?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал:

— Нет-с, уж я своего добьюсь, — говорил он знакомым. — Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него:

что же это, — одна приспала, другая — все мертвых рождает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть па иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка, — так смиренно и ласково-грустно, — темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Те-

перь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники и в доме появился "Новый полный аракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе". И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, злоеющие или бессмысленные.

— "Любит ли меня мой муж?" — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— "Любит, как собака палку".

— "Сколько детей будет у меня?"

— "Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон".

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину... И загадывал:

— "Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?" Но и ему выходила чепуха:

— "Считай во рту зубы".

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон

Ильич увидал жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

*Где мой дитяtko лежит?  
Где постелюшка его?  
Он в высоком терему,  
В колыбельке расписной.  
Не ходите к нам никто,  
Не стучите в терему!  
Он уснул, започивал,  
Темным пологом покрыт,  
Расцвеченною тафтой...*

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела, — только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и

лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: "Боголюбивейший Благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне я честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастье слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовью уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келий иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние..." И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость, — и все-таки послал. Но не помогло и это, кончилась беременность прямо мукою: перед тем как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее

Словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходиться в голову: "Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?" Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу, — особенно при фразе, не сходявшей с языка: "Имейте в виду". По-прежнему он молодился — носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле. — Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна. — Договорись ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями. — Нет-с! На всякий роток не накинешь платок! И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в кото-

рой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидеть вдаль, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город,

видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— "Каторга!" — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный гомон, ржание лошадей, трели детских свистуллек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечера по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, ло-

шадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом спальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевах и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый, севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад,

глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, "поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника. И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что "живот почти прошел", и только по робости не отка-

зался от касторки. И воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые "пивком освежиться" — и он шел. Орал квасник:

— Во-т квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел, ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей, — ест же этот хлеб досыта сто человек во всем горо-

де. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек, — да все таких, что смотреть страшно и тошно, — прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро до Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство, — на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: "Духовный портной Соболев". Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие шесты у ворот, а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, за-

пускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки, — в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот. — Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и প্রশামкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкапывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар, — белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

*Какие страшные оброки  
Смерть собирает от людей!*

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что по, явилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжелых чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. "Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра" — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: "Блаженны мертвые, умирающие в господе!" На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

*Царю он честно послужил,  
Сердечно ближнего любил,  
Был уважаем от людей...*

Стихи эти показались Тихону Ильичу лжи-

выми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска, — все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле, — все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: "Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении".

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть, — те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлющих на припеке, увидел Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустешие:

*тише, листья, не шумите,  
мово Костю не будите! —*

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка, — лихо носятся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: работники бы этого лодыря! Полднее солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолков. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошадеенок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки, — рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищebroды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубашке, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрал окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский картузик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чеку потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила ти-

шина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то, — сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Ло-

шадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, — опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами, — любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. "Беда!" — подумал он, бледнея. Ничего-то у него не застраховано, все может в один час слететь. С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ни-

чуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. "Водка кровь полирует", — говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотой клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли, — война с Японией и революция. Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. "Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!" Но скоро слышались иные речи.

— Своей земли девать некуда! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич. — Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

— Как дал этому самому министру под жилу, — говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга, — как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. — "Все жида работают! Все жида-с да вот еще лохмачи эти — студенты!" И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводды тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет, — народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не давать ему ходу! Не то держись: почувет удачу, почувет шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Слу-

чалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, нехорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит лары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодырь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такового-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, придиричивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — "и отчего это так густы они у дураков?" — лоб вда-

ленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбы, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля, — все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой — и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с перевала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков, — конечно, кто поделнее,

поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашкой рубахе, в коротких тяжелых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич, — сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. не плохо бы. Да, капитал-то, к примеру, не дозволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вдыхая, бормотал он дрожащим голосом. — Деньги... У меня их, к при-

меру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радуется... Прямо надо сказать — не радуется!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радуется? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы? Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записала... И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... покуришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку сигарку... Кабы не глянул- пропал бы!

— Что ж за сигарка такая?

— Костей мертвых натолкла да вместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-

русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, а голова-то стриженная... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решился:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете? Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он. — Какого там рожна — бунту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошаадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, — что из-за ка-

кой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьюми!

Но «распоряжение» — таки вышло. Пронесся в одно из вокресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением силы и дерзости, с готовностью "самому черту рога сломать", Тихон Ильич крикнул "запречь в бегунки жеребчика" и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделявшийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугушки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на

минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и

смелее махал палкой наступавший шорник, — злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубаше. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение "пошабашить это дело" — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономии посторонних батраков, заступить на их работу местным, — по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то, — вопил он, наливаясь кровью. — Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему! Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам. — Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади. — Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И из всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но

впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. "Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!"

В этот год Тихону Ильичу сравнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во

двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя па свадьбе, и ушел в солдаты. А Молодая, — стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами, — стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с пазументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, — за ней так и осталась эта кличка, — была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дومتала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертнова не пожалею! Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что "без солдата теперь не обойдешься". Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавшееся в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, покрасневшее лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, мальй!

Пахло горячими помоями, горячим телом, потом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув, и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Молодую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости, — и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Мо-

лодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко задавшим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо говорите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело. Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий? Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говорите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой, — и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее, — стал «автором». Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов и на обороте обозначили "Склад у автора".

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услышавши это. — Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочи-

нение Кузьмы Красова?

— Все честь честью, — ответил знакомый, твердо веривший, впрочем, — как и многие в городе, — что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, покрытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубьями пол, Пахнувший конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, неболь-

шие зеленоватые глаза. Начал он но просто.

— Спервоначально изложу я тебе, Тихон Ильич, — начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю, — изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... — Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли, — анархист... Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю, — драть шкуру не буду.

— Да и времена не те, — вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще, — драть-то. Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению, то есть.

— Ох, имей в виду: зачитаешься — в кармане не досчитаешься! — сказал, потрянув головой и дернув кончиком губы, Тихон

Ильич. — Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю, — возразил Кузьма. — Я, брат, — как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду, — вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанивал пальцем по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно, — сказал он. — Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету, — ну и что ж? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив, — покосился Кузьма на брата, — так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со

смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого, — сказал Тихон Ильич. — "Поживи-ка у деревни, похлебай-ка сырых щей, поноси худых лаптей!"

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма. — Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич. — Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: "Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!"

— Вроде молокана, — усмехнулся Кузьма. — Да, а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка, — и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний, — возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь. — Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго. — А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул, — и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. "Правильно и это", — подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу. — Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а за-сим говори дело. — Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с

базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма, все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: "Ловко!" А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так, — не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он. — Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманнные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано: "Стихотворения К. И. Красова". Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что

обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал, блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи, — важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич, — сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потушился, — а у нас одна песня... И непонятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что почему?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно. Она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже со-

бравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать, — противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, Щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделяваясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. "Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!" И, возвратись на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась, — сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугушки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой,

похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок», — пригласили Козу и Молодую, вей ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них, — после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада, — то увидела, что Молодая, но пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее,

Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сравнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: "видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет". Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь, — опять выбившись из колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее, — убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой "рубашу сменить", умер "от живота"! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как Сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

— Имей в виду, — горячо перебил Тихон Ильич, — охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю Утиную Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну, и доставили. А на бочке написали: "Осторожно. Дурак битый".

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма. — Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли, — грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор, — жестяная труба в верхнем углу окна, — был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть — "как в волостном правлении", — думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять вентиляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю считаешь — волосы

дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: "распорол ему груди белые", "выпускал черева на землю"... Илья, так тот своей собственной родной дочери "ступил на леву ногу и подернул за праву ногу"... А песни? Все одно, все одно: мачеха — "лихая да алчная", свекор — "лютый да придирчивый", "сидит на палате, ровно кобель на канате", свекровь опять-таки «лютая», "сидит па печи, ровно сука на цепи", золовки — непременно "псовки да кляузницы", деверья — "злые насмешники", муж — "либо дурак, либо пьяница", ему "свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить", а невестушка этому самому батюшке "полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла", к муженьку же обращается с такой речью: "Встань, постылый, пробудися, вот тебе помой — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися"... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! "За битого двух небитых дают"... "Простота хуже воровства"...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! "Черт! Тебе лопать нечего..." Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот., сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой, — перебил Тихон Ильич, — а как поживает сам Серый?

— Дениска говорит — "с голоду околеваает".

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно. — И ты мне про него песен не пой.

— Я и не пою, — сердито ответил Кузьма. — Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: "Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-невидимо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она и сожрет его весь под тобой... То-то смеху было!.." Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: — "То-то смеху было!"

— Да постой ты, Христа ради, — опять перебил Тихон Ильич, — дай мне про дела-то слово сказать! Кузьма остановился.

— Ну, говори, — сказал он. — Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный ворот-

ник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще наворачивается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но больным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящичку с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи. — Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого

Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наше дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, проводя гроб, так искренно, что была даже неприлична, — ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда, — и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые, — кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, "олух царя небесного". А сколько заботы требовала одна

скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей; а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, — мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: "Подаешь письмо — руки-ноги трясутся!" Тихон Ильич вышел к нему под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал: "Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи".

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почттарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровями дугами и глубоко запавшими глазами. — Так, прошелся ради геморроя, — сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду, — с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами, — имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубали, — сказал почттарь.

— Да еще как-с! Как вырубали-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич. И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка то слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки не даром. "Все линяет, — думал он, — вот как скотина после долгой и трудной зимы..." И, простившись с почттарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул непри-

ятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило, — верно, простыл, стоя вечером на шоссе, — чуйка, которой он прикрылся, сползла на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжелых телегах, на злых вороных битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник, — он показывал три, — поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по на-

весу ворот и поминутно дергается, звонит колокол над ними, — приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убежал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть, — что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырým холодом, — караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светло, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братушка, — сказал Тихон Ильич сильным со сна голосом. — Да

пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели. — Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кормочку давай, — пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и трясая головой. — Ох, мати царица небесная!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все

стены потемнели от дождя. Чуть моросило, "но, верно, к обеду опять польет", — подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив кострец и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

"Связался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением. — Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!"

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

"Скука!" — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда? Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся, — вышел

ли малый, — и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел. — Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса, — вчерашний он только перерыл, переслюнявил, — и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, притворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слышал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой

грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где над табуреткой с оловянным тазом был прибит медный ручной мойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя ручным мойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей много! К зиме-то, брат, жрать захочешь, — придешь, сукин сын, приде-ешь, поклоо-нишься!

Утирка висела возле ручного мойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох, — сказал он, закрывая глаза и тряся головой. — Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево, — в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохши-

ми клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: "Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил Врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари". Другая дверь вела в комнату хозяев. Там направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель: над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем — венчальная шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич, — сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово, — кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший из-за раздвоенной губы мужика. — Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом, — великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окру-

жали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнувшего распаренным веником.

"Лба не дадут перекрестить, — думал он, страдальчески морщась. — Зарезали, будь они прокляты!"

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задрезавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: "Его же и монаси приемлют"...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рас-

сеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

"Не до леригии нам, свиньям!" — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживи-ка у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он. — В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торгашество не пускало, то постоянный двор, то кабак. Теперь вот жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лешишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени, — да так и не урвал... Как вода меж паль-

цев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоротках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах, — Бучнев, Выставкин и Богомоллов. Выставкин, тот, что посередине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомоллов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор, — когда приезжали архи-

ерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом золотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет также будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагретой печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром, — значит, на дворе свежее

ло. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов, — и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны слышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует, — насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмеяться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и зале-

завших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло, — опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт не придумает что! Жеребец просунул; морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными

огурцами, щи с грибной подливкой, пшеничную кашу... Лицо покраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь, — только стащив нога об ногу грязные сапоги, — он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу — тоже... или нет; лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспшишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались... -

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой —

сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макашкой — так и звали все: "Макашка Странник" — и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе, — в лаптях, скуфье и засаленном подряснике, — и зашел. В руках высокая палка, выкрашенная медяной, с крестом на верхнем конце и с копьём на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, ноздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший сигарку и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключаящим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон, — за то, что сразу было видно: "прожженный сукин сын".

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежду и оставил. Но вором Макашка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать.

А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями, — настолько зловещими, что его посещения стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь йод окно, заунывно затянет "со святыми упокой" или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одежде и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело запивался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.

*Расплатится мать, сыра-земля,  
разрыдается! —*

заливался слепой.

*Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется!* —

убежденно вторил Макарка.

*Перед Спасом, перед образом,*

— вопил слепой.

*Авось грешники покаются!* —

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

*Не минуют суда божьего!*

*Не минуют огня вечного!*

И вдруг оборвал, — в лад со слепым, — крякнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал внезапный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам

в падающего человека, была подпись: "Жан-Поль Рихтер, убитый молнией".

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку, — отрезал Тихон Ильич. — Меня, брат, не перебрешешь! И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни! Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее, — ответил слепой

серьезно. — Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнилось лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него "во всем доме две трынки, хоть обыщи!" — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим ему показался этот обычай теперь. Беспощадно-строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия

не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Жизнь мою описать следует...

А описывать-то что? Нечего. Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, ка-

кой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то, — ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Мионов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он ответил: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем, — гуртуют, воркуют, трепещут крыльями, — а они с братом бычьим хвостом подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда мо-

лод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки н лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

— Никак, ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью, — брата родного: "Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?"

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, — например, купец Рукавишников, — рассказывали... Да я без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели, — и не только но пьяному делу, — все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными, — вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, резвые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стек-

ла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют, — сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубокодохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидел Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — "ужинать!" — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытой

душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте, — железнодорожная будка. В сумерки мимо нее все проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места. — Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу, — сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно громыхали бубенчики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-из-

возчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью, — смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было, — с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич. — Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные

и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышинового цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич, — ответил он певучим городском тенорком и, как всегда, как будто застенчиво. — Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно ответил он. — Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю, — сказал он, называя венгерку вендеркой. — Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан;

— А это что ж за штука такая? Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич. — А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», "Невинная девушка в цепях насилия", "Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям", "Роль..."

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль пролетарията в России. Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил, — ответил Дениска с грустной усмешкой. — А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я

и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался стационарный сторож, — седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой, — и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он. — Тот тоже всегда так-то; наладят его в шею, а он — "я сам ушел".

— Глаза лопни, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич. —

Деревня стоеросовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

"Авось и ты-то из тех же квасов", — с усмешкой подумал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать, — ответил Дениска спокойно. — Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска. — Приду в вагон, — прямо, господи благослови, под лавку.

— А книжечкй-то где рассчитывать? Под лавкой-то не рассчитаешься.

Дениска подумал.

— Она! — сказал он. — Не все ж под лавкой. Залезу в нужник, — читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что, — начал он. — Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку, — пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут, — сказал он, разумея дворовых собак. — Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

"К чему это он гнет?" — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и закончил:

— Да и жениться пора.

"Та-ак!" — подумал Дениска и не спеша стал завертывать сигарку.

— Что ж, — спокойно и чуть-чуть печаль-

но отозвался он, не поднимая ресниц. — Я калянитья не стану. Женитья можно. По приституткам хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то, — подхватил Тихон Ильич. — Только, брат, имей в виду, — женитья с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али свинойей.

— Не меньше кур и свинойей есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба сминая, работающая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много, — сказал он протяжно. — Не знаю, про какую вы балакаете... Про энту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай нет, — это не твоего, свинья, ума дело, — ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

— Ну, значит, и не брещи попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу... — начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки — решил было дать Дениске двугривенный. Но спохватился, — глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол, — и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

"Каво люблю таму дарю люблю сердечна

дарю кисет на вечно".

— Ловко! — сказал он, прочитав. Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно. — А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич. — Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так, — сказал Тихон Ильич. — Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками,

самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший должность помощника начальника станции, — молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коконом, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске, — и крупной, дрожью дрожал сидевший на грязном полу поинтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич, — сказал он еще застенчивее, чем все-

Гда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич. — Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитайте.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмеллся.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился. Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью слышался смех, потом голос Оськи:

— А то еще история была. Жил на селе мужик, — бедный-пребедный, беднее во всем се-

ле не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябой. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-оет! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугуун...

— Чугу-ун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугуун, да в чугу-не-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

"Ах, пустоболты!" — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого, — вставила кухарка. Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околеет. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то — со старческим

кашлем,

— Никак, Жмых? — встрепенулся Тихон Ильич. — Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу, — продолжал Оська, — пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околел, — надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка, — надо кобеля хоронить. Как затопают поп ногами: "Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!" — "Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьдесят целковых отказал!" Как ускочит поп с места: "Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!"

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки,

разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с сигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший? навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засылая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестя и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар, — точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взгляды-

вал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку лучше — не плохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

"Деня получил 40 рублей денег патом собрал вещи..."

"Сорок! — подумал Тихон Ильич. — Ах, го-лоштаный!"

"Нашел Деня на станцию Тула и как раз его обабрали вытащили Все докопеки детца некуда и Взяла его тоска..."

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом свети-

ла лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделявала на морозном воздухе плясовую...

"Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен..."

"Ну и дурак же, прости, господи! — подумал Тихон Ильич. — Это Серый-то грозен!"

"Найду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку определится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох..." —

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку. — Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа. То чистая собака человек, то грустит, жалкует, нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая

осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины, — лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, — кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы, — тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

*Пришел мой скучный вечер,  
Не знаю, что начать,*

*Пришел мой друг любезный,  
Он стал меня ласкать...*

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

*Целует, обнимает,  
Прощается со мной.*

Голову туманило, — то казалось, что все еще впереди и радость, и воля, и беззаботность, — то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане, — будет те-тушка в торгу! То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидел два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно изпод земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: белоблистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, неся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугуничок со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы, и сонно, мрачно гля-

дел в стол.

## II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал "бесплодной смоковницей".

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов безграмотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было, — уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплевы-

вая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: "Я тебе уши оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!"

Там Кузьма и писать стал, — начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей несправедливой и "так рано пресекшейся жизни...". Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! "Рано!" Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. "Он носил меня в моей молодости!" — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему. — Сколько же лет

было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил, — ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар, — о русско-турецкой войне: о том, как

*В семьдесят седьмом году  
Вздумал турка воевать,  
Подвигал свою орду  
И хотел Россию взять, —*

и как эта орда —

*В безобразных колпаках  
Подкрадалась под Царь-Пушку...*

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил по-прежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин; читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в

то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что "кто умен, да не учен, в том без ученья много света". Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: "Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежского алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию просвещенного \_без наук природою\_..."

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту Сторону, куда был скошен и рот его. И как рывкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы "о просвещении без наук", как сверкнул этим глазом, отшвырнув сигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумали, что значит это наше "без наук просвеще-

ние"?

И опять схватил сигарку и стал глухо реветь:

— Боже милостливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев! Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев, с Колупаевым, не

мироед-паук, не поп-лиходимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

— Платон Каратаев....

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизей, хрестовые походы, войны леригиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нот, шаяишь! Мне-то, сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастьем казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и

страшная улыбка Балашкина при виде проходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друга друга именами, цитатами... И самые безнадёжные выводы — в конце концов. "Теперь-то уж и впрямь шабаш, — во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: — Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят..." А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь кошачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы, — по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пятен, ночевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нуж-

но было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо, — хмуро и зло жаловался один. — Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да, — гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в сигарку. — Сказано: каждый час учись, каждый час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил сигарку и полез в столик.

— Вот, — забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет. — Вот тут, друг, куча добра... Я все почи- тывал, да вырезывал, да записывал... По- мру, — годится тебе, матерьял о русской жиз- ни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замо- тал головой:

— Да нет, нет, — этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби древо по себе. На эту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вы- шел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ, — ска- зал Кузьма. — Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? Да она вся — деревня, на носу заруби себе это! Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо кажный вечер по улицам прет — от пыли со- седа не видать... А ты — «город»!

Сухоноеый... Много лет не выходил из го-

ловы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе, — в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговли из "обжорного ряда" и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: "Нынче таких салопов-то уже нетути!" Он не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собствен-

ную жизнь. А в этой жизни страшной всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала" Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидел красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекая трех покорно, но

упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, йод одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытывавшие рукопашную схватку с бешеным

зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками.

Кузьма восторгался: "Ах, и время же было!" Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилала глаза Кузьмы. "А непротивление?" — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. "И подойду! — думал Кузьма. — А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление..." Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный, по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончилась, народ выходил, сторожа тушили све-

чи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул:

*Взгляните, мамыши,  
какие мы есть несчастные, страдающие!  
Ах, не дай господь, мамыши,*

## *Таким страдающим быть!*

И Кузьма поддакивал: "Так, так! Правильно!" В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго, и что впереди — нищета, потеря лица человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши; ночевал целую зиму в общем номере на подворье Ходова, дни убивал в трактире Авдеича на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авдеича и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутком стал! Раз стоял он на базаре возле мучных лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал

его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

*Кто пьянствует с похмелья,  
Тот действует умно...*

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

*Да здравствует веселье,  
Да здравствует вино!*

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, отдельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. "Да, да, — думал он, — давно пора!". И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, пореде-

ли, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще хуже стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от сигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всяобщая забастовка!

— Опоздал, малый, — сказал Кузьма. — Поновей-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городской на вокзале отнял, — ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходявших под гору, в конец городской улицы. "Чудеса в решете!" — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как "Муромцев отбил премьер-министра"... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик, извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузь-

мой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья. — Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели. — Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, и на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызущую во рву кость...

"Да, да, — думал он, поднимаясь на гору. — Ненадолго лягушке хвост!" Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники игра-

ли «Тореадора» и "Возле речки, возле моста", «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди га-лопа: "Эй, мила-и!" — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и крутом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет: — В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила, — ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят... реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая

палка и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был, — взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Серый, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... "Русь, Русь! Куда мчишься ты?" — пришло ему в голову восклицание Гоголя. — "Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — "депутат хотел реку отравить"... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!.. — "И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдееча на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ветошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича, — и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на

стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было, меньше, сел за столик, спросил бутылку меду. Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав ни себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. "Ну, залетел!" — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: "У меня, господин, брат тут служба... Брат родной...". И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел»! Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: — "Ну, прощай!" — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь об-

становки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: "Не прогневайтесь..."

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что "цены на хлеб боестроит". Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаении. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свой чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит; "Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!" Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтиком карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, ручник Черняев, все время косивший на него свинными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил!

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты о голоду околевал, ре хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция, — тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные

и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов, — учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свежее-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидел на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной

чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум!

— С богомолья?

— Из Воронежа, — с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать сигарку... Но мысли опять спутались. "Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Дат но кто виноват в этом? Сам же народ!" И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: "Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не преж-

нее..." Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: "Опять же корма дорогие..." И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее "не удержишь", и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанный оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей, — пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

Звали Ахванасьем...

"Ахванасьем!" — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшов.... Н-но, анчихрнст!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на гор-

ло.

— Ну, уж и дурная, — пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону. — Квасу холодного напился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту, — сказал Кузьма строго. — Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь; Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать, — согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. "Не-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!" Наконец бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив, — только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! "А богатство-то какое!" — думал он, мучительно сидя с подня-

тыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — разошедшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки, — елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. "Творчество! — ухмыльнулся Кузьма. — Пещерные времена, накажи бог, пещерные!" На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень, — видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колению, на крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, — вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья боль-

шая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — "чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!" — желают друг другу "подавиться куском на Велик день"; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные, жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на целях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

— Гуляет народ, — задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.  
— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить, -  
Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и онучи, и новые тяжелые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: "Расступись, дай купцу глянуть!" — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди галма и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки. — Будя тебе за ради Христа! Же-

ланный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Ццыц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала, — говорил Меньшов, тащась по выгону. — Любит она его без памяти, — дело вдове, — а он почесть каждый день мордует ее, пьяный... Знать, того стоит.

— Это каким же манером — "того стоит"? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

— Это Чучень, — сказал Меньшов, кивая на больного. — От живота второй год помира-

ет.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобылинником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте, — две длинных лощины, заросших дубняком, — назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки

костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым завромом. В голову стучали градины, летели лепешки грязи, в колесах, дод колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубаше и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба. — Чей?  
— Господский.

— Чей? Ничего не слышать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо я мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меншова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покато выгоне, — темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками, — обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста, — кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки,

дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: "Н-но! Н-но-о!" А мужики с гоготом и свистом подхватывали: "Тпру! Тпру!" И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. Отчаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский, — громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей. — Его сожгли вчерась... Видно, стоит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случи-

лось в этот день несчастье — умер ребенок, — и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смиренно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать, — ответила старостиха серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочном шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада, — сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, но ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке

белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. "Хоть бы огонь зажгли!" — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что "сад давно сдаден", а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: "Однако ты умен! — крикнул он. — Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается..." Но смиловившись — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализациями, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покато́й аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темно-рыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тя-

желых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он, на ходу, при\* слушиваясь к вокализам. — Ишь, раздолевается!

— Кто раздолевается? — спросил Кузьма. Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да барчук-то, — весело сказал он, сильно картавя. — Говорят, семьей год так-то!

— Это какой же — что курицу рубил? — Нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: "Нонче ты, завтра я" — прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного,

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять, хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, — бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, "только промеж крыльев холо-

дит"; Аким страдал "куриной слепотой" — от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемой ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и ро-

кочущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил, — притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму, — приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди, — рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу. — Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— "Со скггипом"! Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам, — сказал Кузьма, — вы вот

лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку. — Она бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Попечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугунком краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю, — сказал он покорно и грустно, — что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора

тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!.. — Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут, — сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не бреши, если не видал, — строго сказал Митрофан,

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь ден сидел, — много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?

— Да дурак, — перебил Митрофан, — булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в "реденькую кашку" и пошел в ша-

лаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши ложки, кинул их на стол и крикнул: "Несите, что ль, кулеш-то!" Пекарь встал и пошел за чугуничком. "Милости просим", — сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотой. Соловьи смолкли, — складно и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. "Даже и не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма. — Народ, пропади он пропадом!" И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда? — А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю, — слы-

шался голос пекаря, — сколько он от Думы земли чаёт получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письменный, — сказал Аким. — Тебе из навозу, видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата, — заговорил Митрофан. — Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город, — радостно подхватил Аким, — и в навоз! Зароется, не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан. — Чего гочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами. —

Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничая, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки, — равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет, — подтвердил Митрофан. — Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Нанковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать, — сказал он наконец. — А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами;

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво. — Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь, — отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать сигарку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мо-

чальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загредел дальний гром. Постояв и раз-

личив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролегавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидел широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем,

спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах оказались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать место приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посмат-

ривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в "общем номере", среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдетя по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и

вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — прости дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из Ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита

раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва до аллеи, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всеобщей, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотька», — подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой, — видно, базар позабавился, — и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплеываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать сигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

### III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники, в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, "девять девок, девять баб, десятая удова", все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

*Ты, коровья смерть,  
Не ходи в наше село! —*

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

*Со ладаном, со крестом...*

Теперь вид дурновских полей был буднич- ный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной, — Тихон Ильич угощал его за обе- дом наливкой, был очень добр в этот день, — и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо, — все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полы- ни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадь- бой стояла на пашне лошаденка, с репьями в холке, и телега, высоко нагруженная полы- нью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив" боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался

Яков, поднимая свою косую бороду. — На морды лошадям сигает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями, тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев, — Мысовых, как назвал их Оська, — и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребяташки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно, — сказал Оська. — Ученик у них бедовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено

все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: "Здравия желаем!" — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому лугу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и "Кузьме с работником. Кузьма

сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсвекольнику, милому позднему цветку голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство.

По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падалицы, залезал с ними в

крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводиться. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран, — сказал он наконец, не спеша. — Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех нор?

— Не знаю, — сказал Кузьма. — Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в са-

пе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. "А можешь ты эту лошадь пером зарезать?" — "С великим удовольствием!"

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то, — и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньщ, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи, — сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю, — сказал Кузьма. — А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей, — быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы. — Одна мышь поплоче несла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — "Кто он?"

— Выучил?

— Выучил....

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой, — сказал Кузьма, — а не сядой.

— Ну, сидой, — согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун, — сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть

виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он ухи найдет, — беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными: деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирuşками дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью, и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то, — говорила она, легонько вздыхая. — Бедность была лютая, хлеба и в новину не хватало. Мужик меня,

правду надо сказать, любил, да ведь покорисься. Целых три воза ржи дал за меня барин. "Как же быть-то?" — говорю мужику. — "Видно, иди", — говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугунке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно несло на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугунки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась — и он посматривал на небо:

— Портится погодка. Дождок теперь для зеленой первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил, в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: "положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет..." И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрени-

ем относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — "все брешут!" — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель. — Проснулась эта ведьма нарани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож. И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: "Смолкни, пташка-канарейка..." До утра он караулил усадьбу,

днем спал, — дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голем саду, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, падрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: "Как поздно машина-то теперь проходит!" — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казакове и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге, — то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на

местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встречал не только во всемирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не попадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

— Да ведь язык-то без костей, — говорил Серый. — Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и брешу.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: "Понево-

ле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!" Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню, — "милое за немилое сбывал". И опять с резонном: дождись-ка ее, попробуй! — "Все, к примеру, дождаться-то лучше..." — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмежался и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он. — Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то сидит, ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросят выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна, — возражал, раздражаясь, Яков. — Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Се-

рый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клевера. И вот на клеверах-то и довезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машинку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся.

А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей; за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год

приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с те-перешней только в твердой надежде на буду-щую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — от-резал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, потряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплы-вут?

— И приплывут, — ответил Серый загадоч-но.

— Ой, брось дурь, — сказал Яков, — най-мись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о ка-кой-то ладной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то не мед, — говори-ли соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попал-ся путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую ис-торию: как он, будучи холостым, целых два

года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он. — Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская — экономия хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик. — Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы, — отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И при-

шлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладывать?

— Не время его накладывать, — твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать.

— Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя, бросать,

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и

назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солону.

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, милый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело, — за что?

— Мне нечего говорить, — пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это, — за пельки хватать? — спросил Серый спокойно. — Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было. — За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь, — сказал Серый, держа вилы наперевес. — Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных ли-

стве... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шарахнулся в воду — спасти... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывая брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрюща-то, с Егоркой, с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то? под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут нормочку скотине дай, а я пойду, — на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А

уж снежок первый напал. Вижу опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепужались они — до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... "Ну, говорит, бей меня теперь". Это он-то. "Бить, говорю, ты мне не нужно-он..." Поддевочку его взял, пинжачок тоже, оставил в одних подштанниках, — почесть в чем мать родила... "Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь..." А сам домой. Смотрю и он сзади идет: снег белый, — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда, — куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе, — в поле! Закатилась — насили соседка под самым Басовым за рукав пой-

мала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: "Мы люди бедные ай нет?" Молчит. "Мать-то у тебя убогая ай умная?" Опять молчит. "Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?" Ну, и зачал ее лудить, — был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю пояснику ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взаялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вона! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. — Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

"Ну, и рассказ!" — долго думал Кузьма после этого вечера. — А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова, — совершенно лысый мужик в огромной шапке, — писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма к сыну, вся

в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать, — в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет,

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, по-стариковски глядя на Бутылочку поверх пенсне. — Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

"Куда бы поехать?" — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только

трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говорившей только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. "Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!" И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя

и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабovolен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил, — ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да до веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит наво-

зом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке, — угольком краснеет его трубка; хозяйка, — смиренная, молчаливая, с придурью баба, — тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок, — большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак, Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темно-

той, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустынное. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, рожел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, выросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых

пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки "зашлись с пару", что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сип-

лый голос, — голос человека, проснувшегося рано, натоцк озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Одноворки, что говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал сигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: "Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей..." То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью, днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою.

Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи, — у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать, — скажешь ему. — Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на два на три, все быстро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз; даже спросил,

усмехнувшись:

— А как спать-то вам, — ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич, — пробормотал он, отвертываясь к окну. — И особенно после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень... Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле

изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками; в школу, избегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто, — только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую — горячими, как огонь, картошками или вчерашними кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь и ди-

вился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, — часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И по-

ездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысынами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт и передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахатров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур

или пуд муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков, — о необходимости поскорее, поскорее развязаться с именем. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встречала в беседу, невпопад хвалила его, — его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу.

"Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!" — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке

и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Ош косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: "Дай бог дому сему да хозяина в дому", — и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке

миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую от соли и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она улыбаясь, — она улыбалась только ему одному, — негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: "Спаси тебе господь, внучка", широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло, с лаптей текло по полу. От ветхого, бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым нытьем отозвался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось? Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой. — Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Таперь, брат, не подымешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали — и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — "дюже солонна", что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: "дюже был грузен"; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в

голову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норovit человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали "на чепи" — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, У него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду; склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И студился насмерть — и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил "не поддаваться". Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если по-

стучится смерть. Ночью он пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжело вздыхал, долго бормотал, повторял: "Господи-батюшка, прости мои прегрешения..." Потом задумался, долго молчал, прикинув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказа "Не, не поддамся!" Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно, — у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб, привезли из города муки, водки, соленого судака; а он возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнил это, поник голо-

вой и покорно побрел в избу. А ночью, лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петать, да все тише, тише — и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых бах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на крещенье говорили, что птица мерзла на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и заочневшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться.

А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог, — поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечи, при-

лепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевелый, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпались по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпались. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее ли-

цо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и зазубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, окошел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновкау занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услышать от нее ласковое слово. Но Молодая равнодушно, сухо ответила: — Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ниче и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату весь дрожа, со страхом сообщая, как же это и куда о будет ходить теперь за нуждой, лет на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит в прихожей, пахнувшей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь, — зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, не леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку, села на стул возле дивана... Одета она была барышней, — бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха, — руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза покраснелись... "Ах, как хорошо распуталось все!" — шептал кто то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажигает огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: "Хазбулат удалой, бедна сакля твоя..."

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, и даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-нибудь чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку, — и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды

и странны, как всегда кажется беспощадна чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце, Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнувший лекарством и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за

Дурновку — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок, — найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, — и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгну-

ла и, с визгом, желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и достигла бы, да "спасибо, снег был глубок"... Кузьму так поразило этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, шел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поля краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сторбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять спускались на девственно-чистый снег. "Иванушка, Серый, вороны... — подумал Кузьма" — Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!"

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал,

что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стоял вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата, — какой он есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя, — сказал он, подумав. — Я и лавку с двором с первого марта передаю, — поедем братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Одноворка и передавал подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро за живет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти рассказы брехнею, потом, по

намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив от целковый Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на сигарки потолок, который Денис оклеивал газетами и разными картинками. Обдирал конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорезли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. "Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе,

злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!" Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого, — прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете, — сказала она с дрожью в голосе. — Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами. Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла

желаю? Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. — Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраиывать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам, — сказала она тем милым тоном каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых "террористических актов" и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые,

грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места. — Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. — Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат, — ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь, — ответил Кузьма тихо. — Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось, — картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: "Отворяй!" И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужачинка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: "Руки вверх, мать вашу так!" Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: "Да что такое?" А мужичишка свое: вверх да вверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк:

— Да договаривай же, — сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: "Да что вам надо-то?" — "Ветчину подавай! Где ключи у тебя?" — "Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят..."

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, господи, мое согрешение, — полусердито, полушутливо отозвался Тихон Ильич. — Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потерябил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, — какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, — твер-

до, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. — И прошу тебя, братуша, — прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Гарао, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего, только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города, — за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее, — и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в вида — сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивал кулаки, — у меня еще не вывернешься, мне еще рано, на печи-то лежать! Черту рога сломлю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, — слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не Могу. Этот новенький типик,

новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается, — это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь, — нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич. — Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма. — Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как "живорез, в холку народу въелся", а ты \_его\_ живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит? — продолжал Кузьма, не слушая. — У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит?

"Чисто кафельная, сволочь!" Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: "Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла..."

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич. — Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хоррши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю, — в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма. Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, отдельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, господь! — воскликнул он фальцетом, — Какой там господь у нас! Какой

господь может быть у Дейишки, у Акимки, у Меншова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой, — строго спросил Тихон Ильич. — У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал, — продолжал Кузьма, не слушая, — много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма. — Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат, — сказал он, и скулы его покраснели. — Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился.

— Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пахут целую тысячу лет, да что я — больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Един-

ственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! "Как люди, так и мы", — только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. — "Как люди, так и мы!" Хлеба ни единая баба не умеет спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

"Он рехнулся!" — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигающим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, — заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, — не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с трестом надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на

него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

"Рехнулся, — думал он безнадежно. — Да туда и дорога. Все равно!"

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружкой со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насильовали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич, — ласково сказал Кузьма, — что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью, — тихо ответил Тихон Ильич. — Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухой? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, — кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди, — будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить, — отозвался Тихон Ильич страдальчески. — Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать всевышнему. И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. — Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, ры-

даю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал: из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая, житие же — сень и соние. Ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищий...

— Царие и нищий! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. — Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, она взяла да и истаскала его наизнанку... Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришел

праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... \_с жизнью-то своей\_. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор: У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя: на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету, — говорила Молодая. — А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то нельзя, — певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, потрянув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж языком даром трепать, — громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость. — Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил, — ответила Молодая. — Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекмену, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним, Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом потрянули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и

ладным тоном. — Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи, — шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут, — сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай, — усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты, Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Может, бог даст, ничего.

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Одинодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежав-

шая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высока и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

*Как у нас да по садику,  
Зеленом виноградину,  
Ходил, гулял молодец,  
Пригож, бел-белешенен...*

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: "Ты бы хоть немножко-то помог молодым!" То же сказал Кошель: "Дело их молодое, молодым помогать надо". Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугуничка и моток черных ниток.

— Вот, невестушка, — сказал он смущенно, — на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего, — кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном

Ильичом "заместо фаты", и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему "не мед", но помялся, вздохнул и, поставив чугушки на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугушник положил, — про-  
бормотал он.

— Спасибо, батюшка, — еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: "Как у нас да по садику..."

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай, — сказал Кузьма. — Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно, — негромко ответила Молодая. — Уж и так сраму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупчатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох, — сказал Кузьма, — измучили вы меня! "Срам, расход"... Да ай ты дешевле сви-  
ньи?

— Дешевле не дешевле, — мертвых с пого-  
ста не носят, — просто и твердо ответила Мо-  
лодая и, вздохнув, аккуратно сложила выгла-  
женную, теплую гардину. — Обедать-то сей-  
час будете?

Лицо ее стало спокойно. "Ну, шабаш, — тут  
пива не сварить!" — подумал Кузьма и ска-  
зал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Тем-  
нело. В людской, он знал, уже спекли ржаную  
витушку — "ряженный пирог". Готовились ва-  
рить два чугуна студня, чугуны лапши, чугуны  
щей, чугуны каши — все с убоиной. И Серый  
хлопотал на снежном бугре между амбарами  
и сараем. На бугре, в синеватых сумерках,  
оранжевым пламенем пылала солома, кото-  
рой завалили убитую свинью. Вокруг пламе-  
ни, поджидая добычи, сидели овчарки, и бе-  
лые морды их, груди были шелковисто-розо-  
вые. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял  
костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна

он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень, — тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребке, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменяв пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Былолюдно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон, — они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма,

сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шالях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полшубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

*Как у нас при вечеру-вечеру,  
При последнем конце вечера,  
При Авдотьином девишнику...*

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: "Годный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?" Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

*Растопися, банюшка,  
Ты ударь, звонкий колокол!*

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голениям, сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий, — Будя, девки! — крикнул кто-то. Но девки не слушали:

*Ты ударь, звонкий колокол,  
Разбуди мово батюшку...*

И невеста со стоном стала падать лицом на

свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружно, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется, Положь по рублю на каждом углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — во-

шла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонилась в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал! "Сейчас брошу образ на пол..." Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ,

шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом различал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням Опасливо, мелкими шажками, церемонно приговари-

вая: "Батюшки, свету божьего не видно!.." На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шалями, подшальниками. Она так Ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом. И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господи бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонившегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях натаскали много снега, — в Спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной мольбой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

"Боже пречистый и всея твари содетелью... — говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос, — Иже раба твоего Авраама благословивши и разверзши ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавши... Иакова

Рахили сочетавши... подаждь рабом твоим сим..."

— Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ; "Денис, Авдотья..." — продолжал с чувством:

"Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... снадоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни дома их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские..."

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга, в, сумерках была еще страшнее. И

домой гнали лошадей особенно быстро, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

*У голубя, у сизого  
Золотая голова!*

*Москва. 1909–1910*

# Суходол

## I

**В** Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луневае, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выйдя, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запорол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужаста!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой. — Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали стран-

ные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью, — истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда, — говорила Наталья, — когда было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ "во всей вселенной не было", но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепи-

ано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку, на хутор Сошки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с, — сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за

столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, ^источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка, — скромно говорила она. — Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого ли-

шил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Лунево:

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская, — душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что

воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращурь. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями,

прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отравы для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели, — где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас, — тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик

вать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их были лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к

избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

## II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжело свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади, шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хвостом пегую комолую корову. При нашем

приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, ввязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной

юбке и в серой рубаше с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на устало-грустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником... Запахло самоваром, посыпались распросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой об-

раз святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на со- лее в древнем соборе Смоленска. Мы слыша- ли: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы Божьей Матери Одигитрии Путеводи- тельницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого челове- ка, держащего в одной руке мертвенно-сине- ватую голову в шлеме, а в другой икону Путе- водительницы, — на этот, как говорили, за- ветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовший- ся в огне, толсто окованный серебром и хра- нивший на оборотной стороне своей родо- словную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные за- движки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, умень- шенному двойнику того самого, где Хрущевы

садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную, — туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйста-с, — окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница

всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнувшись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— *Ou etes-vous, mes enfants?* — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

### III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было прыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зерка-

ло, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шالях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегающий по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами за болтливыми галками,

обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, — и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые тусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили они далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце

далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Исусе сладчайший, помилуй мя, — шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звонящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересильная дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте

лезших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филлин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, — и вдруг выпускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошинным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на

крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставляли Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, — и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья пострацать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особенно после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?

— Этого у нас и в заведенье не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапез-

ную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямоотой и тщательностью; но порою запинаясь, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмеивается:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. "Пел на грех, на беду соловей во саду..." А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково спросила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомяну-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— "Как на грех, на беду..." То бишь: "Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночьку тем-

ную..."

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю? И

Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнить же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них, — крикнула я, да и замертво! А пришедчи в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетька была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их да-

же к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордились, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед, — энтого и следовало! — а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи, — он хорош был, Войткевич-то? Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен, — не веселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Ната-

лья долгое, долгое повествование...

## IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в поговорку: "В старину везде леса были..." Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он

на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья. — И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделялись с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалась...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворе, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, — сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немно-

го похожий на тетю Тоню, — в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали, куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое, — бормотал он, когда захватывали его. — Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хотите — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод, и сам мастерил себе тюрю — неумело толлок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбрелись по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спаль-

ни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: "Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!" — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше, — минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, — а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, — "уж не Петенька ли из полка в побывку", — или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись, — рассказывала Наталья. — Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом — год. Дворни девать было некуда... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж

Петр Кириллыч не приступайся к нам, — особенно к Герваське. "Лакеи! Лакеи! Вы спите?" А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: "А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?" — "Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?" — "Домовому, сударь: спросонья..." Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину собирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, — боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы, — сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу уз-

ких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи, — когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: "Идите и больше не вернитесь!" — когда слышалось в классной: "Maitre corbeau sur un arbre perché"[5] и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится, — волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в друж-

бе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. "Что ж, — говорит раз барчуку, — ты подрастете, будете меня пороть?" — «Буду». — "Ан нет". — "Как так?" — "А так..." И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом ко-согоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. "Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я..." Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка Царица Небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказались...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяйева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто

кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, — обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, — и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары, — по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Установив, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: "Что ж, я своих господ не обиждаю..." Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума

сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с, — говорила Наталья, — в доме только почивают. А не почивают, — значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Среднюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: "Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, *"Закатилось солнце красное за лес..."*". А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: "Поцелуйте перва ручку у меня". Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места,

бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней делается, насупится, как разбойник какой. "Встать, негодяй!" Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. "Проси прощенья". — "Виноват, сударь". А барчук задвохнутся — и уж не знают, что дальше сказать. "То-то "сударь"! — кричат. — Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтись, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?"

— Диковинное дело! — говорила Наталья. — Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, — а надо мной — барышня. Барчук, — а, по правде-то сказать, и сами дедушка, — в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась посля своей провинности...

## V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того, как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвра-

тилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетька Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временами молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что "просто стало веселее жить".

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень неясным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез

смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий, — сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле, — помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь, — сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. — У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, вместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. — Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фора! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. — Ты и представить себе не можешь,

как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают, — возразил он, насупясь. — А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: "Сию минуту выйди вон!" А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, который долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доньне, хотя уже дав-

но перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его, — как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, — что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приходом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где,

вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, — за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую

тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную переключку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: "Шу-у!.." Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою

жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, — конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразила ее только скукой, сухью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ни-

чего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что изда- лека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили ло- шадь, возле пустых под вечер «обжорных» на- весов, — пылью, дегтем, гниющим сеном, кло- ки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «погля- дывать» и, в случае чего, кричать на всю пло- щадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сво- дила глаз с купола тогда только что построен- ного собора, огромной серебряной звездой го- ревшего где-то далеко за домами, — сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повесе- левший Евсей и не стал, с калачом под мыш- кой, снова заводить лошадь в оглобли.

— Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! — оживленно бормотал он, обра- щаясь не то к лошади, не то к Наташке. Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и на-

зад гнать не стану, — мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. — Разинул хайло: "Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то..." А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонебому. — "Смотри!" — А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перекрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хутора — только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бег-

стве. Она, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки везут к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались, — нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка, — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... "Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, — не то думала, не то чувствовала Наташка, — повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!" Но Евсей погонял. Звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым беложестя-

ным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

"У ней — свой, а у меня — свой", — не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь кра-

пивы и остро пахнувших, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, — того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... "И зачем поехал тут Евсей, — думала она, — как решился он греметь тут телегой?"

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косягам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегаю-

щая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе, — только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарил ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошно-

ты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, — только головой покачивал, — и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И душе этой было "так хорошо, ровно в царстве небесном"...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

## VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле,

был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно-толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офи-

цера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзой. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув две-

ри, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, — и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай, — топтался от волнения, завидя же входящего, кидался ему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево, к Ольге Кирилловне. "Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень" — что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки,

глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: "Ты мертвецу святыней слова обручена..." Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, — поднести, например, ей цветок, — и Войткевич внезапно уехал. Когда он уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрерывный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибежал дедушка. Тогда Тонечка начинала топтать ногами, кричать: "Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!" — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми, — бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, хлопнув дверь и крепко ухватясь за скобку, — пойми, змея, что могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка. —

Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косо́й ряд, но остричься под польку не пожелал - подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: "Рот до ушей, хоть завязочки пришей". Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покаш-

ливания, многие думали: "А скоро ты, борзой, издохнешь!" Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господ. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: "Положительно скотина ты, брат!" — на что и ответ получил очень краткий: "Терпеть его не могу я, сударь!" А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтоб его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь, — сказал он безразлично, играя черными глазами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он. — Выйди вон!

Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: "Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!"

— Смотри не напейся, — рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил, — как равному кинул ему Герваська. — Не антсресно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услышал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь зал закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку

помощи! Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, — крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не

уезжайте на вечер. Как дело на вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспрерывно помру вечером, — попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: "ради него" много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

"Да, да, — волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед

аналоем, перед зажженными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия. — Да, да, смерть грешнику люта... Да не зайдет солнце в гневем нашем!"

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки Псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила,

на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська — без казакина, заспанный, "злой, как черт", как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:  
— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той же нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, заместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! — перебил Герваська. — Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он. — Это ты должен уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами, — и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с

еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

## VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добре ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на преж-

нюю: из стриженной девчонки, круглолицой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя Богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое, — сказала она. — Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиستا, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал, — спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было, — повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У Бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли мо-

лодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня, — маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня, — барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а

выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она. — Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: "Ничего-с не видала", — барышня кричала иногда: "Ну, полги что-нибудь!" Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое уме-

нье: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал ей много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее "как света белого": барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с, — шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными

ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколодная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натывавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж, — сказала она задумчиво. — И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придавала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку — и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце, — а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле, Барсук, только головой мотал и

вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: "Круть, верть, метелиця..." Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретеная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие под ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы, — он только усы носил, — тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких мор-

щинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко, — тяжелы были его сапоги, — в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни сидины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольны прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямою и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегал удлинненные бедра и

голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Нечаева, о том,

*Як зійшла зоря вечірова,  
Та над Почаевом стала,*

как сама Божья Матерь святой монастырь «рятувала», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными,

дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с еканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

*В кінці греблі шумлять верби,  
Що я посадила, —*

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

*Нема мого  
Миленького,  
Що я полюбила...*

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, рев-

ность, страшные и милые сны, часто сновившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгучая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него*, любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко вскинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать, — вплоть до того, как он насмерть «толкнул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай довеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не го-

дишься... Образуешься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на Господа Бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

— Думай не думай — по-нашему не будет, — говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль. — У Господа Бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле, — трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечер-

нее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косяке безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со включенными ветром рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. "Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе. — Ай пожар?" — "До шпенту все слетит сейчас! — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик. — Туча идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!" — А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. "Я твой жених!" — крикнул он человеческим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей по-

стели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Иисусе, — скороговоркой шептала она. — Матушка Царица Небесная! Угодники божий!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась, — недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят сухоходольны играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

## VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидела

она запыленную, растрепанную суходолвскую телегу, увидела рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидела знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом, — мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо-опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с боль-

шой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давайся, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, — с прямо вытянутыми ногами, — с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что "нечего в гроб положить", без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, — вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не калянсья: видно, уж придется подгузники скидывать! Не минуешь!

А как забилось сердце, когда увидала она

выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном, — и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по

гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось, — все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее кося. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, — барышня Тонечка. Непонят-

но было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидела роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидание стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чув-

ства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком, — уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня "почесть

совсем как живая", хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темнеет... пора, — говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в

сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, — даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, — на случай зова, приказаний Клима, — мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба Божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску, — кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери

растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, тоска, во темные леса, — там твои мяста! На море, на окияне, — бормотал он глухой зловецей скороговоркой, — на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучница, на ей серая руница...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного первобытно-грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимым недугом, — тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, Бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с но-

вым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здоровье, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на

волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стучался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. — Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче божий Дроние, моли Бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза оставались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косоного младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубашке и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь. — Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

— О Святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

— Угодниче божий! Моли Бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмирится огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечи... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — "явление природы". Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы

подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, "провиненый монах", как он называл себя.

## IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности». — "Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож, — говорил он. — Что ж мне работать!"

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему "непристойно и скучно". Вот он и пошел в Киевскую лавру, "подрос там" — и был изгнан "за провинность". Тогда, сообразив, что при-

кидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, — старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет, — он никогда не пьянел, — издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно, — рассказывал он мужикам, подмигивая, — известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка. — Набалован, брат! Яровитя пуще козла лаврского. Девки эти самые, — мне бабы и даром не надобны! — боятся меня

до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам — хоть куда: перушком не хорош, зато косточкой строен!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: "Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сарцу..." Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек, — ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. — Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямо-той барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не

страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: "Влюбился я в тебя, девка!" — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: "Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу". Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *неминуемое*, что близко осуществление страшного сна ее, — в Сошках, про козла, — что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она во-

пила: "Змий эдемский, иерусалимский душил мя!" А кто же этот змий, как не черт, не тот самый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминуемом часе/сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжелой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминуемое свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Надеящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, — и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками блед-

но-зеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне... — зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями. — Там лежит сучница, серая руница...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей, — и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворово-

му Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, — от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах, — рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все, — расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уже нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготавливалась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастьи, — ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам Бог отметил их с барышней губительным перстом сво-

им — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвращаясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем.

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворе и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придиричивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоящей необходимости поправить как-ни-

будь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей, — собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович ехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ков-

ром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, — будто бы головой к ней, — спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, — крикнул: "Пошел!" — и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда, — забормотал он глухо, странно, как во сне, — барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копы-

том... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико-радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

## Х

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полусшепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не

оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад, — дедовский сундук с выдвигаемыми ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него годами медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольны среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, "жидки на расправу" были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают

холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и словом, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и "мужами именитыми", ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как

признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам вообразить даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распаханно и засеяно, как распаханна, засеяна была земля на местах многих других усадеб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича, — ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы

Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела

кричали у самого балкона. Да что лето! "Летом нам рай!" — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни, — единственной жилой горницы, — жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетья в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетья Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы,

ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой, — если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не проберешься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и

ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

*Васильевское. 1911*

# Хорошая жизнь

**М**оя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижимым имуществом владаю, — старичок-то мой прямо после свадьбы дом под меня подписал, — и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

— Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоят они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать побирушки. Мы и переехали от них в другое се-

ло, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барыни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокойе. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг — скандал ужасный. Напились мы чаю утром — праздник был, — я и стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церквы идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветренный, я и загляделась, и не вижу, как подходят ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой — простой мужик, его работник. Подходит к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

— А где, — говорит, — твой отец?

— Они, — говорю, — по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

— Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

— Как, — говорю, — караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы, — говорю, — смее-тесь? Вы, — говорю, — бумагу нам должны предъявить.

— Не разговаривать, — кричит. — Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю, — того гляди в морду заедет.

Увидал эту историю батенька, бежит к нам, — он у нас ужасный горячий был, — подбегает и спрашивает:

— Что за шум такой? Что вы, батюшка на

нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, — говорит, — духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услышал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе — раз! Тот было — на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

— Не подходите, за ради бога, ваше священство! Вы — кричит, — черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась

я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не проживешь, надо, видно, с оглядкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу, — деться мне некуда, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник, — он и посватался. Не сказать, чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной ни копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать — разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дразги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня господь, прибрал его. Дети от него

помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, — все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить, — сам стал чай пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак... Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра, — мы с ней квартиру-то снимали, — и говорит:

— Твой Костя нынче целый день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, все в рот тащут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула ложок, а он уж томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, — чем вы, говорит, его кормили?

— Ел, мол, кашу манную, только и всего.

— А ничем не играл?

— Так точно, играл, — говорит сестра. — Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

— Ну, — говорит фельшер, — обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, — говорит, — отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, — видно, против бога не пойдешь. Так и похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один — господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартиру снимали, тридцать рублей помесечно платили. Сами в верхнем этаже, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит... Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая

и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда...» Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу, — господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ино пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, больная, старе его годов на десять. Он не хорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сижую-мотаю, —

всячески, значит, разжигая его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Всходит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже — не успел по двору пройтись, запылится весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы, — говорю, — делаете! Барыня идет, уйдите за ради Христа!

— Если, — говорит, — полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посулы!

— С места не сойти, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила! Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол, — как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке белой, вроде корзиночка, — постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла я с этого места и опять думаю: пропадет задаром мой

ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня бог. Запрягусь, думаю, сизнова и уж жива не буду, а добьюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в учение к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать, чтоб большое: хозяин Матвей Иванович, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин был человек серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь про-

сто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с калошами, — глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все что-й-то строила, барышню какую-то, — ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, — хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! — ну, а я-то поумнее была. Я. бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный — так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась, — затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, — а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшему-то уж годов двадцать сровнялось, как я на место заступила, а меньшему четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я

и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как подживет, доктор и разрежет, все долой снимет, — руки-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а полозил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам — так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здорово занимался, умная был голова! А уж как на гармонье играл — где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпевает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.

Старший брат был здоровый, а тоже вроде дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в ученье во всякие училища — везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, залетя куда-нибудь — и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду, — как хозяйева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет, пролезет в окно в одних чулках — и ни стуку, ни хрупы. На другой день встал, — как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову — его дело... А тут и от меньшого, от Никанор Матвеича, пошел доход.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы беспрерывно обеспечить себя, так и укрепились в этой жизни. Каждую копейку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую — да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяйевам ска-

зала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую-нибудь безделицу — осталась одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки — все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня господь сынком! Иной раз из головы не идет, я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал, — да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в таком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, походя!» Стала замечать — похоже, влюбился в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехо-

роший, конопатый, зеленоглазый — избави бог. Лицо широкое, а худощий, как кость. Сперва-то он, видно, то в голову себе забрал, что понравиться может, — зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливаается, — заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит, — притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу — ползет с новой немецкой гармоньей по двору, — опять подбрился, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел, в три пуговицы, — голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал — и-и залился под польку:

*Пойдем, пойдем поскорее  
С тобой польку танцевать,  
В танцах я могу смелее  
Про любовь свою сказать...*

А я, будто и не заметила, — как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице, обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел

и говорит этак скромно, с дрожью:

— Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя.

И только всего... Правда, смиренный был.

Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе — либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно от всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые.)

— Ты, — говорит, — посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня лежало с процентами сотни четыре. Значит, думаю себе, пора мне понемножку вылезать из

хомута. А все жалко было — хотелось еще годок-другой погодить, еще покопить маленько, главная же вещь — проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал; понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет, да и подумаю: прости, господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шепотком:

— Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:

— Насть, что ты такая грустная сделалась?

— Так, мол, — мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и на руку щекой обопрюсь.

— Да в чем, — говорит, — дело-то?

— Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему, — дело, как сейчас помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда, — я пошла к нему с работой в руках, — шила себе что-й-то, — села возле постели и только хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговорил сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крестнакрест сложил и смотрит искоса. Рукава широкие, шаровары того шире ножки, ручки — как спички, голова тяжелая, большая а сам маленький, — даже смотреть нехорошо. Глянешь — думается, мальчик, а лицо старое, хоть и моложавое будто — от бритья-то, — и

усы густые. (Он почесть каждый божий день брился, так, бывало, и пробивает борода, все руки конопатые и то все в волосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

— Насть!

Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никанор Матвеич?

А у самой так сердце и подкатилось.

— Ты знаешь, где моя копилка лежит?

— Нет, — говорю, — я этого, Никанор Матвеич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

— Встань, отодвинь нижний ящик в гардеробе, возьми старую гармонью, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

— Да зачем она вам?

— Так. Хочу деньги посчитать.

Я слазила в ящик, крышку на гармонье открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погромел, положил подле, — чистый, ей-богу, ребенок! — и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

— Я, Насть, нынче сон один счастливый видел, даже до-свету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.

— Да вы, мол, Никанор Матвеич, и всегда чисто ходите. А сама даже не понимаю, что говорю, до того разволновалась.

— Ну, — говорит, — ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду, — ты даже представить себе не можешь!

Мне даже жалко его стало.

— Над этим, — говорю, — грех смеяться, Никанор Матвеич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может, — говорю, — господь даст, поздоровете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон видели?

Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться, — какой я, мол, житель! — стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать, — скажи ты, говорит, за-ради бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи нету, надоела она мне, лежу ни кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обрат-

но, — а сам все деньгами погромыхивает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю, — чисто помешанные какие, несем, что попало, и с Дону и с моря, — наконец того, не вытерпела, — ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! — и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нет, — говорю, — вы лучше скажите, какой сон вы видели? Про нас что-нибудь?

Хотела, понятно, приятное ему сказать, и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть — и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся, — наконец того, отпирает, высыпает себе на живот, — как сейчас помню, две серии и восемь золотых, — сгреб их в руку и вдруг говорит шепотом:

— Можешь ты меня один раз поцеловать?

У меня руки, ноги и отнялись от страху, он-то с ума сходит, шепчет, тянется:

— Настечка, только раз! Бог свидетель тебе, — никогда больше не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и поцеловала его. Так он даже задохнул-

ся весь, — ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту небось не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне — и к стенке:

— Иди, — говорит.

Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка...

Ну, хорошо, — это дело, значит, слава богу, вышло, начинаю другое обдeldывать, поглавнее, из-за какого я и билась пуще всего. Чую — быть скандалу, боюсь, не будут меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится по-прежнему, аккуратно, будто ничего и не было промеж нас, даже думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор, — мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, ослободиться на время. Хозяева и слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит

этак с усмешечкой:

— Ты, — говорит, — не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бесовственные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлагать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку — я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же, — полштоф под кроватью так и дежурил, — и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяевам:

— Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть приходиться когда к празднику, к именинам:

— Обязательно, — говорит, — чтоб ты приходила все прибрать, приготовить. Я, — говорит, — только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три сумы, накланялась в пояс — и пошла. И сейчас же, господи благослови, за дело. Купила этот дом, открыла кабак. Торговля пошла ужасно хорошая, — стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе, — я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной, — я к нему, взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права — и затрговала. А тут как раз и Ваня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол, его устроить.

— Да куда, — говорят, — его устраивать, у

тебя и дома работы девать некуды.

И то правда. Сажая Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь, — Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:

— Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспрерменно велел проведать его.

Тут меня даже в жар бросило от стыда! Какое, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

— Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно и в сводни лезть. Слышала ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья пухлыми глазами, да только кочаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

— Эх ты, — говорит, — бесчувственная! Он, — говорит, — даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.

— Что ж, — говорю, — и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавись. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.

Две горницы в доме я под квартиру сдала, одну наш постовой городской снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Холин, она у него на содержание была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них расстройство какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя — восемь рублей задолжала.

— Надо, — говорю, — барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

— Я, — говорит, — постараюсь.

— Да вот, мол, что-й-то не видно вашего старанья. Вместо того, чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

— Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

— А-ах, — говорю, — скажите, пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого.

Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

— Ну, нет, — говорю, — перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору, что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

— Я, — говорит, — хорош собою.

— Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю, — прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, пошлышу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

— Да вам-то, — говорят, — что за дело? Может, я на ней жениться хочу.

— Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, — говорю, — давно вижу, только не бывать тому во веки веков.

— Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.

— Любовь хорошая, — говорю, — от поганки всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, — говорю, — дурная, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело — врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни мога, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить

надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером — домой. Подбегаю, толк в дверь — так и есть: заперто. Стучу — молчат. Я в другой, в третий — опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Начала я в окна колотить — альни стекла зудят. Вдруг задвижка — стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы — и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, — все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели со страху. (Думала, бить кинусь.) А я и говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:

— Что-й-то у вас, — говорю, — ай стовор? Ай именинник кто? Что же не привечаете, не угощаете?

Молчат.

— Что ж, — говорю, — молчите? Что ж мол-

чишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было шерсть взбудоражил:

— Я сам в лета взошел!

— Та-ак, — говорю, — а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами молодцы были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услышавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замок. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:

— Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!

(С волчьим билетом, значит.)

— Хотите вы, говорит, этого, ай нет? — Нынче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она — в слезы. А я еще поддала:

— Пусть, — говорю, — денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже притих было на время. Вышел на утро из-под замка — и ни гугу: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, — да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку посылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок — платок, мыло — мыло, — что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того, и совсем лавку забросил: дома и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддев-

ку — и марш. Я мечусь как угорелая — из кабака в лавку, из лавки в кабак — и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, — весь в меня, — лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие... А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнуться стал — и все молчит, в переносицу себе смотрит.

— Вы меня не тревожьте теперь, — говорит, — я могу каторжных дел натворить.

А захмелеет, расслюнявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Раз-знаю поскорее от верных людей об его жизни — беды, вижу, никакой: надо решиться, надо поскорее знакомство завести, — нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, — надо, значит, предлог найти, побы-

вать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иванович, лавочник». — «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, — ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно, бережной, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, но не отдал. Ну, я прямо залюбовалась па эту лошадь — до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит и все рассказывает, как прејскурант какой читает: вот туг-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала —

одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую, — мол, таки добилась своего, нашла свою партию! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ай, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николаем Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, — небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! Ну вот, мол, тебе, — грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стенку над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполз с кровати. Штука не хитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-чего — вдруг кто-й-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог — Полканиха. — Ты что?

— Никанор Матвеич приказал долго жить!

Крикнули, повернулась — и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, — меня прямо как варом обварило со страху, — накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается — и я бегу... Прямо срам на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настезь, кто хочет, тот и лезет, — всем, понятно, любопытно. Я было, сдурю-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула — да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, — да хоть та же Полканиха со зла, — вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, — и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном пи духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай.

Ну, похоронили его — у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку — вдруг опять беда-горе. И так с ног

сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, — жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особенно у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, — вдруг еще новость — Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, — лютая псовка была, небось сама же, остроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча, — передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладает — дела будто есть — и об сыну, об Ване, наказывает; чтобы, значит, я об нем лучше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие блага не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас вчистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и сама-то с ним на нет

сошла с самых этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует, — ночь за день сходит... Что я тут горя вытерпела — сказать невозможно! До того добил — стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемнеет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала...

Ну, получивши такое решенье от Николай Иваныча призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ослабил. Привык ты нежиться и блаженствовать, — наконец того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажить себе не можешь. Я вот и почету добилась и недвижимое имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот,

так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть...

Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.

— Что ж ты, — спрашиваю, — молчишь? Ты клеенку-то не дери, — наживи прежде свою, — ты отвечай мне.

Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

— Вы, — говорит, — замуж выходите?

— Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:

— Да вы ногтя ее не стойте!

Хорошо, ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью хлопнул — и был таков. А я, уж на что не плаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой, — как подумаю, какие слова он мог мне сказать, так и зальюсь. Плачу и одно в уме держу — до веку не прощу ему такой обиды, со двора долой стоню... А его все нету. Слышу — у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денеж-

ки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает, — на смех мне, понятно, — в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке — вдруг сам входит. Пьян — лица нету. Вносит селедки, — утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки, — и как шваркнет их на прилавок.

— Можете вы, — кричит, — присылать такую скверность покупателям? Они вонючие, их собакам только есть.

Орет, ноздри раздувает — предлог ищет.

— Ты, — говорю, — тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а бочонками покупаю. Не нравится — не жри, вот тебе твои деньги.

— А если бы я их съел да помер?

— Опять же, — говорю, — ты, свинья, не можешь тут кричать, — какой такой ты мне командир? Авось чин не велик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он схватил вдруг безмен с ларя и этак

ШИПОМ:

— Как жмакну тебя, — говорит, — сейчас по голове, так ты и протянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу — уработали таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли — пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках — хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала — принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила, — прогоню его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Больше-то, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала, —

прямо редкость по нонешнему времени. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая доби- валась, — сказать невозможно! Ну, и награ- дил меня, правда, господь, — вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю — он меня в оби- ду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет, да и заночует сердце. Особли- во великим постом. Умерла бы теперь, дума- ется, — хорошо, покойно, по всем церквям акафисты читают... Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни ду- ху об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том. Мне даже жалко его стало, как привез- ли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать — целый день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание, — жив ли, мол... А в горнице — вонь, кислотой какой-то, ле- жит он весь ободранный, изгвазданный, хра- пит и захлебывается... Страм и жалость смот- реть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, по- гляжу, послушаю и — выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только, — вся дрожу-лежу... А ночь светлая,

видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

— Что это ты, — спрашиваю, — ходишь?

— Живот, — говорит, — болит.

По голосу слышу — тревожится, тоскует.

— Ты, — говорю, — выпой чернобыльнику.

Полежала еще и задремала немножко, чувствую сквозь сон — прокрадается кто-й-то по половику. Вскочила — он.

— Мамаша, — говорит, — не пугайтесь меня за ради Христа...

И как зальется в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается, — так плачет-рыдает. Я не стерпела — и себе! Жалко, понятно, а делать нечего — из-за чего вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

— Простить я тебя, — говорю, — могу, а поделать, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я и не слыхала про тебя!

— Мамаша, — говорит, — на что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не

стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след проспал. Ушел, значит, пораньше от страму — и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там небось и голову сломил... Да что об этом толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будет...

А что он про Никанор Матвеича сказал, так я даже глупо это считаю. Авось не великими деньгами покорыстовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

— И калеккой меня, Настя, судьба моя сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чего-й-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особливо летом, в жару, в пыль эту, — просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском кладбище — цельный век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!

— Да что ж, мол, Никанор Матвеич, об этом убиваться? Мы этого чують не будем.

— Да это, — говорит, — что ж, что чують не

будем, беда та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль. И руки-то им наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в Туле: какое же сравнение!

*Капри. XI.1911*

# Ночной разговор

## I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже поосеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали, — был праздник, Успенье, — и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел ши-

рокий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада — и все почувствовали, что спать еще не хочется, — выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с

нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, — возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» — дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

— Совсем отбился от дому! — с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. — Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! — улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добратсья до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от

видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сторел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, — весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразова-

нии были уже забыты, было принято новое решение — изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, — от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, — возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только до-

валился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, предававшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская

трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился — над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над Богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин», — сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатались со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретёнкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался, — даже и к Ивану, издевавшемуся над ним, — у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их го-

товой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ, — если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

— Ай, барчук, донимают? — спросил он. — Чистая беда эти блохи, хомут! — сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

— Мочи нет, — отозвался гимназист. — Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, как жись, жилиять, как не их.

— Главная вещь, порток на них не полагается, — равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, спрашивали Пашку о его супруже-

ской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал — как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать сигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

— Ой, спалишь ты, малый, гумно! — сказал он.

— А я на барчука солгусь, — отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся. — Он сам постоянно курит. Чудная ночь, барчук, сегодня, — сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту. — К этой ночи что недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

— Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

— Половина одиннадцатого, — сказал он, горбясь.

— Ну вот, так я и знал, — весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках. — В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки — и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

## II

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что говорили, лежал и думал свое — о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета ка-

завшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова, — только чахоточно покашливал и поплеывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

— Что брешешь пустое, — равнодушно сказал старик, услыхав хвастливое заявление Пашки. — Какого такого человека мог ты убить? Где?

— Глаза лопни, не брешу! — горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику. — Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и

то было.

— Да где убил-то?

— Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял, — наш же, елецкий, — эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

— Кого его? — спросил гимназист.

— Да арестанта, грузинта этого.

— Стой, — перебил старик, — ты толком расскажи. Где вы стояли?

— Опять двадцать пять! — притворно-досадливо сказал Пашка. — Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках...

— Знаю, — сказал старик. — И мы там стояли восемнадцать дён.

— Ну, вот видишь, — значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не восемнадцать дён, а цельный год семь месяцев стояли, а арестантов этих обязаны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были

прямо что ни на есть самые главные преступники, бунтовщики, и, значит, всех их, десять человек, в горах поймали и к нам представили...

— Стой, — перебил гимназист, — а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

— А я и отцу родному не спущу, когда надо, — ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику. — Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него цельный год в арестанских ротах пробить, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай, — сказал он, делая вид, что говорит только со стариком. — Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, до ветру все просится. Еле кандалами брянчит. Наконец того подходит к старшому: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и доз-

волили, как путному. Только приходим в Зухдены. А ночь — хоть глаз выколи и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у каждого, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окнах пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

— Обязательно, — сказал старик. — Он должен по закону все в исправности принять.

— Про то и толк, — подтвердил Пашка, опять торопливо пряча зажженный серник в руки, сложенные ковшиком. — Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой, — продолжал он, давя спичку и пуская в ноздри дым, — пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу, — спать мочи нет как хочется, — а грузинт этот как вскочит вдруг да за угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандалный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то рукой, — Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы, — да и дёру! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и — за

ним: Козлов тоже за угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все норовлю поймать, где звук, где то есть кандалы его звенят, — дуром-то, думаю, и стрелять нечего, — слышал наконец того, — раз! Чую — мимо. Я в другой — опять, слышу, мимо. А Козлов лупит по чем ни попало, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! — приложился, ударил: слава тебе, господи, сорвался, слышу, звук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в это место, бегу, а он и вот он: на земли на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говорит, скорей, рус, ударь меня в это место штыком», — в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье — раз ему в самую душу... аж в спину выскочило!

— Ловко! — сказал старик. — Дай-ка затянуться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окурочек.

— А Козлов, — ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой, — а Козлов бежит и не судом кричит: «Ай угомонил?» — «Угомонил, говорю, давай тушку тащить...»

Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал, — сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

— И по рублю, говоришь, наградил вас?

— Верное слово, — ответил Пашка, — прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окурок.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

— А дураков, видно, и в солдатах много.

— Это как же так? — спросил Пашка.

— А так, — сказал Иван. — Ты что должен был делать? Ты должен был не волочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем стать при мертвом телу. Теперь расчухал ай нет?

### III

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «Да-а... ловко...» — еще проще.

— А вот я, — начал он медлительно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста, — а вот я совсем задаром

согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать, из-за ничтожности: из-за козе своей.

— Как из-за козе? — в один голос перебили старик и Пашка.

— Ей-богу, правда, — ответил Федот. — Да вы вот послушайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приготавливаясь слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

— Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, ненароком... Он же меня первый избил... А потом пошла свара, суд... Он пьяный пришел, а я выскочил сгоряча, вдарил брусом... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих коз, не мужицкое это дело, и обращенья с ними мы не можем понимать, а тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать, — и так все смеялись, отговаривали, — да прямо нужда заставила. Угодий у нас нету, простору и лесов никаких... Прогону своего у

нас спокон веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по парам питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего брата, мужичка, за всю эту инструкцию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбыть, три дни на молотьбе... Сосчитать, сколько это будет? — сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

— Избавь господи!

— А козу купить, — продолжал Федот, — ну, от силы семь али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать — бьет их дюже, когда котна, а зачнет починать, злей собаки исделается, зрить их не может. И такая цепкая скотина — это ей на избу залезть, на ракидку, — ничего не стоит. Есть ракидка, так она ее беспременно обдерет, всю шкурку с ней спустит — это самая ее удовольствие!

— Ты же хотел рассказать, как человека убил, — с трудом выговорил гимназист, все

глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка — убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

— Да а я-то про что ж? — ответил Федот грубовато и заговорил немного живее. — Ты не можешь этого дела понимать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей жить — это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал, — сказал он, обращаясь к старику. — Девять с полтиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли каждый день скандалы. Взял, говорю, пустое, восемь за козу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещь, ребятам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру — глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать. «Где ж, говорит, полтинник? проглотил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Сло-

во за слово... Такой скандал пошел, не приведи господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

— Это своя допущенье, — деловито вставил Пашка. — Их не бить, добра не видать.

— Понятная дело, — сказал Федот. — Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удои оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, брухаться приучают... Только ворочается вечером стадо — смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесной пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разлетится, разлетится — раз его в кичку! До того его изняла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она — шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел, — как скрозь земь провалилась...

— Ну, правда, — яд коза! — сказал старик.

— Ха! — злорадно ответил Федот. — Да это

еще что, ты послухай, что дальше-то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попанется она волку на зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись наране в лес, кажись, живого места не оставили, все до шпен-ту обьелозили — нигде нету! Затужил я бозна как, однако еду пахать, — как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под межу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет — вдруг, слышу, кричит чтой-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит, держает бородой, хлеб лопаает... Кинул я поскорей соху — к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, она от мене: отбежит, остановится, жует хлеб — и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва — за всем моим движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется пойма-ть, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: обертывается, поглядывает, хвостом трясет, — ну, прямо насмешничает!

— Что и говорить, скотина беспечная! —

сказал старик.

— Про что ж я-то говорю! — воскликнул Федот, поощренный сочувствием. — Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь — смотрю, несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом — и прямо в сенцы. Я со всех ног за ей, зажмал ее в угол, затянул через рога подпояской, зачал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, боле часу драл, верное слово. Посадил потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране — опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

#### IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказыва-

ет о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой покрытый армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми онучами, в больших лаптях ноги. Иван, нагнув на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дела, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

— Спать пора! Завтра домелете!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочувствием к его смешному и горькому положению, совсем перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от ветра, и от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником выре-

зывалась в звездном небе рига, дул ветер по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе и опять стихало... Глубоким сном спали, утонув в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

— Да, братец ты мой, — говорил Федот, — истинно до слез меня довела! Сказывают мне наконец того, — загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жребий мой. Прихожу на деревню, где ни гляну, — никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, спрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной поневе под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

— Ошалела, значит, от старости, — вставил Пашка, так хорошо засмеявшись, что

гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть — это он все наврал на себя!»

— Ошалела, — подтвердил Федот. — Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» — «Что нужно? По делу. Вы мою козу загнали, держите приبلудный скот, а объявление не делаете». — «Никакой, говорит, твоей козе мы не держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чегой-то. Та-ак, думаю, значит, опять моя дело табак. Ну, погоди ж ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стезжку по конопям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходил?» — «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за из-

бой: «Кузьма, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» — «Скорей, говорю, беги, вон мать с крипивой идет». А она и вот она — увидела его, бежит: «Не тебе сказала за малым смотреть? А тебе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! «Ты чей?» — «А тебе, мол, что за дело?» — «Да нет, ты скажи, ты чей?» — «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу». — «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой спокою всему селу не даешь!..» И вижу вдруг — несется ко мне высокий мужик от рыги — без шапки, распяской, в сапогах. Набежал со всех ног: «Твоя коза?» — «Моя». Развернулся — как ахнет мне в ухо!

— Чисто! — в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул: вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:

— Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгрел его за руки, спрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять спрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказыва-

ется, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно, — подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь, — драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками, ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жиляет. «Здравия желаем, мол, дозволейте спросить: у вашей милости моя коза?» — «А вы кто такой?» — «Хозяин этой козе». — «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду дальше, вошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком, — лошади жирные, рьяные. На крыльце лакей с двумя бородами. Выходит барышня взрослая в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша, — кричит в дом горничной, — скажите барину, чтобы шел скорей. Он в манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в

мундире с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пелену, ищет чтой-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет, — воробьями занялся. Он глядит, кричит: «Лови, лови их, сукиных детей», — а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и об землю бьет. Увидал меня: «Ты что?» — «Да вот, говорю, мою козу ваш садовник на землянике прихватил. Дозвольте ее взять, убить». — «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрафую на два цалковых». — «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этом. Такой грех, говорю, — у меня ее завсегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно, — пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись, — катаются, блюют, а жена-то, признаться, тоже недоглядела, в пуньке лежала, на крик кричала — рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее, — смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошку попросить да у огородника ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут

же и пристукнул ее.

— Пристукнул-таки? — спросил старик.

— Обязательно, — сказал Федот. — «Ну, бери, говорит, только смотри с моими не смешай». — «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я, — сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жужжит чтой-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал, — она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в землю да как стреканет по овцам, — так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я наконец того, пока она под самый перемет подошла, — цоп ее за рог! Как закричит она, — даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рва-

нулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши — в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили — и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась — внесла ж ее вихорная сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть — плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился — да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

## V

Помолчали. Федот приподнялся, сел и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через

минуту гимназист с ужасом и отвращением увидал то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распутав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрыв, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубеневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве, — точно натертую черным воском, — и потрянул ею, развеивая по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! — дрожа, подумал гимназист. — Это нога настоящего убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу! Но Пашка! Пашка! Как он мог так весело рассказывать? И с наслаждением: „Аж в спину выскочило!“

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

— Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее

убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмехнулся.

— Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твоей козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. Тоже вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: боятся, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... посмирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на поле, веревками обротали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да освежевали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор, — разлетелся, грохнулся и окошел тут же... кровью весь исшел.

— Как? — сказал гимназист. — Кожу содрали? С живого?

— Нет, с вареного, — пробормотал Иван. —

Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

— Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им — стражники. Мужики с кольями, с косами — на них. Стражники сделали залп, да, понятно, драло... какая там, черт, сила в этих мужланах! — а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и брыкнул. Так, господи ты боже мой! — сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудобней, — чего только не натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребенка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя — и давай барина по голове этим ребен-

ком мертвым охаживать! Сгреб за ножки — и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-собором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Тут неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

— А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... бяда! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зерькала в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все из тины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользнет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем... — Кирюшка приподнялся и, смеясь, облокотился. — Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармоньи играет!

Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал досказывать свою историю:

— Да-а, шмурыгнул меня по уху да еще в

суд на меня подал... за эти, значит, за все про-тери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рослый мужик, красный, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел поуху и на меня же подал! Тут самая рабочая пора подошла, дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его Господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «Покарал его Господь», — он помолчал и продолжал:

— Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, говорит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя утешу». Хочу от скандалу уйтить, — за пельки хватает... Потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерком пушить. А у меня дочь взрослая...

— Неладно! — сочувственно крякнул старик и зевнул.

— Хороша лада! — сказал Федот. — Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темнеет. Слышу — подшел к избе, буянит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он погамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андрюшка бьет!» Я выскочил с брусом от косе, да сгоряча — раз его в голову! А он и на-земь. Подскочили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примочки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая по пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

— Я в пуньке под стражей два дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, смотреть этого убиенца и меня, конечно, в том числе. Лезут под самую пуньку... Вынесли две скамейки на выгон, поставили под самой пунькой, положили на них убиенца. Под голова чурбан подсунули. Резаку и следователю стулья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал — лежит, вижу, труп совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху,

сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где отенок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь — как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная сгущенная кровь, — где, значит, удар-то был. Резак говорит следовательно, а тот пищет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпирать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

— Что делают, разбойники-живорезы! — хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

— Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрущам. Вырубил косяк, стал отдирать — трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю внутренность...

Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка

ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормит темно-желтой, длинной, тощей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами, в кровь источенными несметными избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка, — есть только зипун с боль-

шой прорехой на плече, — у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестевшим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув хвосты.

*Капри. 9-23.XII.1911*

# Веселый двор

## I

**М**ать Егора Минаева, печника из Пажени, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее — окрестили в насмешку веселым...

Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только добрей характером.

— Сосед он хоть куда, — говорили про него, — и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может.

Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косою простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень — черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, перелом-

жить печку, борова почистить — на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло хорошие люди. Да мешала Анисья.

Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку, курить начал по восьмому году, — а глубоко дышал от расширения легких, и когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху ворога бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном голе. Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку,

ноготь этого пальца — на звериный коготь, а указательный и средний пальцы — короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она — суха, узка, темна, как мумия; ветхая по-нева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки, — сем, пересем, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости

была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала, — авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «Довеку не женюсь! Теперь я — вольный казак, а женишься — журись о жене. Да пропади она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку, — кто-то ехал по деревне с колокольчиками, — а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка... Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку, все был доходишко. Но Егор и огород

сдал. Прежде на поденщину принимали ее — к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки, — «старый черт работу отбивает!» — стали наговаривать приказчику, будто все у нее, сослепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сала яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак — горбушку черствого хлеба...

Замуж вышла Анисья рано, — рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона, — тоже печника, вольноотпущенного дворового, — и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется — святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! — говорили соседи, радуясь такой забаве. — И веселый же двор, ей-богу!» Когда

нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калеккой меня сделаешь!»

Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж, были дети, были радости и горести — все как у людей... Двадцать лет тому назад замерз Мирон, — ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны, — и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть

в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый, — на словах только бесстыж и горяч, не то, что отец покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!

Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело, и ни с: того ни с чего, — вот как Мирон за чужим обозом, — уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он без году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее печного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить, свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся, — обогнанный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью, — был какой-то, хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву, — сказал только: «Да аи велика беда?» — и опять исчез.

В мае нанялся он караулить Ланское, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в

пятнадцать. Положили ему отвесное только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватает... И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.

В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решила она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное, хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью — и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться — старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой — мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая, — крупная, с большим бледным лицом и большими серыми глазами навывкат, хорошо и нарядно одетая — в новую корсетку из коричневой сермя-

ги со сборками назад, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее, — та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запомывала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.

— Три недели тому назад схоронили, сударушка, — ласково говорила старушка Ани-сье. — Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал, — мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем, — воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся... «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал — понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилиу назад дошел, ноги подламываются...»

Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери родной все мило, — подумала она и вздохнула от

грустной нежности к сыну. — Пойду, била не была, авось не чужая...» А старушка продолжали, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:

— Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре нынче день хорош, поведите меня, а то тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку — овцу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас...

И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советовать с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она

прокормится, — авось не объест, много ль ей и надо-то...

Старушка сказала:

— Да ведь как сказать? — не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послышишь кругом, — правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные... Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад — иди.

— Он не может не кормить матери, — прибавила молодая.

И Анисья повеселела.

— Ну, ин, пойду, — сказала она нерешительно. — Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет, — не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть... А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил... Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ко обидится...

Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все

богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора, погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкоровый платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святой боже, святой крепкий...» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши... Ну, да сам же виноват, думала она, — забыл мать, до крайности довел. А бог милостив, он видит нужду, похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется... И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Паженъ. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную толстую, отекающую старуху в ватной кофте и валенках.

— Что ж просишь? — медленно выходя из

избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом — накинула его на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» — гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак — «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах... В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да уходя не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просучив ногами, — жгли их блохи, жилили мухи, — заснула она

крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж обеднялось — и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь... Бог милостив — чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это — счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену... По зеленому выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившие холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу...

Весь май, весь июнь перепали дожди. Хлеба и травы в нынешнем году чудесные. Пугаясь худыми ступнями и поповой по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радо-

валась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевитые стеблем овсы. Клипы цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный, — усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно, — вплоть до станции на горизонте, — сообразила, что дала крюку.

С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она

долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распутив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидела она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой по-неве, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху, — и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели и она постояла, выждала, пока они скрылись...

Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали

по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо — плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймаешь, не удержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то — и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся, множатся мушки... Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потихе надо...» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить...

Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес; над простором серо-зеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами — бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки... Небо загромаждали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался

на них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах... Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурив глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в плисовой безрукавке, в соловой рубашке, в городском картузе, в замшевых рукавицах... Какой-то особый виду этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью... А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Ани-сья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок таран-

таса... Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налил, наелась бы досыта — и не увидал бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце; должно, едет кучер к часовому поезду на станцию, — у людей обеда на дворе...

Она забыла о мельницах — мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы — перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала, — дело привычное слушать эти несуществующие голоса! — думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи, висевшей на плетне, то о своей близкой смерти... «Постыдилась бы, постыдилась бы!» — звонко

кричали бабы. — «Надо сесть», — отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначается? Богом? «Нет, сыном, Егором!» — крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по меже, и во рву под межою — всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» — подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышинным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и — спать... Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убежала в поля зеленая межа. Немало росло

на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло, — холодом облила голову, отняла плечи, заныла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье...

За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!».... тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородицей ворот длинной рубахи, подплека которой чернела от пыли и пота. «А напиться, родной, нечего?» Он, ша-

таясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно», — сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый папкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленова-то-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его — цвета свеклы — напоминали сошники. Но сразу видно — редкой доброты человек... Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка, — и не смогла, не сумела...

Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала глаза с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной опушки, — со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темно-зеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим:

ничего не видишь, кроме неба и бесконечно-го кустарника, когдаходишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чаща. Травы — по пояс; где кусты — не прокосишь. По пояс и цветы. От цветов — белых, синих, розовых, желтых — рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрерывном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько — земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом — полынь, лопухи, крапива, в крапиве — избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, сероусый, с гноящимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в

кровь разъеденными всякой мошкаррой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрежал — каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее — и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она — подходить ли?

— Егорушка! — слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки — и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! — равнодушно сказал его взгляд. — Ну, нам с тобой делить нечего... А Егора нету...» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и пере-

летали с места на место, с былинки на былинку серенькие чеканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян. Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке, — нет ли ключа. Не нашла — и догадалась: отогнула дужку замка, — он, конечно, был не заперт, — и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...

Есть — об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки — и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых кольев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то — не то сына, не то смерти, — сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без

рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, стущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.

«Либо мне мерещится?» — подумала Ани-сья — и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки...

Весь потолок прорастал грибами — часто висели они, тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками, — черными, траурными, коралловыми, — легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поест? Нет, помрешь — и растащут тогда соседушки избу в Пажени по бревнышку... А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает, — и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях

ях руки всю покорность свою богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие... На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал, — скорлупа-то возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками... Анисья откидывала назад голову — и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, проносился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов- бледные на меловато- свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер...

Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: тити-ти-ти-ти-и... Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру... Но, все

понимая, она спала, спала — и умирала, и во-  
ображение ее, чуждое ей, неудержимо работа-  
ло. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку, — надо  
догнать его! И она видела ярмарку. Там го-  
мон, говор, скрип телег, ржание лошадей, на-  
род валит валом — и все пьяный, страшный;  
бьет, гремит оркестрион на каруселях, крутом  
летят на деревянных конях девки в красных  
басках и ребята в канареечных рубашках — и  
от этого тошнит, мутит... Жарко, тяжело, а Ми-  
рон, молодой, веселый, со сдвинутой на заты-  
лок шапкой, продирается к ней через толпу,  
несет целый узел гостинцев: рожков, сусли-  
ков, жамок — и не дает ей допить бутылку  
квасу, только что откупоренную квасником,  
стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «За-  
прягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот ка-  
кой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то  
не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и  
смерть пришла... в поле ветер, тучки, дождь  
мелкий, девки картошки копают, — нет, Ми-  
ронушка, видно, надо лечь поскорей... Как лу-  
натики, шатаюсь, шепча, поднялась Анистья с  
лавки, вытянула из окошка полушубок, свер-  
нула, кинула на лавку, в изголовье... В тазу

ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть... Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором черно зеленели верхи кустарника — на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер...

## II

Егор в детстве, в отрочестве был то ленив,

то жив, то смешлив, то скучен — и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены — насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услышав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрепщину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике — и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.

Он рос, входил в силу, становился мужчиной, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую по-

чему-то называл своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» — то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.

Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготавливаясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о сво-

ей болтовне.

Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор, — проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом, — когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль, — стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весенне-

му, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белозной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то придет нынче к вечеру, не то нет... И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на парах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, потрянул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.

— Свою прежде наживи, — говорила Марья, блестя злыми глазами. — Тогда и давай, когда наживешь. Побирושка, черт!

— Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану, — твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая ноздри. — Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.

— Рот ты мне не смеешь зажимать, — говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.

— Молчи лучше, — отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.

— Не форси, авось тебя не боятся!

— Погоди, девка, побоишься! Авось заступников-то немного!

— Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость...

Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слушать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему...

— Что-й-то Москва-то скоро прискучила! — сказала Марья, напоминая мужу его поездку

в Москву, поездку, столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке. — Что-й-то скоро появился! Видно, вас таких-то не мало там околачивается!

— Ты лучше, сука, за своим делом смотри, — ответил Герасим. — Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиньям, что ль, месила? Так ведь тут не свиньи обжорные!

— За мной гаять нечего, — отозвалась Марья. — Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди.

Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва, — и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А беспрременно удавлюсь я! Ну их всех... куда подале!..» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему сигарку, потянулся к нему с трубкой. Не глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.

— Гашка-то небось чуточку поболе твоего работает! — говорил Герасим, не зная, что сказать.

— Авось и мне за тобой, за чертом, не сладко, — отвечала Марья. — Десять лет ворочаю!

— А-а! Ишь актриса какая!

— Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала...

Егор не дослушал и вышел.

Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип — это уже порядочно надоело. А тут работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвесное идут да идут... Но и дни шли — и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалованье и отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с приятелем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную бес-

порядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерек — было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, черт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес — стал и дневать и ночевать в Гурьеве. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.

Вот и в тот день, когда шла в Ланское Ани-сья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось — и, выйдя из избы, он долго лазил на коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спе-

люю, иногда совсем зеленую, твердую... Потом не спеша пошел в село.

«Главная вещь — хлебушка надо разжиться», — думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.

Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну, да плохи не плохи, авось не первая волку зима!» — говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами, — водяной и ветрянкой, — стоит на реке, тонет и целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах — несметные тысячи. «Такого села, — говорил Егор, — ни в одной Америке не найдешь!» — Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел не долгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги среди зеленой муравы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая

жестью возле церкви — новое кирпичное училище, посредине — мирской хлебный амбар, гамазей, а справа — тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, серы. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.

«Чудеса, — думал Егор, направляясь к ветряку и обсуждая, как всегда, то, что случайно попадет в голову. — Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать, — клад чистый...»

Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за сedom, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк

неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревело и бляело стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами... Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала замотавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал что попало, ждал зачем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали — и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, щипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жестью, глядел на гамазей. Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был темный, снизу светло-рыжий, сухой... Егор невесело усмехнулся и, скользя, разъезжаясь по

грязи лаптями, побрел к избе мельника.

Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это несколько но смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак приветствия, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлах, и сел на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик-мельник гнулся на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просеивавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, головаст, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный, — резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, большие открытые ноздри стали от нюхательного табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющуюся из-под решета, он равнодушно спросил Егора:

— Что, ай соскучился в лесу-то?

— Что ж мне скучать, — не спеша ответил

Егор. — Дело есть в селе...

И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и по пояс залез в темную жаркую глубь печи.

— Нуждишка есть, — глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.

Алена, подсевая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» — подумала она, Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печи, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растравляя себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? — думал он рассеянно. — Да черт с ними, посижу еще маленько... Жрут, жрут, по два раза на неделю хлеба ставят и все не облопаются», — рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печи, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, вроде крышки гроба, росла на столе, то на Алену. Толстые руки ее, засученные по ло-

коть, были запорошены мукою; на пальцах блестели медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отвалясь назад, выставляя свой страшный живот, мерно трясла задом.

— Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? — спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегавшую на лбу белесые от голода и трубки губы.

Алена промолчала. Анютка, ее девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волосами, все лезла, наваливаясь на стол, пальчиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алена вдруг звонко щелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

— Сказала, ня налягай на муку! — крикнула Алена своим грубым однодворческим голосом.

— А вот я ее ножиком сейчас зарежу, — сказал, входя в избу, Салтык, молодой работ-

ник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.

И стал вешать на стену, на деревянный косяк, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздок, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадью травяная пена.

Вид у Салтыка, недавно отбившего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:

«Верно, Аленка и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло растянул!»

Он, сипя, носил грудью, показывая в прореху обитого ворота бурую полосу загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отекшее лицо его. Он был тяжело болен, но чувствовать себя больным давно вошло в при-

вычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алене, когда думал: «Я бы ее шкуру на пяла растянул», — хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев, все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой — тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадетя на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они небось никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да что делать-то, если не сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый черт?

Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледно-зеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плисовый кисет, не спеша свернул и загнал крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломинку, закурил, сел на лавку.

— Подсевай, подсевай, — кинул он Алене, затачиваясь. — Что-й-то пирожка хочется.

— А рожна ня хочется? — спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.

— Их, пироги-то, надо уметь с умом печь, — сказал Салтык, далеко сплевывая. — Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тифлисе служил, так там хозяйкина дочь завсегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты — пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.

— И то правда, — отозвался старик. — Ты, известно, все знаешь: где какие жители, где какие города...

Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал...» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но намерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило в тупик — и перед кем же! — перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбредет Салтык?

— Как же мне не знать! — сказал Салтык. — Да я не то что, я, как осень, беспрерывно опять туда! Там сейчас самая колбня идет, — сказал он, мельком взглянув на Алену и усмехнувшись. — Да ей-богу: веселье, гулянье — каждый божий день, с восьми утра до двух ночи. Особенно в курсовых, и Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках...

— Значит, скучать не имеют права, — вставил старик и достал из кармана полушубка тавлинку.

— Ну, только там с деньгами хорошо, — продолжал Салтык, не слушая старика. — Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не стоит. Там каждый грузин аграмадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках — так и плескается.

— Имеют капитал добывать его, вот и плескается, — сказал Егор. — Авось, и это дело знаем не хуже твоего, — пробормотал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полушубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.

Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.

— Там, брат, — говорил он, неизвестно к кому обращаясь, — какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три квадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах всегда снег, круглый год не переводится...

«Дурак! — подумал Егор. — Без бурки! А спроси его, какая такая бурка — ни елды, кис-

лая шерсть, не знает...» Бурка, она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? — неожиданно для самого себя сказал он вслух.

И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже... И напрасно, едрена мать, не взяв я полушубка!» — подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чекканок.

— По горам там везде стежки проделаны, — говорил Салтык. — Черкес какой-нибудь разнесется... летит, скачет — как только голова цела! А глянешь на горы издали — как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить — по таксе, за вход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может каждая раскипятить.

— Нет, теперь не гожусь, — отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком. — А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтись.

Егор ухмыльнулся и хотел было расска-

зять, как один печник бобровым стручем опол, отуманил, обольстил генеральскую дочь, — рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.

— Будя, бряхучий! — крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к щекотливым разговорам. — Будя, бьястыжмй! Старый человек, и що бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!

— А я что? — сказал старик. — Я ничего.

— Народ там красивый, не униженный, — продолжал Салтык. — Есть старики по сту лет живут...

Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой черт спрашивается? Но опять его перебили.

— Ну об этом ты оставь! — сказал старик, — Взять хоть к примеру меня такого-то; живу я семьдесят годов, шашнадцать человек своей крови похоронил, а прожил бы до ста лет, от меня опять пошли бы плоды... Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели,

а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку — сто пять, говорит. А уронил шапку — поднять не может.

— Это барский-то? Какой тебе! — весело крикнула Алена. — За водой еще сам ездит! Скоропостижный дед!

— Не хуже моей старухи, — сказал Егор. — Животолобивая старуха! А я ее корми, журишь об ней...

— А вот говорят же умные люди, — сказал старик, — можно, говорят, век прожить, а как умрешь, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был, на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто каждый человек может свое тело захолодить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.

— Ну, это зря брешут, — возразил Салтык.

— Книги, значит, доказывают.

— Книги! — ухмыльнулся Салтык. — Ни ж можно с холодной кровью жить?

Егор, обиженный равнодушием, каким

встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.

— А рыба? — спросил он. — Может же она с холодной кровью жить и распложаться?

Салтык повернул к нему голову.

— Та-ак! — сказал он насмешливо.

И вдруг решительно заговорил:

— Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь — она с холодной кровью, а выложи ее на берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!

Егор внезапно разгорячился.

— А я так скажу, — крикнул он, — а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пицци! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пицци захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был...

— Ну, и вышли оба дураки! — закричал и старик, поднимаясь. Терпенья у нас не хватает, вот и не можем захолодить. А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие богу-то угожали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три

года одной редькой питаться?

— Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? — крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта. — Она вон тоже не ест, не пьет... У нас вон даже и редьки твоей нету...

— Пойдите, — сказал Салтык, — погодите лапнуть-то!

И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:

— Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?

— Да будя вам бряхать-то! — громче всех закричала Алена, бросая решето. — Галманы!

— Да и правда! — подхватил старик. — Бога-то попомните! Он, брат, за такие речи не спускает нам, дуракам!

Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, на которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:

— Пустика-ся! Уселся на ширинку — и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

— Это не твоя забота, — возразил Егор, — я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без

надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланское? — и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по кособору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлебая из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыслях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то неотложной, самое что ни на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в голове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и захолодить свое

тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть, ни доказать, что у мельника все чепуху говорили... Но кузнец был дома.

Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей, люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовывать мальчишек по закону божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.

Он сидел возле кузни, на косогоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходилась с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер... что стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косогор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с похмелья и думает, значит, вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашлял и ждал, когда наконец додумает

кузнец свою думу. Как и у Егора, мертвенно было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивал сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода, смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брони и блестящи глаза. Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро раздеваться, раздеваться.

— Ай ты очумел? — крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху. — Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдет в воде в этакую стыдь!

— Вона! — крикнул кузнец хриплым басом.

И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаясь, чтобы шаркнуть в воду:

— Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашло у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал... Не попадая зуб на зуб, выскокил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес — этого Егору не надо было пояснять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в починку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгующему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с кузнецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли заохладить свое тело, чтобы не тлело оно после смерти...

А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, ша-

таясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора — полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестящих верхушками под опускающимся к югу месяцем. И полосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями, над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку — и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стлыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, подвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись. Егор вдруг закричал таким страшным сильным голосом, что с шумом выскочила из лопухов старая черно-седая собака...

Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью — хоть бы и не Анисье впору.

Медленно, с большими промежутками, начинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альты. И наступало долгое молчание: слышалось только, — из-за ракит по дороге в Ланское, — протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.

Слегка поката дорога между ракетами на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинут был

на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный, с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, останавливались, махали кадиллом и, пугая самих себя словами, повторяли одно и то же — то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мелкий черный ящик, где она покоилась, — парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: боже, скольких уже покрыла она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но широким лицом похож на зверя. Желтоволосый поп, слабосильный, слабовольный, все-

гда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подо­лы, калоши — все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телега­ми и мелкой, навозной соломой в телегах.

И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки сто­яла плетушка, обвязанная скатертью, а в пле­тушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки — то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившуюся толпу в церковные ворота. Ветер развевал тонкие русые волосы, шеи несущих гроб бы­ли красны, натерты полотенцами, лица оза­бочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем че­рез плечо в возглавии гроба.

А в церкви все немного оробели. Притих­ли — и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобож-

дая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотку пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блистали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гремело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Ани-сье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смиренно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Ани-сья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое веко ее правого глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы — золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ногтями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск...

Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеки были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком...

Так и сделал он, засыпав мать землею, ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху, нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни.

Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался — в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был,

кого-то имел за спиной. Умерла мать — он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля — вся земля — как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?

Он не думал об этом вопросе, — только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у откоса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, побледнев.

— Что ты, дядя Егор? — испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.

Егор, бледный, слабо улыбнулся.

— Так... что-й-то померещилось, — пробормотал он.

И опять прилег. Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полушубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушиваться к приближающемуся шуму

товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полушубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидели мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновение перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая кверху два толстых обрубка — две ноги, ужасающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал под ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа...

Так разны кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.

*Капри. XII.1911*

# Последнее свидание

## I

**В** лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь.

Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.

Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Доведа его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачный туман.

Стрешнев, держа в руке арапник, вышел

на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая борода с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки — темные пятна давно засохшей заячьей крови.

В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:

— Андрюша, ты куда?

— Я не маленький, мамаша, — сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод.

Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с стухшими глазами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.

— Ты куда, Андрей? — хрипло спросил он. — Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.

— Кого ты можешь уважать? — ответил Стрешнев. — И что ты лезешь постоянно не в свое дело?

— Виноват, виноват! — сказал Павел. — На условное свиданье мчится юноша молодой!

Стрешнев, стиснув зубы, стол садиться. Как только нога его коснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на заскрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.

## II

В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах. Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж — и лошадь всхрапывала, шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с ее влажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою... Вот спуск в разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром. Белым паром дышит и мерин, пробира-

ьясь среди кустарников, стеклянных от росы. Хруст сучков под копытами отдается на той стороне, в высоком лесу, темнеющем по скату горы... Вдруг мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогогорлых, тонконогих волка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, они взметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору, по белой изморози, радужно сияющей траве.

— А если она еще на день останется? — сказал Стрешнев, откидывая голову, глядя на луну.

Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо... Осенняя печаль и красота!

Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекошил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником.

— У, старая собака! — крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес.

За лесом открылись пустые поля. На скате,

среди темных гречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно, — так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнувшие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радостно, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как по-детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин — последнее богатство.

— Ты до завтра? — быстрым шепотом

спросила она. — Да? Я не верю своему счастью!

— Я пойду, Вера, лошадь убрать, — сказал Стрешнев, освобождаясь. — До завтра, до завтра, — сказал он, думая: «Боже мой, с каждым днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»

Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку — заветную, хранимую для самых важных моментов, единственную.

«Как твердо знал я, — думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, — как твердо знал пятнадцать лет тому назад, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»



Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела

возле него, облокотись на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она куррила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.

— Я для тебя всем пожертвовала, — тихо сказала она, и губы ее опять задрожали.

В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:

— Чем ты пожертвовала?

— Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью...

— Мы с тобой не бог вещь как молоды.

— Какой ты грубый, нечуткий! — ласково сказала она.

— Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разное. Сперва с восторгом, с восхищением: «Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»

Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:

— Пусть из меня ничего не вышло... Но му-

зыку я любила и люблю страстно и хоть немного, но добилась бы...

— Ах, не музыку. И как только Падарский...

— Грубо, Андрюша... А теперь я жалкая институтская таперша, и где же! В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела! Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня? Но память о нашей любви...

Стрешнев закурил и стал отвечать медленно, разделяя слова:

— Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отравя для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать, шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей...

Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок.

— Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей... Образ Гурия, Симона и Авива, покровителей наших древних семей... Кому, как не

нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал:

*Любя тебя, мечтал я о мечтавших,  
Любивших здесь сто лет тому назад —  
И по ночам ходил в заглохший сад,  
При свете звезд, их некогда кидавших...*

Он взглянул на Веру и заговорил резко:

— Зачем ты ушла — и за кем? — из своего рода, из своего племени?

Он приподнялся и стал в упор, злыми глазами глядеть на се черные сухие волосы.

— Я о тебе, с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, темный румянец, батистовая косоворотка... Приезжать к вам каждый день, видеть твое платье, тоже батистовое, легкое, молодое, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза — не видящие меня глаза! — желтую ро-

зу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона — это было для меня...

— Она, а не я во всем виновата, — с трудом сказала Вера.

— Нет! Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеянно пела что-то, не видя меня, поглощенная своими мечтами, уверенностью в счастье? Я вас поехал провожать верхом, в ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленыя, розовели жнивья и занавеска в открытом окне вагона... Ах! — сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. — От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге — и плакал... Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!

И, чувствуя на губах теплую соль слез, ка-

тившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты.

Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синяя. Далеко за ним занималась багряная заря. Далеко, в холодном потемневшем лесу, пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.

— А потом, конечно, роли переменялись, — сказал он тихо, с отвращением. — Ну, да теперь все равно. Конец...

#### IV

Утром пили чай в холодной прихожей, на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала:

— Митрий приехал.

— Подождет, — ответил Стрешнев, не поднимая глаз.

Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневатый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее, от черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинута назад. Сквозь жесткую курчаво-серую бородку глядел большой кадык.

На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик, с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндеветшей, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими, ржаво-атласными цветами.

Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником, мерин зади-

рал голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное.

Возле большой дороги мужик неожиданно сказал:

— А я, барышня, опять пригоню на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил.

Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его седеющему виску, тихо сказала:

— Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом.

По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, поехал назад без дороги, по жнивьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. — «Куда ж я пойду?» — как бы спрашивала она. И, как только он трогался, опять

неспешной рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда...

В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, подо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На перьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день, только изредка перелетая, перенося свою тихую, прелестную, счастливую жизнь.

*Капри. 31 декабря 1912*

# Копье Господне

**К**расное море встречает нас дурными знаменьями.

Вчера на закате дул хамсин. Слева, в пыльной, красной мгле, садилось болезненно и тускло блестящее солнце. Справа эта мгла была сумрачнее. Там темнели очертания Джебель-Таира. И оттуда, со стороны Аравии, горячий ветер гнал двух птиц. Они неслись боком, низко над водою. Перья их были измяты и взъерошены. Неожиданно наткнувшись на спасение, на наш грузовик, они взмыли к верхушке фюка, на тугую струну штага, соединяющего фок с гротом. Уцепившись, они крепко встряхнулись, приводя себя в порядок, и застыли.

Мы с мостика долго разглядывали их. Таитья нечего, — всем стало не по себе: это были два старых аравийских стервятника, два «вестника смерти» и всяческих бед. А ведь мы прямехонько идем на смерть: по всему побережью Аравии, в Суэце, в Порт-Саиде — чума и холера; в Джибутти, где мы стояли сутки и общались с берегом, умирает по сто, по две-

сти человек в день. А нервы у нас никуда, — устали мы ужасно. Переход в Японию был трудный, бурный. Не давши нам и недели отдыха, погнали нас назад, в Китай, оттуда — в Сингапур. Там мы без дела простояли месяц, изнуряемые жарой, лихорадочной влажностью... Индийский океан в марте, конечно, отдых, но ведь впереди было это проклятое Аравийское море и чума. А народ моряки чувствительный. Что же до веры в приметы, в предзнаменования, то плавающие в северных и тропических морях хуже всякого араба...

Вечером без охоты поиграли в шашки. Старший механик вспомнил покойного командира «Японии»: это было тоже во время чумы и тоже в Красном море, командир захворал, — может быть, и впрямь захворал, заразившись в Массиве, где он съезжал на берег, — а захворав, поспешил принять датуры, оставив записку, что у него жар и опухоли под мышками... «Тело его было предано Красному морю...»

От песку, от горячего ветра закрыли люминаторы. Это печь с закрытой заслонкой! Свободные от вахт рано разошлись спать, — один

пьяница Франц старчески ворчал и гремел в буфете, швыряя посуду. Но какой сон при хамсине! Тело ноет, сердце замирает. Поминутно, весь в поту, просыпаешься, куришь, снова задремываешь... Никогда не кажется так мала каюта! Лежа в темноте, слушая ровный плеск воды, бегущей назад, мимо, все думаешь о том древнем, мистическом, чем отравляет нас Восток — тропики, Индия, Китай... а в этом мгlistом море — Аравия. Какая загадочная, донныне неведомая нам, ветхозаветная страна — эти пустыни, до шлака сожженные ветхозаветным богом! Что там, в гористой, вечно мреющей миражами глубине ее?

Окраины мы знаем: жара, грязь и вечная холера в портах; дальше — пески и камни; где-нибудь на голой волнистой равнине их — страшный в своей доисторической неуклюжести верблюд, стоящий всегда одиноко, неприютно, далеко от той чахлой пальмы и грязного колодца, возле которого — большой жаркий шатер из черного войлока, слабо сияющий на солнце дымок костра, свирепая собака, полусонная от зноя старуха, полуголые дети в паршах, котелок, измазанный тестом

дурры, невесть откуда занесенная керосиновая жестянка с теплой водой... А там — опять то бархатные, то усеянные мелким, острым камнем пески. Там начинаются те заповедные, вечно засыпаемые песком пути из Сирии, Персии и Средней Азии к Мекке, Ятрибу, что издревле отмечают своими костями святые хаджи, гибнущие, во имя господа, от жажды, ураганов, зноя и, уж конечно, от холеры и чумы — «Раны от Копья», как называют ее арабы. Вот за такими-то караванами и следуют они, эти стервятники.

Их зловеющая близость чувствовалась всю ночь. Я выходил на палубу: горизонты мгlistы, луна туманно-розова, ночь суха, горяча — точно и не в море. Высоко, возле клотика фока — два темных комка... Где они вывелись, где скитались? Сколько раз отбивались от смерти, от таких же хищников, как и они сами, сколько раз рвали падаль, трупы и погибали от хамсина? «Господь есть бог ревнитель и мститель» — так и доньше верует пламенная страна их. — «Перед лицом его идет язва, а по стопам его — жгучий ветер...» И жгучий ветер с песком дул в каюту всю

НОЧЬ...

К рассвету хамсин пронесло. В шесть утра над каютами начинается топот босых ног, шум воды, пущенной из шлангов по палубам. Обычно слышишь все это одно мгновение, затем перевертываешься и засыпаешь еще крепче. Но нынче я очнулся сразу. Как всегда, ослепительный свет тропического солнца бил в люминатор, до головокружения душно было в каюте — и так отраден этот свежий шум! Сбежав вниз, к ванне, я раз десять окунулся в холодную воду. Мраморный пол, мраморная ванна и эта хрустальная вода — истинное наслаждение. Самому приятно чувствовать холодок своей руки, которойжимаешь сухую, горячую руку того, кого сменяешь на мостике. Там уже пекло. Я взял бинокль и навел его на птиц. Великолепны эти аравитяне! Сквозь стекла еще прозрачнее кажется прозрачный, сияющий среди ясного неба воздух. Четко, крупно видны блестящий на солнце бок мачты, витой стеньг-штаг и ястреба, в огромном пространстве висящие на нем: их желтоватое жесткое оперение, круглые совиные головы, покрытые редким

младенческим пухом, прищуренные кошачьи глаза, короткие, крепко загнутые клювы и лимонные лапы. Оба ястреба очень велики и очень худы. И это особенно заметно тогда, когда какой-нибудь из них затрепыхается, взъерошивая перья, и плевком пустит на палубу известковый помет.

Фельдшер вышел перед завтраком на горячую палубу и стал стрелять в них из бульдога. Все окружили его, закинув назад головы. Всякому казалось, что, стреляя он, не было бы этого бесплодного треска. Вдруг один ястреб подпрыгнул и комом полетел с высоты наискось. Мелькнув своей рыжей желтизной, своими изломанными перьями в густо-синей и тяжелой, как масло, волне, он исчез под бортом. Другой испустил жалкий и злобный крик, взмахнул крыльями и опять, еще туже сжавшись, замер. Пули с визгом летели мимо него — он только втягивал в себя голову. Куда ему было деваться? В море, окружавшем его, не было ни единого камня. Ему оставалось одно — ждать, пока выйдут все пули. И наконец они вышли. Мы наводили на него бинокли, он во все глаза глядел на нас. Зол он, должно

быть, невероятно: голоден так, как может быть только стервятник! Вечная брань со всем живущим и вечное выслеживание жертв или подали... Жесток и к нему господь, определивший ему быть вестником черного Копья своего!

И целый день не выходила у меня из головы мысль о крысе, которая, может быть, уже сеет смерть, чумая в темноте наших трюмов.

Этот желтый флаг смерти, под которым мы теперь плывем, — желтый санитарный флажок, который мы должны были поднять в Джибутти, — твердо напоминает: будь всегда готов к ней, — она и над тобой, и впереди, и вокруг, вот за этой водою, на жарких песчаных берегах, среди той нищеты и грязи, которой живет почти все человечество: Копье господне вечно поднято!

Матросы, те подтягиваются при вести о малейшей опасности. И у нас теперь чистота необыкновенная. Очень рано стали мы готовиться к одесскому порту в этот рейс — чиститься, краситься. Несколько дней не смолкал ладный, дробный стук молотков: с палуб, с мачт, с бортов, с труб обивали старую, по-

трескавшуюся краску, а на ее место клали свежую, блестящую, спиртуозно пахучую. И теперь нельзя было насмотреться на густую синеву за бортами, великолепно подчеркнутую яркой киноварью нашей железной палубы и золотой охрой труб. В небе, знойном и светоносном, весь день нынче не было ни единого облачка, ровно тянул навстречу легкий бриз. На баке иные из подвахтенных спят, иные болтают и курят. На носу разноцветными пятнами сохнет развешанное на веревках белье. На юте сладко щебечут те канарейки и те розовые тупички, которых возьмем мы из тропиков на север... И только там, возле клотика фока, на блестящей в воздухе струне, в упор освещенный опускающимся солнцем, зловеще желтеет враг всяческой жизни...

Франц, больной с похмелья, лениво таскал свои разбитые ноги по палубе, яростно тряся колокольчиком.

— Memento mori![6] — сказал командир, когда мы сошлись на этот призыв в кают-компанию, к обеденному столу, и кивнул на люминатор, в который был виден фок: — Сидит,

будь он проклят!

За обедом много пили. Солнце закатилось, и была уже ночь, разгорался лунный свет вокруг кают-компаний, освещенной электричеством. Шел оживленный разговор — как всегда, толковали об окладах, о начальстве, кляли свою службу, тешили себя мечтами найти береговую. По кают-компаниям веял бриз. Но он был слишком тепел, тело изнемогало от пота. Даже свет электричества казался знойным.

— На два румба справа встреча, — доложил вестовой с порога.

Встречи — наша единственная радость, и все встали, пошли на палубу. Давно ждем «Меркурия» — не он ли? Но нет: слишком низко и далеко друг от друга висели за темной зыбкой равниной, уходящей к востоку, к Аравии, два далеких топовых огня... И, швыряя окурки, красными полосками мелькавшие за бортом, глядя на фок, на гладкий ствол его, прорезавший звездное небо, и на бессонную птицу, висящую на штанге, мы разбрелись по палубе...

Ночь, опять ночь. Идешь — бриз мягко ду-

ет в спину, тело под легкой одеждой наслаждается им. Из трубы клубится темный вал дыма, луна, как зеркало, мелькает в нем, по палубе бежит, волнуется широкая тень его, под ногами хрустит угольная пыль. Обдает теплом, запахом разогретого машинного масла и стали, дальше — опять ласковым ветром и чем-то раздражающим, приторным: это густо,пряно, как все в тропиках, пахнет из трюмов копра, кокосовые очески; этот запах вечно будет томить, напоминать пахучие гавани, теплую зеленоватую воду, первобытные челноки голых шоколадных людей, густые чащи высоких тонких пальм, склоненных с берегов, благовонные кумирни в вечно цветущих лесах... Волна за волной несется мимо борта, обгоняя тебя. Минуешь двери освещенных кают, — фельдшер и повар на порогах и вторят друг другу на звенящих мандолинах, — проходишь на корму и останавливаешься у штурвала, над кипящей водой...

Однообразно шумит она, выбиваемая винтом из-под кормы, вырывается из-под нее тугими клубами, снежным фосфором, и убегает в океан бледно белеющей прямой дорогой.

Равнина моря к востоку тяжела, темно-лилова, в небосклоне над нею — белые звезды широко и низко раскинутой Большой Медведицы, родной с детства. Под луной — бесконечная сияющая гладь, осыпанная несметными серебряными иглами. Как высока эта теплая, тропическая луна, как легки и светлы горизонты! Драгоценными самоцветами играют над горизонтом юго-западным, особенно легким и светлым, Канопус и Сириус. Ниже, в прозрачном и пустом небосклоне, стоят четыре алмаза слегка склоненного Южного Креста, каждую ночь выходящего из недр тех неведомых южных вод, которым нет предела до самого полюса...

Вот с бака раздается два коротких удара в колокол — восьмичасовая склянка. В них — поэзия старой морской жизни, безграничных водных пространств, ночи за тысячи миль от земли. Они быстро тонут в великой тишине моря и неба, после них воцаряется еще более глубокое молчание, вода шумит еще однообразнее...

Вот опять среди темной равнины к востоку — медленно идущие огни встречного паро-

хода. Мелькает и гаснет, мелькает, мелькает и гаснет огонек на нем: беззвучно, этими слабыми и бледными знаками, которыми дает весть крохотная человеческая жизнь другой такой же, окруженной морями, пустынями, безвестностью, смертью, ведем мы нашу морскую беседу, — с тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна...

У нас на вахте третий помощник, он и сигнализирует. Человек он недалекий, тропики умеет сравнивать только с баней, всех цветных называет эфиопцами, на стенах его каюты — копеечные японские веера, открытки, подчасник турецкой туфелькой, на столе — карточка жалкой и некрасивой мещаночки... Но да сохранит бог-ревнитель и его счастье!

*Капри. 10 февраля. 1913*

# Худая трава

*Худая трава из поля вон!*  
*Пословица.*

## I

Аверки слег, разговевшись на Петров день. Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушие, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один — и в будни и в праздники. Молодые работники ели не в меру и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смиренные мужики, много поработавшие, — а он таки поработал, в одних батраках жил тридцатый год! — начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он был в тех мужицких годах, которых не опре-

делишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид несильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходявшим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая, лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тонким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он неспешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

— Бог даст день, бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, рожовели. Думы не принимала пища. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается в праздник, и потому, что еда могла, как ду-

мал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он заболел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких харчей, а может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами и бледно усмехнулся.

— Люблю горчицу, а где я ее могу взять? — сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От баранины стало нехорошо; но он досидел-таки до конца стола. Когда же работники, дохлебав до последней капли огромную чашку голубого молока и самодовольно икая, стали подниматься и закуривать, смешивая запах махорки с запахом еды и свежих ситников, Аверкий осторожно надел свою большую шапку, — в пеньковом дне ее всегда была иголка, обмотанная ниткой, — и вышел на порог сенец, постоял среди голодных собак, жадно смотревших ему в глаза, точно знавших, что его тошнит. Погода портилась. Стало сумрачно, похоже на будничное предвечернее время; мелкий дождь стрекотал по газете,

валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хвосты, усаживались на развалившейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали они, лезли, прятались под их крылья... Сладкие харчи! Аверкий знал им цену. Последняя предсмертная тягота наступала для него, а все же крепко не хотелось ему терять их, когда брел он за избу.

## II

Воротился он бледный, с дрожащими ногами, и попросился у стряпухи на печку. Она равнодушно спросила:

— Ай захворал?

— Служил тридцать лет, — в тон ей ответил Аверкий, влезая на нары, ставя лапоть в печурку и поднимаясь тесное, жаркое пространство между печью и потолком, служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху не подкую, — пошутил он. — Износился, задыхаться стал, — еще тверже и даже с удовольствием сказал он, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке на какую-то сломанную плетушку, тотчас стал задремывать и слышать свое глу-

бокое, однообразно прерывающееся дыхание ощущать его жар в губах. Он уже твердо решил, что захворал без отлеку, что он — «обручный кочет». Он давно перемогался. Больные собаки уходят со двора, ищут по межам, по лесным опушкам какую-то тонкую, лишь им ведомую траву, и едят ее — тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от дворни, Аверкий тоже искал — тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже не стало сил. Но все-таки надо было подумать: как быть с местом, сходить или нет? Если скоро умрешь, думать тут, конечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работники курили и хохотали. Слушая и думая, он стал видеть сны. Но из печальных и скучных воспоминаний складывались они. Вот он будто вышел из избы — надо ехать за хоботьем на гумно... А во двор входит и останавливается, увидя поднимающихся собак, странник: голова закутана женской шалью, на левой руке лукошко, в правой высокая палка, на худых ногах растоптанные лапти... «Если бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину, — подумал Аверкий в дремоте. — Вот

дело настоящее, чистое, легкое, а то не знамо, зачем и жил на свете...»

Но тут громко и дружно захохотали работники, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукнула дверь, кто-то вошел.

— Опять залил глаза! — сказала стряпуха, вытирая стол и не глядя на вошедшего. — Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то совсем нету? — спросила она, оборачиваясь. — Ну, чего пришел? Не надоел еще?

Но дед, — караульщик снятого мещанином сада, «старик-плясун», как называл он сам себя для потехи, всегда хмельной, обтрепанный, всегда мучивший Аверкия своей неряшливостью, своей болтливостью, всей своей свободной, немужицкой жизнью, — дед не обратил па стряпуху внимания.

— Ребята, рассудите: мысленно ли? — понес он с непритворным отчаянием, разводя руками перед работниками. — Один как есть на этакий сад! Да я с него шести целковых не возьму! Приедет нынче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше не слуга! Будя! Вон ребяташки уже зачали в завязь вникать, две яблоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, бере-

ги главней всего... А что я один исделаю? Вишенья опять оборвали на валу — ну, и черт с ними! Я больной человек!

— Больной, а все хоть выжми! — сказала стряпуха.

— Полегче! — ответил старик, садясь на нары. — Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матери годится, а я ее, может, полгода не видал... да, почесть, и весь век не видал, не знаю, зачем и женился...

«Не хуже меня, такого-то», — подумал Аверкий, закрыв глаза и уже не чувствуя к старику прежнего отвращения.

— А она небось мне не чужая, — продолжал тот с искренней горечью. — Я и ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а в салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж исделаешь? И унесут за милую душу! А господам я вишенья дозволяю рвать: можете! Господа, они и съедят-то два зернышка, это ведь наш брат мужик... Правду я говорю ай нет? — крикнул он, снова оживляясь. — И тебе, староста, завсегда дозволяю, ты тут, может, первый человек надо всеми! Только ты меня чем обидел: тесу на кровать не дал!

Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему давеча маленько — ан на косушку и есть...

Аверкий стал опять забываться... Под вечер, в поле, шел он за возом. Моросило. Широко отворены были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыню... «Богатому везде хорошо!» — с обидой и болью в голове кричал где-то внизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый, — в тесные ворота не пролезет...» И очнулся, чувствуя, что бредит. «Да, бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и ненужный говор, чужие люди, чужая печка — ах, какая тоска, неприютность! Зверь, и тот забивается умирать в свою собственную норь... Нет, конец, домой пора!»

### III

Он очнулся в сумерки. Ни работников, ни стряпухи в избе не было. На лавке возле окна сидела дурочка Анюта, скитавшаяся по господам, по мужикам. Она была толстая, стриженная. Она глядела в окно, — голова ее сзади была похожа на кувшин вниз горлом, — и пла-

кала: стряпухин мальчишка не дал ей лечь уснуть — все по лавке скакал.

— А там индюшки замучили, — говорила она, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе. Легла отдохнуть в палисаднику — дождь, индюшки всю голову изодрали, а тут этот демоненок... Так-то, Анна Матвеевна! Так-то, матушка! Чужой кусок не сладок! А богатая была, умней барыни слыла!

Это она вспоминала то золотое время, когда было у нее целых тридцать шесть рублей. Она копила и хранила их долго как зеницу ока. Да выпросил, вымолил в долг мужик, у которого она стояла на квартире, поклялся на церковь, что отдаст — и, конечно, не отдал, даже прямо сказал: так и знай, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем давеча, уже не мутилась голова. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, господи, из-за чего только волнуются, страдают люди! Этот старик, так растерянно жаловавшийся работникам... Эта плачущая от обиды на ребенка Анюта...

— А ты бы его за виски, — сказал он, усме-

хаясь.

— Ай ты проснулся? — спросила дурочка. И вдруг неприятно, неумеренно зарыдала. — Да ай я слажу с ним?

Когда она стала затихать, Аверкий негромко и ласково окликнул ее.

— Что тебе? — тупо отозвалась она.

— Сходи, матушка, к моей старухе, — сказал Аверкий. — Скажи, чтоб пришла за мной. Боюсь, ей и самой есть нечего, да ведь что ж исделаешь? Как-нибудь перебьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

— Не с чужими же людьми сменить! — с горечью ответила дурочка. — Схожу, не боюсь... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

— Нет...

— А может, испугаешься дюже?

— А что? — спросил он.

— Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча, — говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя...

— Ну и что же?

— Тебе, батюшка, плохо вышло... Он на-

брал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе посыпает... Берет и посыпает...

— А ты фамилию-то мою сказала? — спросил Аверкий.

— То-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

— А ты все-таки к старухе-то сходи, — сказал он.

— Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

— Хочешь кренделька? — спросила она.

— Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется, — сказал Аверкий.

Вздыхнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно, стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатою равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко на село хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при ясной лучине...» Когда и с кем это было? Мяг-

кий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящийся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги — и неумелые руки, с трудом поднимающие, полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга...

— Ай не узнала? — спрашивает он приторно небрежно.

— Дюже ты мне нужен узнавать! — отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос — и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

— Ай помочь?

— Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча поднимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

— Хороша, да бедна. Ишь сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она, она...

## IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными руками его добришко, армяк, онучи, лinnenую подпояску, — и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

— Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал — совсем никуда. Износился. Да заветный перстенок и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лег в телеге без колес — и в открытое ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косо́й крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь, однако, не ехала — верно, не пускала

погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, поднимался холодный ветер, и бежал по полям косо радужный дождь.

— Будут беды великие, — говорила соседка, бывшая дворовая. — Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже все хотели уверить себя, что, авось, бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень с градом. К вечеру стихало, солнце прогляды-

вало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

— Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней, как собака. Старуха все поля, все соседние де-

ревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видали ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывала все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притазили на деревню рыжую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который на говор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

— Уж чего там! — сказал он, — Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедля ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадь в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загремел по улице. Поскакали за ним верховые. В полях было

темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом всходившей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю требуху, подняли там и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда привели старосту с палевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника, Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

— Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий, со своим равнодушием к земным делам, вполне верил ему — и даже возвысил голос, настаивая, чтобы его отпустили, а не сажали в холодную. И удивленные, сби-

тые с толку соседи, в конце концов, покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лицу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

## V

Дочь с мужем посулились приехать и приехали на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкия в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился — и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеды он лежал и прислушивался: не идут ли? Послышались шаги и голоса вдали. В раме ворот показался зять, за ним дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватыми волосами, с белыми ресницами, был подбрит и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жилетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкий всегда считал красавицей, и на этот раз удивила его своею красотой, скромностью, соединенной с досто-

инством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном и смуглостью маленьких рук. Она, женственная, милая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платье, которая с любопытством осматривала дыры в крыше риги и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ним, подняли к нему не хотевшую целоваться, воротившую в сторону личико, девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно, — зять все старался шутить, — но не сводили с Аверкия глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочери было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотой, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха — лаптями, дряблостью кожи, усталостью, искренностью. Их противоположность

взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не притворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотят поглядеть на тебя — не хорош ты стал, батюшка, да что ж сделаешь. А он, и правда, был страшен. Волосы его еще больше поредели, стали еще тоньше, они лезли, падали на широкий ворот рубахи, на ключицы, торчавшие под нею, как удила. По обеим сторонам ввалившихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западали глаза.

Гости обедали в избе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, низко склонился над нею, выгнул зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку и проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть. И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запенился, подернулся соляной пленкой, в него нападало много мух. Аверкий отгонял их и рассматривал свою руку, голубые ногти. Дивила его ладонь: впалая, она была суха и бле-

стела будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешливо улыбнулся.

## VI

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшись подолами, гуртом прибежали с улицы девки, стали у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал играть на сломанной, с западающими клапанами, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставлял вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычащую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина, с свежим, приятным ртом и серебристыми глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядами, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следили за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах риги, темнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночи, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо, — думал Аверкий, — значит, ему дочь моя не хороша, иную надо». Гармонья смолкла. Кто-то говорил за воротами дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрашивая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслонили звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы...

«Ах, неладно, — подумал Аверкий. — А дочь небось любит его...» В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучилась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, изголовьице заиндевело...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапоги наземь. Он зажег спичку, осветив петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается чужие дела, Аверкий, усмехнув-

шись, сказал про петуха.

— Ишь, где квартиру себе нашел!

— А ты чего ж не спишь? — спросил зять.

— Я, почесть, никогда не сплю, — ответил

Аверкий.

— Помираешь, значит, — равнодушно сказал зять, ложась.

— Худая трава из поля вон, — пошутил Аверкий. — А чую — конец. Чую — она. Ночью скучаю, пуще всего как полуночная звезда-зарница взойдет. Никакая! — сказал он безнадежно. Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиление одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, приятное зятю. Он окликнул его:

— Спишь?

— Нет, — отозвался зять, очнувшись. — А что?

И забормотал строго:

— Будя буровить-то, людям спать не давать... Спи!

Аверкий смолк. Хотелось сказать: «Ах, хо-

роша любовь на свете живет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепким сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было видно за воротами, за темными полями. Показался поздний полумесяц, — как отражение в затуманенном зеркале, — прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день.

Зять проснулся, свежо и крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело и молодо глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался и стучал ими в землю.

— Обузил хромой дьявол! — сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

— Тесный сапог осеннее дело никуда, — ответил Аверкий. — Мука.

— Да это еще по чулку, — сказал зять. — А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На

него надели ситцевую рубашу, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках, — подарок с барского двора, — и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях — упоительным. Дорога уже обвяла. День был августовский — прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

## VII

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли, — только палили изжогой. Но он все-таки ел их — целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. А с людьми он

мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии, — на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких — и не счастье, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Анюта. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «Ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним

теперь, как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик-плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблоч, с неумеренной настойчивостью совалих под подушку Аверкию и с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

— Хм! — говорил он. — Мне тут, в селе, рай! Тут я маленько оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле — хоть бы тебе дворишко! Скука — избавь бог! Не то, что у вас в селе: тут в поле выйдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в конопях, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли понос: зерно и опять рассевали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопли-

во разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался — обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги вон; понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не: будет — и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряснике: посидел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

— Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к белу, иже даде его...» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

— Избавь бог! Как можно того миновать!

На мгновение ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

— Нет, избавь, господи, — не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил некстати:

— Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла божья мать от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его били ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах — неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один ка-

кой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо! — думал он. — Жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит — родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже и него ощутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью — вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл — вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая

равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

## VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

— Ну, и норовиста! Не докличешься!

Мир он по-прежнему видел только в ворота видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обнаженными лозинками все белевшие, все холодевшие облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал:

— Едет осень на пегой кобыле...

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным призраком стояла перед ним, свинцово ним,

свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь — и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зелеными, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам — древний, длинноволосый, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зелена. Нагнал его барский староста верхом, в седле, молча, злобно дал ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало, — и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем его истомленное сердце, и не понимал, — сон

ли это был, или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на коленки. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

— Нет! Пойду в избу! Задохнусь — туда и дорога...

А наутро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней — забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе — уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой — хорошо!

И дочь приехала. «Точно почуяло ее сердце», — подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на стовор. Белой курой несло над деревней; убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки — только сама река, еще не застывшая, чернела, и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах

избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца, — ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка — это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила на нарах постель Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В раскрытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у батюшки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

— Мишка, родимец тебя расшиби! — крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться. — Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грызя подсолнухи, вошла подруга, та, на чей стовор она приехала, девка серьез-

ная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

— Пойдем батюшку перевозить, — торопливо сказала ей дочь Аверкия. — Совсем помирает, за попом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу, — близкой смертью, — лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по-зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаясь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским довольством думал: придут, чтобы перекладывать его, — ай у него уж все готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

— Батюшка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так

велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке, ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, вроде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подружки потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы — траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

## IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь па порог низкой двери, вошел в избу священник.

— Где он тут у вас? — бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В таком страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на стговор). Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте

мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще кто-то, для кого все это и делалось, — сам бог как будто, — сказал:

— Шапку-то, шапку-то сними! — Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

— Батюшка! Ну, как по-вашему, — вы это дело хорошо знаете, — есть уж она во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

— Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!» — крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло — он плыл в ту-

мане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие — хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем — его могила... Кто это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

— Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе думал, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка, иду мимо вас — ты меня встречаешь, ты меня привечаешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, мо-

лонья, расступися, мать сыра-земля! Уж вы дуньте, ветры буйные, — вы раздуйте золотую гробовую парчу, распахните мово батюшку!

«Ах, это дочь!» — подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.

*Капри. 22 февраля 1913*

# Хороших кровей

— Я хороших кровей, — говорит про себя коновал Липат. — А все оттого, что мы спокон веку едим хорошо. Со скотины взять пример: у смореной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну, вот и считай, что мне по наследству пришлось... Я, брат, не простой коновал.

Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью. Зовут его, конечно, не Липатом, но Ипат — это мужикам да и ему самому не нравится. Отца его звали так же, как деда, — Борисом. Он уверяет, что нет такого имени — Борис, а есть Борисоглеб, что был в старину святой, благоверный князь-однодворец, носивший это имя, и что далеко не всякий мужик достоин быть тезкой Борисоглеба.

— И меня обязательно надо было так же назвать, — говорит он. — Только, конечно, мы попам нож вострый, они наш род спокон веку не любят, вот и сделали назло нам.

Росту он большого, волосом бледно-желт; глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывают, из Сибири пришли, — говорит он. — Оттого у меня и рост и волос сибирный. Одного не пойму, — и тут он сдвигает рукав полушубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью руку. — Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной: верно, меченые мы все...» Зимой он носит черную баранью шапку, сверх полушубка — длинный тулуп нараспашку, с большим, раскинутым по плечам воротом из белой овчины, и длинные, кожей обшитые валенки.

Он богат. Живет на дедовском поместье, в голом поле. Хозяйствует без работников, с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, но беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу-старика, убил — «как лярву» — слеглой, заявил, куда следует, — и забыл. Воров ни в грош не ставит — «мышь копны не боится» — говорит он насмешливо, но держит целых семь штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу, в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку, рвут пасту-

хов и овец, — только подгони стадо к хутору! — и почему-то особенно злы осенью.

Коновал он знаменитый. Но слывет и редким крысомором. А морить, изгонять крыс — это уже с колдовством связано.

По достатку своему он давно бы мог оставить такие дела. Но они перешли к нему по наследству, от покойников родителей; они дают ему известность, окружают его двор и все предания двора таинственностью. А это для него важнее всякого богатства.

Он очень дорожит тем, что его считают не простым человеком. Он чувствует себя носителем какой-то большой и жуткой силы, с которой он, если бы даже и хотел того, не мог бы расстаться, — невольным восприемником каких-то знаний, высоких тем более, что, соприкасаясь с колдовством, они, однако, творят на земле не злое, а доброе.

Он рассказывает:

— Есть разные колдуны. Есть от Бога, есть и от врага. Кто к Сатане захочет прикачнуться, тот уж и делает так. Перво-наперво он в самую темь, в ночь-полночь в овин обязан идти и ружье с собой и образ взять. Собака

не брешет, лягушка не турлычет, а он, знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит... Как полночь, так он и вот он: зашуршит, как собака, в соломе, подыметса рогами под самый решетник из этой самой страсти, темени, и крыто поганое перед тобой постановит. Сам молчит, а сам дело делает. Наблюет в него, нагадит, а ты — ешь. Потом ружье у тебя из рук возьмет. Зарядит, как надо, забьет дохлой шерстью, а образ над печью пристроит: хочешь не хочешь, а стреляй...

— Это, значит, на гибельные дела силу человек получает, — говорит слушатель. — А на хорошие?

— А на хорошие тоже не мед. Ночью надо на перекресток пойтить и свиным ножом кровь себе из левой руки кинуть. Он ее страсть как любит. Всю подберет, вылизет вместе с пылью. Ну, вот таким-то побытом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него *силы*, а он велел подать себе на блюде серебра, золота — и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал — «нет, говорит,

видно, с собой не унесешь!» — и открылся отцу во всем... А мне покойник родитель только и сказал, что одно слово до трех раз: «Все мое — твое, все мое — твое, все мое — твое...» Штука-то, кажись, не хитрая, а поди-ка, откажись!

Ездит он на крыс с мешочком «белого камня», мышьяка, а то и просто «с голыми руками». Он говорит, что стоит ему войти в дом, где, предвещая всяческие беды, множатся крысы, как гурьбой потянется крысиное пискучее племя вон из дому, в степь, в яруги. Он появлением своим повергает в тревогу пауков, ткущих сети по углам, за образами. Он знает какие-то, только его роду ведомые, «отдушины» у скотины. Взглянув на скотину, он без ошибки может определить время ее болезни или смерти. Распухнет у свиньи горло, он обложит его с наговором теплым пометом. Обьестся корова вёху, он пробьет ей бок гвоздем. Очумеет, закружится «круговая» овца, он зальет ей в ухо горячего масла. Март, начало весны — время его усиленных разъездов. Тут он работает не покладая рук. Прибыль животворящих сил, бродящих во всем живом, он

начинает чувствовать рано. Голос его приобретает тогда особую крепость, движения — силу и точность. Он осматривает скотину, ломает молодым лошадям «дурной зуб» и властно вторгается в самые сокровенные уставы природы.

Нынче утро тихое и снежное. Много молодого мартовского снега выпало за ночь на господскую усадьбу. Снег и теперь еще падает, но такой редкий, что виден он только на темной глубине в раскрытых воротах конюшни. Белые пухлые крыши мягко и свежо выделяются на сером небе. Сад весь в лебяжьем пуху; налипло на все стволы, на все ветви и склонило их. Чуть морозит, но воздух не зимний. Не по-зимнему пахуч кухонный дым, встающий ровно и высоко, сизым витым столбом. С закрытыми глазами стоит на варке скотина, густо обросшая за зиму шерстью, коротконогая, бокастая... Что чувствует она? Она в сладкой предвесенней истоме, пьянеет.

Липат приехал в усадьбу рано. Дома, на хуторе, он встал чуть свет. Осторожно слез с нар, одернул рубаху, плеснул на лицо водою и, покрестившись в темный еще угол, шагнул

вон из душной, полной спящими избы: надо погоду взглянуть, да и сладко глотнуть в этот ранний час душистой мартовской свежести. Возле избы, на рыхлом снегу, слабо белеющем в сумраке, валялись, играли собаки. Одна вскочила и бросилась к нему на грудь: он крепко охватил ее, теплую, сильную, с бьющимся сердцем, зорко заглянул ей в прозрачные глаза — и она тотчас же отвела и притушила их... Потом пошел будить семью, одеваться, завтракать. Лошадь запрягли и подали к крыльцу сыновья.

Лошадь старая, умом не уступающая человеку, нескладная и машистая, легко несла его по снежной дороге. Раскинув по плечам ворот тулупа, овчина которого так приятно воняет на воздухе своей кислотой, он глубоко сидел в низких козырьках с лубочным круглым задом и чуть держал вожжи. Зыбко белел снежный простор перед ним. В селе стало светлей, ярче. Лошадь на полном ходу сама завернула во двор усадьбы.

Птичница вела резать гусака, держа его за одно крыло, и он, важно переваливаясь, следовал за нею.

— Буди батраков! — крикнул ей Липат.

Не привязывая, остановил он лошадь недалеко от конюшни, у стопудового каменного корыта, похожего на скифскую гробницу. Собаки нигде не брешут на него. Все они поднялись и побежали к нему, окружили, обнюхали его. Он, стоя среди них, не спеша скинул тулуп, хорошенько свернул его, уложил в козырьки, в овсяную солому, и остался в коротком полушубке. Полушубок этот весь блестит, весь замаслился и заскоруз от крови. Подпоясан он черным и скользким ремешком — и сколько ржавых железок, крючков и ножей всяческой длины, спрятанных в кожаные ножны, висит, болтается на этом ремешке! В конюшне уже сидели, ждали работники.

Вот и последних, редких снежинок не стало видно. В тишине и спокойствии белого утра ясно слышны зычные окрики Липата на горячих непокорных жеребчиков. Дело совершается над ними жестокое, ужасное, но разве не на то и дана мудрая власть человеку, чтобы смирять, уравнивать буйные силы природы? Работники кричали бестолково, не в лад. Жеребчики шарахались, они ловили

их, галдели, торопя друг друга, когда нужно было навалиться разом. А окрики Липата были кратки и властны: он-то понимал, на что восстал он — зло и грубо, но с целями благи-ми.

Конопатая, в рудых волосах, жесткая рука его, засученная по локоть, часто мелькала в воротах конюшни — далеко выплескивала из деревянного, вырубленного топором корца темную густую кровь. Алыми пятнами были обрызганы и порог, и ящик старой телеги, занесенной снегом у конюшенной стены, и борзые собаки, которые с визгом отскакивали, когда мелькала рука Липата, а потом, дрожа от жадности, лизали, ели красный снег.

Выводили и валяли лошадей работники. Липат командовал и наваливался на лошадь только тогда, когда она была уже связана, сбита с ног и со всех сторон прижата к земле. Никитка, толстомордый малый, был неповоротлив. Липат дал ему подзатыльник. Солдат, унылый человек, был болен зубами и ленив. Липат сурово и твердо глянул ему в глаза — и солдат нахмурился, но ожил. Старика Гаврилу, услужливого, но глупого, торопливого, ему

не раз хотелось взять за шиворот и выкинуть вон.

Напоследок делали другое дело: ломали зуб молодой кобылке золотистой масти, с «лысиной» на лбу и светлой гривой. Она выскочила из денника легко и доверчиво — и, подбитая под ноги, рухнула на солому, очень удивленная этим. Старик, упираясь лаптями в землю, лежал, надувался на ее крупе, но все сползал с него, подхватывая левой рукой гашник сползающих порток. Солдат тянул конец веревки, которой захлестнули морду кобылки, — задирали ей кверху голову, раскрывали рот, в который веревка была пропущена. Никитка вытащил на сторону и крепко держал голый рукой ее розовый, слюнявый, все выскользывающий язык. А Липат, держа в руке короткую железную палку, острую по краям и с желобком на конце, глядел на белые крупные зубы и внушительно говорил:

— Держите крепче. Теперь гляньте на вон этот желтый зуб. Этот зуб называется, по старому преданию, вредный зуб, он называется — сухой зуб. Тут весна, самые корма, самый нагул скотине, а лошадь от этого зуба щеки

проедает, ворочать языком ей нельзя, и бывает заражение. Недогляди, не сломай вовремя — она будет как шальная ходить, и жизненности в ней никакой не будет.

Потом он сразу, со всего своего роста, рухнул боком на плечо кобылки, сунул ей в рот железную палку, поймал нужный зуб желобком и с треском стал выворачивать. Кобылка забилась, заметалась, разбрасывая во все стороны мерзлую землю, мерзлый помет и солому из-под своих блестящих подков. Работники тоже бились, тяжело дышали и надувались, сдерживая ее. У старика опять показалось голое тело.

Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой:

— Шабаш. Благодарение Богу.

Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа. Потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды.

— Свят, свят, свят! — сказал Липат, не спус-

кая с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. — На доброе здоровьице!

Но сейчас же и нахмурился. И, вытирая окровавленные пальцы о завернутую полу, сурово стал приказывать подтянувшемуся солдату:

— А вороному меринку надобно лекарству составить. Я составлю. Вели принести шесть горстей муки пшеничной. Этой мукой ты обязан шесть ден посыпать ему резку. Для припорции нынче сам посыплю, покажу. А в муке этой будет семибратская кровь и кониный хинин. Посля шести ден кровя у него зачнут расходиться, внутренность очишшаться, и зачнет он как ото сна отходить, будет опять полноту иметь и даже грудь зачнет наливать. К Егорию не узнаешь — не нарадуешься. А если бы его так кинуть, безо всякого внимания, сейчас он сохнуть зачнет, дрянь носом кинется, и он даже может других заразить...

Потом он отдыхал — перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью к ней, к тайникам и силам природы. Сидя воз-

ле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света — и эта весенняя белизна и без солнца слепит.

*Анакапри. 15 марта. 1913*

# Чаша жизни

## I

Тридцать лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был еще проще и просторней, семинарист Кир Иорданский, сын псаломщика, влюбился, приехав на каникулы, в Саню Диесперову, дочь заштатного священника, за которой от нечего делать ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском. Саня была особенно беззаботна и без причины счастлива в то лето, каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу, носила цветистый мордовский костюм, большим бантом красной шелковой ленты завязывала конец толстой русой косы и, чувствуя себя красивой, окруженной вниманием, все напевала и откидывала голову назад. Из всех ее поклонников нравился ей один Иорданский. Но она его боялась. Он пугал ее своей молчаливой любовью, огнем черных глаз и синими волосами, она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его. А Селихов был губернский франт, он держался

всех любезнее, смешил ее подруг, был остроумен, находчив и заносчиво, играя тросточкой, поглядывал на Иорданского, даром что мал был ростом. Да и заштатному священнику казался он приятным и дельным молодым человеком, не то что Иорданский, дюжий и нищий семинар. И однажды, в июльский вечер, когда в городе все катались, все гуляли и в золотистой пыли, поднятой стадом, садилось в конце Долгой улицы солнце, когда шла Саня в кладбищенскую рощу под руку с Селиховым, а сзади, среди подруг Сани, шагал сумрачный Иорданский и, покачиваясь, гудел великан Горизонтов, тоже семинарист, Селихов небрежно глянул на них через плечо и, наклоняясь к ее лицу, нежно прижимая ее руку, вполголоса сказал:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

## II

Тридцать лет, избегая встречаться, почти никогда не видя друг друга, не забывали друг о друге Иорданский и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почета. Давным-дав-

но жили они оба в Стрелецке и, состязаясь, многого достигли. Иорданский стал протоиереем и весь уезд дивил своим умом, строгостью и ученостью. А Селихов разбогател и прославился беспощадным ростовщичеством. Иорданский купил дом на Песчаной улице. Не отстал от него и Селихов: назло ему купил дом вдвое больше и как раз рядом с ним. Встречаясь, они не кланялись, делали вид, что даже не помнят друг друга; но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презирали они, не замечали и жен своих. Иорданский на десятом году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены. А Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Вскоре после свадьбы он застал ее однажды заплаканной: в мордовском костюме, с косой, заплетенной по-девичьи, она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой венчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки, — между ними и карточка Иорданского, — пудрила свое распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слез. Он знал, что это были слезы по молодому

сти, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело. Но простить ей этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к о. Киру, самолюбивый, как все маленькие ростом. А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу.

И шли дни за днями, годы за годами, и осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта — о доме.

### III

Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти. Состарился и Селихов. Но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный, чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные, прямые карманы панталон, он похаживал по своим чистым пустым комнатам, среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла, прошла и злоба на глупость людскую, — осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых

в заклад, все мимолетнее: всему цену знал он теперь! Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце — в доме было тепло. На дворе палил летний зной — в доме было прохладно и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом часов с десяти до трех пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом; но спасали зимние рамы — они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел, звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на Песчаной улице. Но Селихов на улицу никогда не выходил. Бродя по комнатам, он обдумывал и все изменял завещание. Александра же Васильевна сидела в своей спальне окнами во двор и вязала чулок. Она думала о прошлом, о будущем, порою привычно, не бросая работы, плакала. Под мерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату, равнодушно поджидая закладчиков, то слезливых, то не в меру развязных, и с загадочной усмешкой по-

глядывал в кабинет, на железный нестерогаемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза. Но порою наступала полная тишина: он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро — и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусяного пера... Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость?

Она знала одно — что ему ничего не стоило обречь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом и совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной: со всеми любезен, шутлив, меток на слово, мил и сдержан даже в карточных спорах. Но гости — два-три человека и все одни и те же: помощник исправника, податной инспектор и нотариус — бывали не больше двух-трех раз в году.

#### IV

Отец Кир пил. Вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живет он в Стрелецке, в этом полустепном городишке,

где только возле неуклюжего собора и базарной площади белеют каменные дома хлебо-торговцев, а по окраинам — хибарки, нищета.

Высокий, дородный, он похож был на боярина; долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки, те, полные, волоокие, до времени развившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости: не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанным перхотью, по коричневому подряснику, сладко пропахнувшему ладаном и табачным дымом. Портили его только зубы, коричневые от неумеренного курения.

Всегда и всем, не делая никаких исключений, он говорил «ты»; ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали, наставляли их сурово, порою обрывали их.

— Благослови, пастух, — сказал как-то один вельможа одному такому пастырю.

— Благословляю, во имя Отца, и Сына, и

Святого Духа, самую глупую овцу стада моего, — ответственвал пастырь.

С купцами о. Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки. Но о. Кир исправно получал даже самые красивые, с видами Кавказа и Крыма — от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе: о. Кир пригрозил почтмейстеру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему. И весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался о. Киrom, как человеком необыкновенного ума и редкой учености. За великую честь считали принять и угостить его. Но приглашения о. Кир принимал разборчиво, в свой же дом никого не пускал.

Дом его, длинный и невысокий, по кирпичу беленный мелом, был далеко виден по широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца — разве какая-нибудь кривая яблонька на мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде

входом служили калитки. У о. Кира был подъезд (к которому, впрочем, никто не подъезжал).

Вечно заперты были ворота о. Кира, подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни о. Кира у плечистой стряпухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу был снисходителен о. Кир. Он шутил над ним, шутками отвечал ему и водовоз: это был удивительный человек — он никого не боялся, ни о чем не тужил, доволен был решительно всем.

— Желудь! — громко и строго кричал о. Кир, выходя на крыльцо.

— Аюшки? — беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом, согнувшись в три погибели, поднимавший тесину.

— Опять неполную привез?

— Опять.

— Смотри: отколочу!

— И то неплохо! Дураков и в алтаре бьют...

Но однажды, узнав, что Желудь привез бочку воды и Селихову, о. Кир и Желудя лишил своего благоволения, навсегда прогнал его со двора долой.

## V

Зимой на Песчаной улице было много снега, было серо и пустынно, весной — солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. Летом было очень жарко. От пыли небо тускло серебрилось. В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу, стоявшему за городом, под горой. В час они медленно тянулись назад и везли приезжих, чаще всего купцов с ковравыми сумками, которые и теперь еще называются сак-де-войяжами, а не то распространителей граммофонов, молодых бритых евреев в английских картузах, с английскими трубочками в зубах. Встречаясь с о. Киrom, кажется, одни эти евреи глядели без страха, хотя он не терпел их, особенно их языка: он однажды, на вокзале, запретил евреям разговаривать на своем языке, сказав:

— Здесь вам не синагога.

Дородный и строгий, проходил он по Песчаной улице, в коричневом подряснике, в палевой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев наперсный крест, — и все боялись его. Под забором сапожника когда-то по целым дням играли в лодыжки мещанские подростки; там, бывало, стучали в забор свинчатки и раздавались крики: «Плоца! Жог! Ника!» Подростки эти были лодыри дерзкие. Но от протоиерея они ушли играть подальше — к хибаркам на спуске к вокзалу. Бегали ватагой мальчишки — запускали в небо змея, постоянно цеплявшегося за струны телеграфных столбов и оставлявшего на них свой мочальный хвост. Но, завидя о. Кира, они рассыпались куда попало. Пробиралась по теневой стороне, по ухабистому тротуару, мимо ворот и окошечек с горшками цветов, какая-нибудь старуха, настолько переломленная, склоненная к земле, что было удивительно, как может идти этот прямой угол. Но совсем не из-за тени, жидкой и короткой, пробиралась она там, а лишь бы не попасть на глаза о. Киру: он не любил старух, этих страстных поклон-

ниц юродивого Яши, обитавшего в старой часовне над склепом в кладбищенской роще, он ненавидел человеческое безобразие. Загорелый мещанин, потевший в черном картузе и толстой чуйке, шел по середине улицы как будто вольно, заложив руки назад: что ж ему, он ведь не здешний, он шел с вокзала. Но, увидавши о. Кира, он с решимостью отчаяния вдруг обнажал голову и быстро направлялся к нему. В левой руке о. Кира была высокая палка с серебряным набалдашником. Правой, приостановясь, он благословлял — широко и властно. А благословив, совал к губам, покорно искавшим ее.

— Откуда? — громко спрашивал он.

— Липецкий, — бормотал мещанин.

— Надень картуз. Как у вас нынче сады?

— Цвели дивно, ваше преподобие, но ветер, Господь с ним... Всю завязь обил.

— Садоводы, а бестолочь. Не знаете своего дела. Ну, ступай с Богом...

Не терпел отец Кир и бродяг, беспаспортных, пришлых людей. Песчаная улица была не избалована зрелищами. Однажды, когда появился на ней серб с бубном и обезьяной,

несметное количество народа высыпало за калитки. У серба было сизое рябое лицо, синеватые белки диких глаз, серебряная серьга в ухе, пестрый платочек на тонкой шее, рваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах, те ужасные башмаки, что даже в Стрелецке валяются на пустырях. Стуча в бубен, он тоскливо-страстно пел то, что поют все они спокон веку, — о родине. Он, думая о ней, далекой, знойной, рассказывал Стрелецку, что есть где-то серые каменистые горы,

*Синее море, белый пароход...*

А спутница его, обезьяна, была довольно велика и страшна: старик и вместе с тем младенец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими под вогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины покрывала ее шерсть, густая, остистая, похожая на енотовую накидку. А ниже все было голо, и потому носила обезьяна ситцевые в розовых полосках подштанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она, тоже думая что-то свое, чуждое

Стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально, морщась, разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь.

Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну и серба, что этот серб — непременно вор. Все подхватили его слова, зашумели. Но показался вдали о. Кир. И улица мгновенно опустела: все скрылись по калиткам. Он же, приблизясь к сербу, запретил ему ходить по улицам Стрелецка. Он строго и кратко приказал ему уйти вон из города, постараться добиться до родины, исправиться и заняться честным трудом.

## VI

Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь: что схоронила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не о. Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский наряд, свою недолгую беззаботность в то да-

легкое лето? О. Кир служил в соборе; но она никогда не бывала там, ходила в Никольскую церковь, — Селихов запретил ходить в собор. Не будь о. Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним; но Богу предстоял он, тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна: уже больной, мрачный, во хмелю, встретился о. Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:

— Селихов! Помни час, его же не минует ни единое дыхание: это я, — слышишь ли, Селихов? — я, облеченный в траур, в оный день воздам тебе последнее земное целование, окружу тебя кадильным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью.

— Кто знает, отец Кир, — ответил ему Селихов с усмешкой. — Кто знает, не придется ли *мне* стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.

Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне — быть между ними, всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступающими друг дру-

гу только к могиле дорогу! Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме.

Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хотя бы в слободе, на буераках, и какой угодно, — это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен: чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно.

Все соседки говорили: «мой дом», «у меня в доме». А она? Сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданое ее! Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он!

— Не беспокойся, — отвечал ей Селихов. — Ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба.

Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, испуганно исказив брови; дня по два не притрагивался ни к одному кушанью ни за обедом, ни

за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон — и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всеобщей раньше времени, не достояв, по слабости, службы, и вошла в дом с черного хода, услышала она крикливые плясовые звуки. А заглянувши в залу, обомлела: Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавшей: «Ай, ай, караул! Батюшки мои, разбой!..»

Только одна яблоня в саду, возле беседки, знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой селиховского дома была все та же надпись:

«Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову. Свободен от постоя».

## VII

Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти тридцать лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился и он в

Стрелецк, а возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем о. Кир и Селихов.

Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое: «Et tonat, et sonat, et fluvidum coelum dat...», [7] он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далекмо мог бы пойти этот человек! Но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города: поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным постоянством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и — своей философией.

Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж — и был прозван в Стрелецке Манд-

риллой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напряживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно со всеми раскланявшись, внушительно-серьезный и спокойный, он стал раздеваться — и все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул — не спеша разделся, не спеша окунулся ровно пятнадцать раз... С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день вплоть до Покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речкой над полями, оловянная рябь шла по воде; а Горизонтов купался. Белел снег по берегам, по бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси; но, как только било на соборе час, с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке.

Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки

из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал! Твердо отчеканивая слоги, уговаривался он:

— Суп, борщ, лапшу прошу подавать мне не в тарелочках: предпочитаю в мисочках. Живность — штучно, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, равно как и пшеничную, — чугуничками...

— Мандрилла, Мандрилла! — орали мальчишки, стаями гоняясь за ним по Стрелецку. Но он даже не достаивал их взглядом, он шел так же мерно, как изо дня в день входил, бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой:

— Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля...

А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продление жизни, для чего и потребно: полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, пол-

ное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом — прежде всего в смысле питания его и освежения водою.

— Nullus enim locus sine genio est![8] — насмешливо сказал однажды больной и сумрачный о. Кир, встретясь с ним на улице. — Давно слышу я, Горизонтов, о причудах твоих. Ответь мне: юрод ты или мудрец? Зачем живешь ты на свете, уподобляясь тем, которые жили во времена зоологические, на первых ступенях развития?

Горизонтов, держа над головою зонтик и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови.

— Но скажите и вы мне, отец Кир, — ответил он наконец, — зачем вы живете?

— Я тебя не о цели жизни спрашиваю, — сказал о. Кир. — Я тебя спрашиваю о ее образе.

— Но ведь образ соответствует цели?

— Ага! Цели! Ну, допустим. В чем же заключается твоя цель?

— В долголетьи и наслаждении им.

— Но наслаждаешься ли ты?

— По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.

— Чашу жизни? — строго перебил о. Кир и широко повел рукой по воздуху. — Жизни здесь? На этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой! Ты достоин своей позорной клички!

— В земле не распознаешь костей человека от костей животного, — ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.

## VIII

И вот смолкли наконец шаги в пустых комнатах селиховского дома. На тридцать первом году замужества Александры Васильевны, великопостным вечером, вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого, как мел, старичка, хорошо и чисто одетого, в крахмальной рубашке с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через два дня его уже отпевали.

Была пятница, базарный день, началась весна, — мука была извозчикам нырять на

колесах по ухабам грязных улиц, мука мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу! Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора: ее под руки вели дальние родственники Селихова, — лысый остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашенных волос, вкось от затылка положенную на лысину, и его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствия духа. Воздух был сырой, острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез. Поставили у дверей парчовую, желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний придел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами... Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор! Как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новопреставленного! Как смиренно, под рыдания хора, поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит иереев в скуфьях и камилавках и как тяжело, сотрясая пол своею тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисо-

вое лицо пьяный и торжественно-мрачный, исполнявший свое предсказание о. Кир! Но, Боже, что случилось и с ним за последний год! Уже не страшны были его возгласы, его каж-дение и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам, его ноги, раздутые водянкой, его живот, вы-пиравший под ризой, его отекавшее, почернев-шее лицо, остеклевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, тря-сущиеся руки... Все нежнее и страстнее взгля-дывала на покойника, — как бы не видя о. Ки-ра, — изнемогавшая от слез Александра Васи-льевна. А когда ударила по сердцам скорбно-ликующая песнь о той обители, иде же несть печали и воздыхания, она вскрикнула и поте-ряла сознание.

Ее понесли на паперть, на воздух. И Гори-зонтов, стоявший у входа, вежливо посторо-нился — и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шести-крылыми серафимами.

## IX

В больших ветхих сенях с тремя ступень-

ками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинкатать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее: и комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глаза-стом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада: в двадцать первый раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить наконец в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку, жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она перед чаем, воротясь от обедни...

На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом — и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было! Она обходила комнаты, и порой

жалостная улыбка довольства морщила ей губы. Но дрожала голова, дрожали руки — что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней — и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви — и всегда ужасно утомлялась. Была она полна при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила темное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком, в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Все слеза набегала на ее левый глаз, и все подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устало глядя на иконы над царскими воротами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку дьякон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода! С тоской чувствовала она, что не о чем стало

ей молиться. Только о Царстве Небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? За что было награждать ее?

Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу — хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее, молодое время, а сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало — и воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлогий изволок к роще и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо-зеленый дымок одевающихся лозин и мещанские хибарки по оврагам! А в роще, еще голой, зазеленевшей только снизу, было еще очень сыро, в проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все-таки чересчур буйно шумели грачи, в несметном количестве наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Ершова, где сидел Яша, а он мог высунуться из окошечка и крикнуть

что-нибудь иносказательное, зловещее... И, спотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила, спешила мелкими шажками пройти дальше — и сама не заметила, как пришла к могиле мужа! Во-все не желала она того, шла за другим, а пришла. И, усталая, опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще не оправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний. Было только чувство горькой весенней нежности к кому-то — не то к себе, не то к о. Киру, не то к Селихову... Да, да, и к нему!

А когда она возвращалась домой, думая только одно: дай бог встретить извозчика! — Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, — ему было уже лет восемьдесят, — в длинном халатике, подпоясанном веревкой, в алой бархатной шапочке, надетой набекрень. Усы, бородку он выстригал — они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. Глазки у него были хит-

рые-прехитрые. Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменял к ней.

— Радуйся, Афродита Розоперстая! — закричал он старчески-детским голосом.

И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, — как бы украдкой и надеясь обрадовать, — четыре щепочки, связанные лычком.

Александра Васильевна рассердилась, что он испугал ее, и, оттолкнув его руку, почти побежала от него. А потом долго думала: что это значит — эта Афродита и эти четыре щепочки? И почему они связаны?

Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей, думала, как бы, если бы у нее был мальчик, назвала она его; не раз переглядывала портреты в венчальной шкапулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме, с детски-милым взглядом, кокетливо облокотившуюся на какую-то, будто бы крестьянскую изгородь, и крепкого, плечистого семинариста, с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул

и таким нежным очерком пухлых губ! Был и портрет Селихова. Он снимался с какими-то молодыми чиновниками. Они кружком, в делано-непринужденных позах расположились на креслах, а он — тоже молоденький, щеголеватый — зачем-то сел у их ног на полу.

Раз она встретила возле городского сада Горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед.

## Х

На сороковой день никольский причт служил панихиду в селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый, с большими ноздрями, никольский священник, здоровый мужчина с широкой тугой поясницей, в широком, вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна.

Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце темя Александры Васильевны, — и вдруг отнялись ее руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами... Когда, распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цеплялась пухлой рукой за золотую бахромку тяжелой старинной скатерти и, захлебываясь, стонала, силясь что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался, и в бессмысленных, бесцветных глазах стояли светлые слезинки...

Однако напрасно качали над ней головами — удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, — и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она, — чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном: вошли будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее, а она отбивалась, про-

тивилась — и так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели, раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться и все только кричала — от стыда, страха и радости... И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к о. Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним — последнее... Нет, не возгласы его, не кажделение, не поклоны усопшему врагу страшны были тогда, в соборе! Страшно было глядеть на них на обоих, страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо, чувствовать, как доходит до сердца эта далекая, еще не истлевшая любовь — и в одно сливается и того, кого любила она, и того, с кем, нелюбимым — а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку! — прожила она всю жизнь, кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку:

— Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.

Целый месяц она жила затаенной мечтой увидеть о. Кира десятого июня: десятого должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. Раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытые окна глухое гроыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики. И модистка, и Александра Васильевна, в кофте с одним рукавом, выскочили на крыльцо: по улице бежал народ, а возле калитки о. Кира шумела толпа, и лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке... И Александра Васильевна горько заплакала: боже мой, как, значит, ослабел о. Кир!

А десятого была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях на пальцах, Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчи-

ке и привез ее обратно городской — мертвую: ее задавили, замяли в толпе.

На панихидах никто не плакал, кроме модистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин, в доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей — большеротую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница, под коленкором, лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь рясофорная монахиня, родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря, из уезда, — толстая свежая старуха в очках, с большим белым лицом, обрезанным черным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в которые лился радостный свет.

После похорон дом пустовал. Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом

и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетки на тонкие старые стекла — и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрово, пьяница с висячими усами, в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона. Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф — больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели.

## XII

Был июньский вечер, накрапывал дождь. Шел поезд по Стрелецкой железной дороге. В сером темнеющем вагоне второго класса сидели разные господа и говорили — некоторые о том, кто куда едет, некоторые о непорядках на русских железных дорогах и вообще о России, о ее богатствах и некультурности. Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного вентилятора прерывисто гудело, и слышно

было, как стрекочет в нем мелкий предвечерний дождь.

Открылась впереди широкая пустая низменность, заливные луга, извилистая речка, а за речкой, на скате полей — Стрелецк, железные и тесовые крыши его низких домов, колокольни, темная кладбищенская роща... По мосту поезд пошел тише — мост весь визжал, ныл и скрипел. Речка была мутная, мелкая, город был запылен, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции...

Постояв пятнадцать минут, снова тронулись. Кондуктор зажигал одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но, попадая в тусклые фонари, сразу меркли. Перезнакомившиеся пассажиры курили, располагались на ночь и оживленно беседовали. Но вот отворилась дверь — и с большим саком в одной руке, с парусиновым зонтом в другой, вошел в вагон Горизонтов, такой большой и неуклюжий, что многие смолкли и уставились на него. Старомодно всем раскланявшись, он сел в уголок на маленький диванчик возле двери.

Больше всех говорил, стоя у поднятой спинки дивана и отстегивая под жилетом подтяжки, щуплый господин в очках, человек, как можно было понять из его слов, московский, известный Москве и придерживающийся в вопросах общественных мнений крайних. Он выпил на вокзале в Стрелецке. Измятое его лицо было красно и возбужденно. Строго блестели его очки, энергично падали в разные стороны рога сальных волос, энергично и резко лилась речь. Внимательно и удивленно оглядев нового пассажира, он долго притворялся, что не думает о нем, и наконец не вытерпел, спросил:

— А вы далеко изволите ехать?

— А в Москву, — не спеша ответил Горизонтов, держа свои железные руки на зонте, поставленном между колен.

Господин в очках подумал, оглядывая его.

— А жить, вероятно, изволите в том городке, который мы только что проехали?

— Да, я из Стрелецка.

— И в Москву, конечно, по делам?

— По делам, — сказал Горизонтов. — Веду переговоры с анатомическим театром Мос-

ковского императорского университета. Московский императорский университет, получив от меня мою фотографическую карточку во весь рост и предложение купить после смерти моей мой костяк, ответил мне принципиальным согласием.

— Как? — с изумлением воскликнул господин в очках. — Вы продаете собственный скелет?

— А почему бы и нет? — сказал Горизонтов. — Раз эта сделка увеличивает мое благосостояние и не наносит мне никакого ущерба?

— Но позвольте! — перебил господин в очках. — И вам не странно... да скажу даже — не жутко совершать подобную сделку?

— Ничуть, — ответил Горизонтов. — Надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяноста пяти лет.

В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, горевшая в вагонном фонаре, и, отражаясь, как бы висела в воздухе за

окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо. Гудело жерло вентилятора, говорили и смеялись в вагоне... А там, в Стрелецке, на его темнеющих улицах, было пусто и тихо. На лавочке возле хибарки сапожника сидел квартировавший у него Желудь, гнутый старичок в кумачной рубашке, и напевал что-то беззаботное. Лежал в своем темном доме уже давно не встающий с постели, седовласый, распухший, с заплывшими глазами о. Кир. Дворянин Хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном, с ружьем наперевес, по мокрым овсам возле кладбищенской рощи, выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумеречный воздух, в мелкий дождь. Вечным сном спали в кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов — рядом были бугры их могил. А Яша работал в своей часовне над склепом купца Ершова. Отпустив посетителей, весь день плакавших перед ним и целовавших его руки, он зажег восковой огарок и осветил свой засаленный халатик, свою ермолку и заросшее седой щетинкой личико с колючими, хитрыми-прехитрыми глазками.

Он работал пристально: стоял возле стены, плевал на нее и затирал плевки сливами, дарами своих поклонниц.

*2 сентября. 1913*

# Легкое дыхание

**Н**а кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тон-

кой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, — изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и

она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство.

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонящихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным сто-

лом, под царским портретом.

— Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. — Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

— Я слушаю, madame, — ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, — сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. — Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, — сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди ка-

кой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

— Вы уже не девочка, — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

— Да, madame, — просто, почти весело ответила Мещерская.

— Но и не женщина, — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. — Прежде всего, — что это за прическа? Это женская прическа!

— Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

— Ах, вот как, вы не виноваты! — сказала начальница. — Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спо-

койствия, вдруг вежливо перебила ее:

— Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

— Я пробежал эти строки и тут же, на

платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, — сказал офицер. — Дневник этот, вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года. В дневнике было написано следующее: "Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала, так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вятков, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много

шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет — мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, — пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!.."

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и прият-

но идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение божией матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не залягут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под

ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? — Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта — классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, — она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: однажды, на большой

перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге, — у него много старинных смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько на сказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, — ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, — понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покаты плечи, — я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

# Примечания

# 1

Повторение — мать учения (лат.)

[^^^]

Превосходно! (лат.)

[^^^]

# 3

Сдерживайтесь, сэр! (англ.)

[^^^]

# 4

Как вы познакомились с ним? (англ.)

[^^^]

# 5

"Ворон, взобравшись на дерево" (франц.).

[^^^]

# 6

Помни о смерти! (лат.).

[^^^]

И шумит, и гремит, и разверзаются небеса  
(лат.).

[^^^]

# 8

Ни одного места без гения! (лат.)

[^^^]